

Зарубежная



фантастика

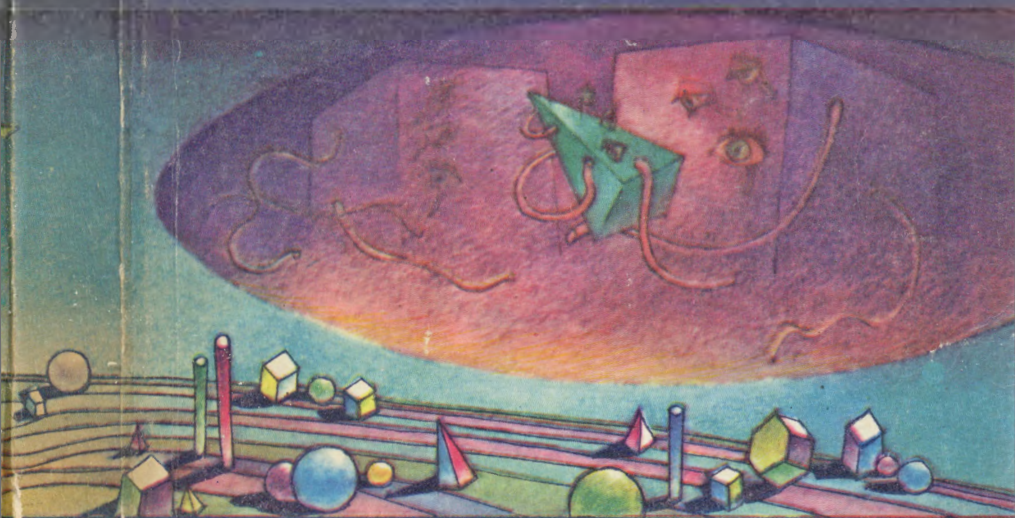
Рэй Брэдбери

Рэй Брэдбери

ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР, ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР

Сборник

научно-фантастических рассказов



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» МОСКВА

Зарубежная



фантастика





Зарубежная



фантастика

Рэй Брэдбери

Холодный ветер, теплый ветер

Сборник
научно-фантастических рассказов

Перевод с английского
Составитель Р. Рыбкин
Предисловие С. Гансовского

МОСКВА «МИР» 1983

И (Амер)
Б89

Брэдбери Р.

- Б89 Холодный ветер, теплый ветер: Сб. науч.-фантаст. рассказов; Пер. с англ./Сост. Р. Рыбкин; Предисл. С. Гансовского. — М.: Мир, 1983. — 408 с. — (Зарубежная фантастика)

Сборник крупнейшего современного американского писателя Рэя Брэдбери наряду с известными, ранее публиковавшимися рассказами («Запах сарсапарели», «Земляничное окошко», «Зеленое утро» и др.) включает произведения, впервые издающиеся в русском переводе («Чепушилка», «Ветер Геттисберга», «Разговор оплачен заранее» и др.).

Для любителей научной фантастики.

Г 4701000000—324
041(01)—83 176—83, ч. 1

ББК 84.7 США
И (Амер)

*Редакция научно-популярной
и научно-фантастической литературы*

© «Мир», 1983

Друг рядом

Книги Рэя Брэдбери — особая страна. Мир, где проблемы ясны и отчетливы, где в открытой схватке схлестнулись добро и зло. Нравственный призыв проносится над пустынями Марса и полями Земли, проникает в ущелья городских улиц, в комфортабельные, но нередко пахнувшие бедой домики американских пригородов. Рэй Брэдбери мягок и вместе с тем непримирим. В его рассказах торжествует поэзия, одухотворена природа, так что понятия «красота», «справедливость», «гордость» становятся атрибутами самой реальности; но там же порой клокочет ненависть, и к наказанию взывает преступление. От этой ясности впечатление остается надолго, если не навсегда. Услышал имя Брэдбери, и губы сами собой складываются в задумчивую улыбку, словно отступила житейская суeta, и ты делаешь шаг вверх, на другой, высокий уровень чувства и мысли.

Этому писателю свойственна творческая обособленность. Большинство американских фантастов можно без особого труда соединить в группы, включающие сходные между собой по идейной тональности и тематике писателей. А сочинения некоторых можно смешать в кашу и, черпая из нее, получать в каждой ложке рассказ любого.

С Брэдбери иначе. Никто не похож на него, и он ни с кем не сходен. Он лишен той поддержки привычного,

которая позволяет другим фантастам легче пробиться в издательство, в журнал. Однако именно он первым переступил невидимую черту, что в сознании тех, кто безразличен к научной фантастике, отделяет этот жанр от «настоящей литературы». «451° по Фаренгейту» и «Марсианские хроники» сразу по их появлении стали не только успехом в сфере научной фантастики, но и заметными вехами в культурной жизни США.

В своих рассказах и повестях Рэй Брэдбери скромен, даже, если можно так выразиться, литературно застенчив. За редкими исключениями в них нет ни перелетов в другие галактики через миллионы парсеков, ни прыжков во времени через миллиарды лет, ни грандиозных сражений между звездными империями. Если космос, то чаще всего по-соседству — Марс, Венера. Если время — по большей части сегодня, завтра, двадцать первый век. А между тем негромкий голос писателя отчетливо слышен в литературе Соединенных Штатов Америки. Он заговорил, и умолкла даже медная глотка коммерческой фантастики.

Всемирная известность этого фантаста — а Брэдбери, хотя он порой выступает и как поэт и как «реальный прозаик», именно в качестве фантаста пришел к самым широким массам, — и феномен неугасающей вот уже три десятилетия читательской любви к нему заставляют снова и снова задуматься о специфике того бурно развивающегося литературного жанра, который принято называть научной фантастикой. Что она есть? Намекает ли, например, подзаголовок «фантастическая повесть» на тему произведения или на особый подход к действительности? «О чем» или «Как»?

Разумеется, теория жанра разработана, однако, как и вообще в искусстве (но не в науке), это «теория назад», скорее, история. Химики и металловеды могут на кончике пера создавать новые вещества и металлы с заданными свойствами, пушкиноведам же непременно

предшествует А. С. Пушкин. Ни один теоретик еще не предсказал появления «Героя нашего времени», поэмы «Двенадцать», не вычислил заранее чуть горьковатого тона рассказов Шукшина. И если для технологии последних лет наука, как правило, выступает причиной, в сфере искусства теория — всегда следствие.

Но разве не закономерно, что наибольшей популярностью пользуются те произведения, в которых писатель после фантастического взлета, после того, как он временно пренебрег известными нам законами природы, искадил привычные представления, обязательно возвращается на Землю, к нашим делам и заботам. Следовательно, хорошая, добротная фантастика, как и любой другой вид искусства, — про нас, людей. Не киберы, путешествия в прошлое или будущее, не трехглазые чудовища и таинственные лучи главное в ней, а современный человек и его отношения с миром. Отличие научной фантастики от других литературных жанров в том, что она в особой, парадоксальной форме, с использованием невероятных и просто невозможных явлений и ситуаций беседует с читателем о том, что его задевает, радует, тревожит. Когда вместе с автором мы отправляемся к другим галактикам, назад или вперед во времени, наш интерес к фантастическому роману или рассказу полностью зависит от того, насколько повествование приближает нас к «болевым точкам» современности. Пусть таинственные лучи, небывалые существа и немыслимые события — за всем этим напросвет, на втором плане обязаны проглядываться судьбы человечества в эпоху великих социальных катаклизмов и стремительного развития науки, угнетение и борьба за свободу, любовь, ненависть и драма решения.

Фантастическая литература, поскольку она *фантастическая*, в некий момент уносит читателя в область нереального, но затем, так как она *литература*, возвращает его на Землю, в наш век, обогащенным новым

пониманием того, что происходит вокруг. Разумеется, речь в данном случае идет о сюжете. Действие может происходить за пределами знакомой нам действительности — настоящий писатель-фантаст все равно вернет нас в наш мир, то ли через яркие характеры персонажей, то ли новой постановкой знакомых проблем, возникающими у нас при чтении ассоциациями с тем, что нам сегодня близко. Чем талантливее фантастическое произведение, тем резче проступает в нем земное начало. В романе «Машина времени» Уэллс не просто разделил мир воображенного им далекого будущего между злыми и морлоками, он привел этот раздел в соответствие с социальным устройством современной ему Англии. Именно оттого роман так художественно выразителен, оттого со смешанным чувством презрения и жалости мы смотрим на легкомысленных потомков богатей, с ужасом, но и с невольным уважением — на обитателей подземелья, узнавая в них выродившуюся бедноту, и так тяжело давит на сердце нарисованная писателем жуткая судьба разбитого на антагонистические классы человечества. «Машина времени» не только и не столько про то, как люди будут жить через восемьсот тысячелетий, сколько про то, правильно ли они жили в конце XIX столетия. Как чапековская «Война с саламандрами» — про фашизм.

Иными словами, с произведения под грифом «научная фантастика» читателю следует спрашивать не псевдонаучной информации (хотя такая и может быть), и даже не научной, которая уместнее в научно-технической литературе, а живого, земного содержания. Фантастика — это прием, способ оторвать читателя от привычных ему обстоятельств и, следовательно, от заданных концепций, замысел, позволяющий обогнать действительность, и, возвысившись над ней, вынести суждение и призвать.

Именно такому спросу отвечают творчество Рэя

Брадбери в целом и рассказы, представленные в настоящем сборнике, в частности. Да, это фантастика, по если (пожалуй, точнее «и если») мы зададимся вопросом, о чем эта книга, ответ будет: о людях, о проблемах, перед которыми мы оказались во второй половине, третьей трети и четвертой четверти XX века. Как и положено жанру, читатель встретится в рассказах с инопланетянами, познакомится с удивительными и даже чудесными машинами, попадет в марсианскую пустыню, взлетит в глубокий космос, отступит в прошлое, шагнет в будущее. Вместе с тем, парадоксальный ход сюжета, неожиданный ракурс, вдохновенная поэзия заставят нас глубже заглянуть в самих себя, выведут и поднимут на такую ступеньку, откуда яснее видны, понимаемы наши сегодняшние дела. Сборник «Холодный ветер, теплый ветер» — о том трепетном и нежном, что таится в душе человека, о злодеяниях поджигателей войны, о великих достижениях науки и искусства, о том, как страшно торгашеское общество искажает суть этих последних, о жажде мира, о трудолюбии и гордости, о равнодушии и героизме...

Все это так, и тем не менее сказанное — далеко не исчерпывающая характеристика Брадбери. Ведь и лучшие зарубежные и советские фантасты вводят в свои произведения умных роботов, немыслимых чудовищ на чужих планетах, всяческие зигзаги времени тоже не ради одного лишь описания роботов и зигзагов. Станислав Лем в «Солярисе» исследовал пределы познаваемости Вселенной, в «Хищных вещах века» Аркадий и Борис Стругацкие клеймят мешанство, а щемящий сердце «Бесконечный вестерн» Роберта Шекли — о том, как бизнес использует и опошляет героизм тех ушедших в прошлое дней Америки, когда по огромному матерiku за отступающей «границей» двигались на закат смелые и упорные.

Бесспорно, Брадбери занимает особое место на

Олимпе фантастики США. Но не одинок же он там. И, кстати, в чем-то даже уступает своим коллегам. Юмор, например, не самое сильное его место, здесь ему далеко до Уильяма Тенна. Роберт Шекли более энергичен и напряжен в своей прозе, разносторонний Айзек Азимов, «и физик и лирик» в одном лице, куда масштабнее, а Урсуле ле Гуин не у кого занимать философичности. В сравнении с этими писателями Брэдбери иногда даже простоват и наивен. Что уж такого особенного, скажем, в «Зеленом утре»? Ну, посеял что-то герой, ну, возшло... Разве приложимы к этому бесхитростному маленькому рассказу «модель будущего», «амбивалентность», «среда — антисреда» и прочие изысканные термины академического «фантастовеждения»? Нет, разумеется.

Так почему же на своих симпозиумах и конгрессах другие фантасты независтливо отдают ему первенство? Отчего в этом скрежещущем металлом веке мы, современники, осажденные со всех сторон насущнейшей для нас информацией, едва успевающие проворачивать гущу неотложного, нет-нет да и глянем на заветную полку, где стоит старенькое издание «Марсианских хроник»? Некогда перечитать всю книгу, но нас греет мысль о том, что все-таки она у нас есть.

Потому что с именем Брэдбери прочно связана естественная, как трава, как дыхание, вера в высокое предназначение человека, в конечное торжество добра над злом, в прекрасное будущее человечества. Следствие этой веры — ненависть к торгашеству, угнетению, шовинизму и войне.

По своему историческому оптимизму, пусть не во всем у него обоснованному, по своей вовлеченности в драму сегодняшнего бытия Брэдбери наш союзник. Сквозь всю его прозу светит луч веры и надежды, каждой своей строкой Рэй Брэдбери утверждает значимость таких понятий, как Справедливость, Братство, Достоин-

ство, и зовет поступать по совести. Именно открытостью и силой этого призыва он и превосходит других, не менее, быть может, искусных, чем он, авторов, и в этом секрет его популярности повсюду, где людям свойственно, где они имеют возможность читать книги.

Странная, на первый взгляд, особенность этого, как, впрочем, и любого другого сборника произведений Брэдбери в том, что нарисованный в них мир не складывается в единое целое. Если свести вместе все то, что в разных рассказах говорится о Марсе и Земле, о том, какова будет жизнь через сто или тысячу лет, выйдет нечто исполненное противоречий. Марс в «Земляничном окошке» совсем не тот, что в рассказе «Разговор оплачен заранее», семейный американский дом в «Часе привидений» — противоположность тому, с чем мы встречаемся в «Наказании без преступления». Конечно, нет одинаковых семей в Соединенных Штатах Америки, но в разных рассказах различны и ответы того внешнего мира, что через окна падает на лица персонажей: в одних случаях мягкий и ласковый, в других — злоедей.

Эта противоречивость запрограммирована в творческой манере писателя. В отличие от большинства зарубежных и советских фантастов Рэй Брэдбери не рисует детализированных картин иных планет или будущего Земли. У него другая задача. Он советует нам... нет, советуется с нами, *как нам вести себя на этой планете, в этом мире*. Близкий человек, который сам болеет теми же болями, что и мы, радуется тем же радостям. Не олимпиец, не вождь, не пророк. Друг рядом с нами.

Да, противоречива, дробна фантастическая «реальность», встающая перед нами со страниц сборника. Но цельной, неизменной остается нравственная позиция писателя, т. е. то, что читатель, перевернув последнюю страничку книги, сможет взять с собой в качестве мат-

ряды, системы подхода уже не к литературным явлениям, а к ситуациям собственной жизни. А ведь именно в этом и состоит воспитательное значение искусства.

Брадбери пишет и публикует много, он выступает в качестве публициста, поэта, прозаика-фантаста и прозаика, так сказать, «реального», занимается сценариями и очерками. Однако ему отнюдь не свойственна та профессиональная деформация, которая нередко делает того или иного писателя слепым ко всему, что лежит вне сферы его чисто ремесленных интересов. Не сюжет, не изящество фантастической выдумки, не желание «протолкнуть» свежую научную теорию либо гипотезу ведут его пером. От жизни, от насущных сторон бытия начинаются и растут его произведения, и в каждом проявляется свойственное писателю мировоззрение.

Вместе с тем, и это очень важно, он никогда не снижает требований к своему творчеству, никогда не потакает читателю-иждивенцу, каких во множестве породила в США так называемая массовая культура с коммерческой фантастикой в том числе. Произведения Рэй Брадбери требуют некоторого усилия от читателя, заставляя его подняться на новую ступеньку нравственного осознания действительности. Нередко простые по форме, они сложны по содержанию.

Вот почему для правильного понимания включенных в сборник рассказов хотелось бы сказать несколько слов о той эпохе, которая вызвала к жизни их появление.

Рэй Бредбери родился в 1920 г. В литературе он начал выступать в конце 40-х гг., однако как писатель сформировался в 50-е гг. — знаменательное десятилетие, наложившее зловещую печать на более позднюю жизнь страны.

Середина XX века в США — это «холодная война» против Советского Союза, маккартизм с его всеобщей слежкой и доносами, страх перед атомной бомбой, воз-

рождение после Великой Депрессии и войны буржуазных ценностей, т. е. ориентация на семью, дом, религиозность и респектабельность. Это, наконец, невиданное изобилие. США, вышедшие из второй мировой войны без потерь и разрушений, стали вотчиной стремительно богатееющих корпораций. Разоренные Европа и Япония не сделались конкурентами, сырье из слаборазвитых стран стоило баснословно дешево, готовый продукт продавался там же и в Европе дорого. Весь результат высокой производительности труда, достигнутый успехами науки, технологии, мастерством американского рабочего, достался деловой элите. Американцев завалили товарами. Лозунгом времени стало «Потребляй!» Вспомним: в 1946 г. в США насчитывалось 7 тыс. телевизоров, в 1960 — 50 млн. За этот же срок число частных домовладельцев достигло почти 33 млн. Состоятельные семьи покидали задымленные, кишачие преступниками и хулиганами города, и перебирались в пригороды. Стремительно увеличивалось число новых моделей автомобилей, телевизоров, телефонов, холодильников... Появились зажигалки, при высекании огня исполняющие популярную песенку, зубная паста с запахом виски, почтовые конверты, откуда, когда их вскрывали, раздавался громкий хохот. Казалось, богаты и счастливы все. Обывательская Америка не желала думать, она радовалась жирным кускам, что отваливали ей могущественные корпорации. Распространялся всеобъемлющий конформизм, в цене стала типичность, похожесть, норма. «Средний американец имеет рост пять фунтов девять дюймов, предпочитает брюнеток, бифштекс... Средняя американка весит 132 фунта, не выносят небритых мужчин...» Так писал в 1954 г. журнал «Ридерс дайджест». Все воспевало слепые аппетиты силы и коммерческого успеха, все призывало к автоматизму реакций: есть возможность зарабатывать больше, хватай, появился новый товар — покупай!

К чести лучших представителей американской творческой интеллигенции они отказались признать вакханалию купли-продажи нормой человеческого существования. Одним из символов протеста стал роман Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту». Особенности этого десятилетия порождено также большинство рассказов, включенных в сборник. В них своеобразно отразился целый спектр американской действительности той поры.

Жизнь в пригородах, доступная лишь людям с приличным доходом, оказалась не столь безоблачной, как утверждала реклама. Тонкие стены домов, построенных на скорую руку, крошечные участки без заборов стали средой, где человеку негде укрыться от чужого внимания. Отсюда не сходящая с уст вынужденная «дружеская» улыбка, маскирующая постоянную внутреннюю напряженность. Каждый должен был тянуться, чтобы не отстать от соседей в приобретении не так уж и пужных ему дорогих товаров. Механизмы и кнопки не оставляли жене среднего бизнесмена возможностей заняться осмысленным делом. Стерильная обстановка поселков, закрытых для постороннего нашествия, вызывала скуку; ее, как и напряженность, глушили таблетками, осторожным употреблением наркотиков, тихим, скрытым пьянством.

Считалось, что такой дом заводится «для детей». Однако и дети не благоденствовали в комфортабельных домиках, отгороженных и от динамичной городской жизни и от природы. В этой лишенной подлинно воспитательного и образовательного качества обстановке царем стал телевизор — больше неоткуда было черпать впечатлений. Развлекали еще с каждым годом все более изощренные и дорогие игрушки и другие товары для малышей. Детская роскошь, которую быстро стал выпускать в огромном ассортименте вездесущий бизнес, завалила коттеджи, в ее приобретении соседям тоже

приходилось состязаться между собой. Не производящие ничего детство и юность потребили в 1959 г. специальных товаров на 10 млрд. долл. Журнал «Лайф» писал по этому поводу: «Если родители и могли бы создать какую-то организацию и восстать, то теперь уже поздно. Закрытие подросткового рынка превратит национальную экономику в хаос».

Отсюда ясно, что такие рассказы Брэдбери, как «Час привидений», «Электрическое тело покоя» и «Станет моим сыном» — не только гимн пауке, которая в принципе способна сделать разумными и счастливыми маленьких американцев, но и гневный протест против тех, кто в погоне за прибылью заваливает детские комнаты все новыми товарами, иссушая меркантилизмом душу ребенка.

Рассказы «Убийца», «Бетономешалка» и «Наказание без преступления» объединены общим замыслом. Они, конечно, не о том, что достижения технологии вредны и бесполезны. Главное в них — требование вернуть личности самостоятельность, избавить ее от вторжений со стороны фальшивых «лидеров» и предательских «друзей», со стороны тех проворных господ с толстым карманом, кто в погоне за наживой превратил каждый валет изобретательской мысли в средство оболванивания людей. Протест против угнетающей производительности общества, чьей целью является не человек, а прибыль. Герой «Убийцы» — отнюдь не враг телевизору, проигрывателю, телефону. С револьвером в руке он держит оборону затем, чтобы хоть ненадолго побыть с самим собой наедине, отделиться от того образа, что создан рекламой, массовой и частной информацией. В «Наказании без преступления» преступление все-таки есть, но наказание настигает не того, кто по-настоящему виноват. Здесь снова речь о бизнесе, который лезет в любую щель, потакает самым дурным наклонностям клиентов, стараясь в данном случае заработать не

только на обслуживании их физических нужд, но на их чувствах — таких, например, как ревность. Отвергнутый муж, не имея он средств купить точную и в какой-то мере живую копию своей жены, вряд ли решился бы на убийство. Но злодеяние свершилось, а на казнь идет отнюдь не главный преступник. И, наконец, тема «Бетономешалки» — та внешняя и внутренняя нивелировка, которой особенно в два «жирных» послевоенных десятилетия подверглись задохнувшиеся в своем эфемерном богатстве Соединенные Штаты Америки.

Очень важно подчеркнуть, что в этих, как и в других рассказах Рэй Брэдбери — отнюдь не противник науки, он лишь утверждает, что последняя должна быть средством не духовного порабощения, но освобождения людей. Да, писатель резок в своем неприятии официозного «американского образа жизни», много горького сказано им о своих соотечественниках и в романе «451° по Фаренгейту», и в рассмотренных выше рассказах. Но сказано для того, чтобы это дурное искоренять, ибо им движет тревога за судьбу своей страны.

В какой-то мере в этом же ключе написан и рассказ «Кошки-мышки», рожденный атмосферой холодной войны тех же 50-х гг. Небрежное прочтение его может привести к ошибочной мысли, будто, по мнению автора, человечество и через полтора-два десятилетия будет жить под угрозой катастрофического мирового конфликта. Но ведь такие произведения пишутся как раз во имя безопасного, светлого будущего! Боль за супружескую пару, которую в нашей современности преследуют агенты милитаристов из жестокого 2155 года, и есть та мобилизующая эмоция, которую хочет вызвать в нас автор.

Вместе с тем, Рэй Брэдбери, представленный в этом сборнике, даже в своих, казалось бы, печальных рассказах не теряет оптимизма, примером чему может служить рассказ «Синяя бутылка». Здесь немудреная

жизненная философия Крэйга, радующегося глотку «бурбона», найденному в Бутылке, противопоставлена бесплодной погоне за химерами, которая движет другими персонажами и приводит их к гибели.

Светлы, прозрачны, словно они не написаны, а рождены легким дыханием «Апрельское колдовство», «Холодный ветер, теплый ветер». Перед нами редчайшей чистоты образы, раздвигающие рамки привычного, расширяющие пространство мысли вокруг изображенного.

Героиня «Апрельского колдовства», юная Сеся, одарена способностью вселяться в лист яблонки, в камень, видеть мир глазами жучка и лягушки, важно сидящей возле лужи, бежать сквозь кустарник в теле провырливой лисицы. Кажется, будто этой чародейской силой владеет и сам писатель, чьи рассказы пронизаны уважением ко всякому живому и даже неживому — будь то лягушка, камень или лужа. Через них в рассказах писателя природа раскрывает нам свои объятия как естественное место существования человека.

Удивителен рассказ «Холодный ветер, теплый ветер», давший название сборнику. Ничего из ставшего уже погрешечным привычного набора фантастических элементов, где господствуют супердрайв, лазерный пистолет, гиперпространство. Всего лишь одно фантастическое допущение: люди чувствуют чуть ярче, чуть сильнее, чем это свойственно нам в обычной жизни. Но прочитан абзац, второй, и без усилий осуществляется переход в иное, поэтическое измерение, мир раздвинулся, обсыпалась с предметов и явлений шелуха несущественного, открылись дали, и мягко, сама собой впечатывается в сердце мысль, что все мы, люди, хоть из северных краев, хоть из южных, — братья на этой Земле.

Как живой очаг инициативы рассматривает писатель человека в рассказах «Космопавт», «Земляничное окошко», «Зеленое утро». Действительно незамысловат

последний, но так сильно, так непоборимо льется сквозь страницу и излучает высокое, благородное чувство со-зидания, что редко кто из читателей не будет им зара-жен. А ведь это и есть главное — читательский отклик, сопереживание.

Замечательным свойством произведений Брэдбери выступает их «долгодействие». Давно написал амери-канский фантаст «Запах сарсапарели», «Земляничное окошко» и «Зеленое утро», но год от года все более актуальными становятся для нас тема охраны среды обитания, необходимость в быстро меняющемся мире не утратить духовной связи с прошлым, с ценностями, что оставлены в наследство отцами, дедами, прадедами.

Многое сказано и можно еще сказать о роли литера-туры в нашей жизни. Конечно, она отражает, учит, ведет. Но у художественной литературы есть еще одно важное свойство, объединяющее ее с другими видами искусства. Человеку, как правило, хочется найти свое место в мире, а для этого ему необходимо понять само-го себя. Великое достоинство подлинно художественно-го произведения — будь то роман или рассказ, симфо-ния или картина — в том, что они дают реальное, за-фиксированное существование нашему внутреннему миру, позволяют сделать его объектом нашего же вни-мательного рассмотрения, упорядочить и понять.

Произведения Рэя Брэдбери мы по праву причисля-ем к такой литературе. Если мы негодуем вместе с ним, если радуемся, проникаемся восхищением перед деяни-ями человека, значит, и у нас в глубине души есть тот же счастливо способный к росту и не полностью вос-требованный запас, резерв прекрасного, который ждет использования.

Важно ли вообще узнать про себя такое? Есть ли этот отклик на искусство частное дело каждого читате-ля, нечто замкнутое в пределах его комнаты, квартиры? Или то хорошее, что мы порой в житейской суете забы-

ваем про себя, имеет широкое общественное значение? Да, имеет.

Мы живем в прекрасное, но трудное время. Грубый факт бытия состоит в том, что сегодня, в конце XX века, созданная усердием ученых и инженеров технологическая мощь антинародного капиталистического государства стремится подавить силу отдельной личности, лишить ее надежд и возможности участвовать в строительстве будущего. Но весь ход событий на нашей планете, пробуждающееся сознание честных людей утверждают нас во мнении, что будущее в конечном счете зависит не от технологии, а от нравственных и политических решений. Нравственность же — внутренняя прерогатива каждого из нас. Вот почему каждый значим на этой Земле, значим в той мере, в какой он готов расти, совершенствоваться, брать на себя ответственность, сознательно участвовать в построении того общества, к которому мы стремимся. О значимости человека говорит в своих книгах Рэй Брэдбери. Отсюда и радость общения с этим удивительным писателем.

Север Гансовский

Холодный ветер, теплый ветер*

— Боже праведный, что это?

— Что — «что»?

— Ты ослеп, парень? Гляди!

И лифтер Гэррити высунулся, чтобы посмотреть, на кого же это пялил глаза носильщик.

А из дублинской рассветной мглы — как раз в парадные двери отеля «Ройял Иберниен», — шаркая прямо к стойке регистрации, откуда ни возьмись прутиковый мужчина лет сорока, а следом за ним — словно всплеск птичьего щебета — пять малорослых прутиковых юнцов лет по двадцати. И так все вьются, веют руками вокруг да около, щурят глаза, подмигивают, подмаргивают, губы в ниточку, брови в струночку, тут же хмурятся, тут же сияют, то покраснеют, то побледнеют (или все это разом?). А голоса-то, голоса — божественное пикколо, и флейта, и нежный гобой, — ни ноты фальши, музыка! Шесть монологов, шесть фонтанчиков, и все брызжут, сливаясь вместе, целое облако самосочувствия, щебетанье, чириканье о трудностях путешествия и ретивости климата — этот *кордебалет* реял,

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Холодный ветер, теплый ветер: Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1979. — («Ровесник», № 3). — Пер. изд.: Bradbury R. The Cold Wind and the Warm: I Sing the Body Electric. Doubleday, N. Y., 1969.

© Перевод на русский язык, «Молодая гвардия», 1979.

ниспадал, говорливо струился, пышно расцветая одеколонным благоуханием, мимо изумленного носильщика и остолбеневшего лифтера. Грациозно сбившись в кучку, все шестеро замерли у стойки. Погребенный под лавиной музыки, управляющий поднял глаза — аккуратные букровки «О» безо всяких зрачков посередине.

— Что это? — прошептал Гэррити. — Что это было?

— Спроси кого-нибудь еще! — ответил носильщик.

В этот самый момент зажглись лампочки лифта и зажужжал зуммер вызова. Гэррити волей-неволей оторвал взгляд от знойного сборища и умчался ввысь.

— Мы хотели бы комнату, — сказал тот самый высокий и стройный. На висках у него пробивалась седина. — Будьте так добры.

Управляющий вспомнил, где он находится, и услышал собственный голос:

— Вы заказывали номер, сэр?

— Дорогой мой, конечно, нет! — сказал старший. Остальные захихикали.

— Мы совершенно неожиданно прилетели из Таормины, — продолжал высокий. У него были тонкие черты лица и влажный, похожий на бутон рот. — Нам ужасно наскучило длинное лето, и тогда кто-то сказал: «Давайте полностью сменим обстановку, давайте будем чудить!» «Что?» — сказал я. «Ну ведь есть же на Земле самое невероятное место? Давайте выясним, где это, и отправимся туда.» Кто-то сказал: «Северный полюс,» — но это было глупо. Тогда я закричал: «Ирландия!» Тут все прямо попадали. А когда шабаш стих, мы понеслись в аэропорт. И вот уже нет ни солнца, ни сицилийских пляжей — все растаяло, как вчерашнее лимонное мороженое. И мы здесь, и нам предстоит свершить... нечто *таинственное!*

— Таинственное? — спросил управляющий.

— Что это будет, мы еще не знаем, — сказал высокий. — Но как только увидим, распознаем сразу же.

Либо *Это* произойдет само собой, либо мы сделаем так, чтобы *Оно* произошло. Верно, братцы?

Ответ братцев отдаленно напоминал нечто вроде «тии-хин».

— Может быть, — сказал управляющий, стараясь держаться на высоте, — вы подскажите мне, что вы разыскиваете в Ирландии, и я мог бы указать вам...

— Господи, да нет же! — воскликнул высокий. — Мы просто помчимся вперед, распустим по ветру наше чутье, словно кончики шарфа, и посмотрим, что из этого получится. А когда мы раскроем тайну и найдем то, ради чего приехали, вы тотчас же узнаете об этом — ахи и охи, возгласы благоговения и восторга нашей маленькой туристской группы непременно доведутся до ваших ушей.

— *Это надо же!* — выдавил носильщик, затаив дыхание.

— Ну что же, друзья, распишемся?

Предводитель братцев потянулся за скрипучим гостиничным пером, но, увидев, что оно засорено, жестом фокусника вымахнул откуда-то собственную — сплошь из чистейшего золота, в 14 карат, — ручку, посредством которой замысловато, однако весьма красиво вывел светло-вишневой каллиграфической вязью: ДЭВИД, затем СНЕЛЛ, затем черточку и наконец ОРКНИ. Чуть ниже он добавил: «с друзьями».

Управляющий зачарованно следил за ручкой, затем снова вспомнил о своей роли в текущих событиях.

— Но, сэр, я не сказал вам, есть ли у нас место...

— О, конечно же, вы найдете. Для шестерых несчастных путников, которые крайне нуждаются в отдыхе после чрезмерного дружелюбия стюардесс... Одна комната — вот все, что вам нужно!

— Одна? — ужаснулся управляющий.

— В тесноте да не в обиде — так, братцы? — спросил старший, не глядя на своих друзей.

Конечно, никто не был в обиде.

— Ну что ж, — сказал управляющий, неловко взяв руками по стойке. — У нас как раз есть два смежных...

— Перфетто! * — вскричал Дэвид Снелл-Оркни.

Регистрация закончилась, и теперь обе стороны — управляющий за стойкой и гости издалека — устали друг на друга в глубоком молчании. Наконец управляющий выпалил:

— Носильщик! Быстро! Возьмите у джентльменов багаж...

Только теперь носильщик опомнился и перевел взгляд на пол.

Багажа не было.

— Нет, нет, не ищите, — Дэвид Снелл-Оркни беззаботно помахал в воздухе ручкой. — Мы путешествуем налегке. Мы здесь только на сутки, может быть, даже часов на двенадцать, а смена белья рассована по карманам пальто. Скоро назад. Сицилия, теплые сумерки... Если вы хотите, чтобы я заплатил вперед...

— В этом нет необходимости, — сказал администратор, вручая ключи носильщику. — Пожалуйста, сорок шестой и сорок седьмой.

— Понял, — сказал носильщик.

И словно колли, что беззвучно покусывает бабки мохнатым, блеющим, бестолково улыбающимся овцам, он направил очаровательную компанию к лифту, который как раз вовремя принесся сверху.

К стойке подошла жена управляющего и встала за спиной мужа, во взгляде — сталь.

— Ты спятил? — зашептала она в бешенстве. — Зачем? Ну зачем?

— Всю свою жизнь, — сказал управляющий, обращаясь скорее к себе самому, — я мечтал увидеть не одного коммуниста, но десять и рядом, не двух ниге-

* Здесь: «Великолепно!» (итал.) — Прим. перев.

рийцев, но двадцать — во плоти, не трех американских ковбоев, но целую банду, только что из седел. А когда своими ногами является букет из шести оранжерейных роз, я не могу удержаться, чтобы не поставить его в вазу. Дублинская зима долгая, Мэг, и это, может быть, единственный разгоревшийся уголек за весь год. Готовься, будет дивная встряска.

— Дурак, — сказала она.

И на их глазах лифт, поднимая тяжесть едва ли большую, чем пух одуванчиков, упорхнул в шахте вверх, прочь...

Серия совпадений, которые неверной походкой, то и дело сбиваясь в сторону, двигались все вместе к чуду, развернулась в самый полдень.

Как известно, отель «Ройял Иберниен» лежит как раз посредине между Тринити-колледж, да простят мне это упоминание, и парком Стивенс-Грин, более заслуживающим упоминания, а позади за углом лежит Графтен-стрит, где вы можете купить серебро, стекло, да и белье, или красный камзол, сапожки и шапку, чтобы выехать на псовую охоту. Но лучше всего нырнуть в кабачок Хибера Финна и принять приличную порцию выпивки и болтовни: час выпивки на два болтовни — лучшая из пропорций.

Как известно ребята, которых чаще всего встретишь у Финна, — это Нолан (вы знаете Нолана), Тимулти (кто может забыть Тимулти?), Майк Ма-Гвайр (конечно же, друг всем и каждому), затем Ханаан, Флаэрти, Килпатрик, а при случае, когда господь бог малость неряшлив в своих делах и на ум отцу Лайему Лири приходит страдалец Иов, является патер собственной персоной — вышагивает, словно само Правосудие, и всплывает, будто само Милосердие.

Стало быть, это и есть наша компания, на часах — минута в минуту полдень, и кому же теперь выйти из

парадных дверей отеля «Ройял Иберниен», как не Снеллу-Оркни с его канареечной пятеркой?

А вот и первая из ошеломительной серии встреч.

Ибо мимо, мучительно разрываясь между лавками сладостей и Хибером Финном, следовал Тимулти собственной персоной.

Как вы помните, Тимулти, когда за ним гонятся Депрессия, Голод, Нищета и прочие беспощадные Всадники, работает от случая к случаю на почте. Теперь же, болтаясь без дела, в промежутке между периодами страшной для души службы по найму, он вдруг унюхал запах, как если бы по прошествии ста миллионов лет врата Эдема вновь широко распахнулись и его пригласили вернуться. Так что Тимулти поднял глаза, желая разобраться, что же послужило причиной доверия на куц.

А причиной возмущения воздуха был, конечно же, Снелл-Оркни со своими вырвавшимися на волю зверюшками.

— Ну, скажу вам, — говорил Тимулти годы спустя, — глаза у меня выкатились так, словно кто-то хорошо трахнул по черепушке. И волосы зашевелились.

Тимулти, застыв на месте, смотрел, как делегация Снелла-Оркни струилась по ступенькам вниз и утекала за угол. Тут-то он и рванул дальним путем к Финну, решив, что на свете есть улады почище леденцов.

А в этот самый момент, огибая угол, мистер Дэвид Снелл-Оркни-и-пятеро миновал нищую особу, игравшую на тротуаре на арфе. И надо же было там оказаться именно Майку Ма-Гвайру, который от нечего делать убивал время в танце — выдавал собственного изобретения ригодон, крутя ногами сложные коленца под мелодию «Легким шагом через луг». Танцуя, Майк Ма-Гвайр услышал некий звук — словно порыв теплого ветра с Гебридов. Не то чтобы щебет, не то чтобы стрекотанье, а чем-то похоже на зоомагазин, когда вы

туда входите, и звякает колокольчик, и хор попугаев и голубей раздражается воркованием и короткими вскриками. Но звук этот Майк слышал точно — даже за шарканьем своих башмаков и переборами арфы. И застыл в прыжке.

Когда Дэвид Снелл-Оркни-и-пятеро проносился мимо, вся тропическая братия улыбнулась и помахала Ма-Гвайру.

Еще не осознав, что он делает, Майк помахал в ответ, затем остановился и прижал оскверненную руку к груди.

— Какого черта я машу? — закричал он в пространство. — Ведь я же их *не знаю*, так?!

— В Боге обрящешь сплу! — сказала арфистка, обращаясь к арфе, и грянула по струнам.

Словно влекомый каким-то новым диковинным пылесосом, что вбирает все на своем пути, Майк потянулся за Шестерной Упряжкой вниз по улице.

Так что речь идет уже о двух чувствах — о чувстве обоняния и чуткости ушей.

А на следующем углу — Нолан, только что вылетевший из кабачка по причине спора с самим Финном, круто повернул и врезался в Дэвида Снелла-Оркни. Оба покачнулись и схватились друг за друга, ища поддержки.

— Честь имею! — сказал Дэвид Снелл-Оркни.

— Мать честная! — ахнул Нолан и, разинув рот, отпал, чтобы пропустить этот цирковой парад. Его страшно подмывало юркнуть назад, к Финну. Бой с кабатчиком вылетел из памяти. Он хотел тут же поделиться об этой сногшибательной встрече с компанией из перьевой метелки, снамской кошки, недоделанного мопса и еще трех прочих — жутких дистрофиков, жертв недоедания и чересчур усердного мытья.

Шестерка остановилась возле кабачка, разглядывая вывеску.

«О боже! — подумал Нолан. — Они собираются войти. Что теперь будет? Кого предупреждать первым? Их? Или Финна?»

Но тут дверь распахнулась, и наружу выглянул сам Финн. «Черт! — подумал Нолан. — Это портит все дело. Теперь уж не нам описывать происшествие. Теперь начнется: Финн то, Финн се, а нам заткнуться, и все!» Очень-очень долго Снелл-Орки и его братия разглядывали Финна. Глаза же Финна на них не остановились. Он смотрел вверх. И смотрел поперек. И смотрел сквозь.

Но он *видел* их, уж это Нолан знал. Потому что случилось нечто восхитительное.

Краска сползла с лица Финна.

А затем произошло еще более восхитительное.

Краска снова хлынула в лицо Финна.

«Ба! — вскричал Нолан про себя. — Да он же... *краснеет!*»

Но все же Финн по-прежнему блуждал взором по небу, фонарям, домам, пока Снелл-Орки не прожурчал:

— Сэр, как пройти к парку Стивенс-Грин?

— Бог ты мой! — сказал Финн и повернулся спиной. — Кто знает, *куда* они задевали его на этой неделе! — И захлопнул дверь.

Шестерка отправилась дальше, улыбаясь и лучась восторгом, и Нолан готов был уже вломиться в дверь, как стряслось кое-что почище предыдущего. По тротуару нахлестывал невесть откуда взявшийся Гэррити, лифтер из отеля «Ройял Иберниен». С пылающим от возбуждения лицом он первым ворвался к Финну с новостью.

К тому времени, как Нолан оказался внутри, а следом за ним и Тимулти, Гэррити уже носился взад-вперед вдоль стойки бара, а ошеломленный, еще не пришедший в себя Финн стоял по ту сторону.

— Эх! Что сейчас было! Куда вам! — кричал Гэррити, обращаясь ко всем сразу. — Я говорю, это было почище, чем те фантастические киношки, что крутят в «Гайети-синема»!

— Что ты хочешь сказать? — спросил Финн, стряхнув с себя оцепенение.

— Весу в них нет! — сообщил Гэррити. — Поднимать их в лифте — все равно что горсть мякины в каменную трубу запустить! И вы бы слышали. Они здесь, в Ирландии, для того, чтобы... — он понизил голос и зажмурился, — ...совершить нечто таинственное!

— Таинственное! — Все подались к нему.

— Что именно — не говорят, но — попомните мои слова — они здесь не к добру! Видели вы когда что-нибудь подобное?

— Со времени пожара в монастыре, — сказал Финн, — ни разу. Я...

Однако слово «монастырь» оказало новое волшебное воздействие. Дверь тут же распахнулась, и в кабачок вошел отец Лири задом наперед. То есть он вошел пятясь, держась одной рукой за щеку, словно бы Парки исподтишка дали ему хорошую оплеуху.

Его спина была столь красноречива, что мужчины погрузили носы в пиво, выждав, пока патер сам слегка не промочил глотку, все еще тараща глаза на дверь, будто на распахнутые врата ада.

— Меньше двух минут назад, — сказал патер наконец, — узрел я картину невероятную. Ужели после стольких лет сбирания в своих пределах сырых мира сего Ирландия и впрямь сошла с ума?

Финн снова наполнил стакан священника.

— Не захлестнул ли вас поток пришельцев с Венеры, святой отец?

— Ты их видел, что ли, Финн? — спросил преподобный.

— Да. Вам зрится в них недоброе, ваша святость?

— Не столько доброе или недоброе, сколько странное и утрированное, Финн, и я выразил бы это словами «рококо» и, пожалуй, «барокко», если ты следишь за течением моей мысли.

— Я просто качаюсь на ее волнах, сэр.

— Уж коли вы видели их последним, куда они направлялись-то? — спросил Тимулти.

— На опушку Стивенс-Грина, — сказал священник. — Вам не мерещится ли, что сегодня в парке будет вакханалия?

— Прошу прощения, отец мой, погода не позволяет, — сказал Нолан, — но, сдается мне, чем стоять здесь и трепать языком, вернее было бы их проследить..

— Это против моей этики, — сказал священник.

— Утопающий хватается за все что угодно, — сказал Нолан, — но если он вцепится в *этику* вместо спасательного круга, то, возможно, пойдет на дно вместе с ней.

— Прочь с горы, Нолан, — сказал священник, — хватит с нас нагорной проповеди. В чем соль?

— А в том, святой отец, что такого наплыва досточтимых сицилийцев у нас не было — страшно упомянуть с каких пор. И откуда мы знаем, может быть, они вот прямо сейчас посередь парка читают вслух для миссис Мэрфи, мисс Клэнси или там миссис О'Хэнлан... А что именно они читают вслух, спрошу я вас?

— «Балладу Рэдингской тюрьмы»? — спросил Финн.

— Точно в цель, и судно тонет, — вскричал Нолан, слегка сердясь, что самую соль-то у него выхватили из-под рук. — Откуда нам знать, может, эти чертики из бутылочки только тем и занимаются, что сбывают недвижимость в местечко под названием Файр-Айленд? Вы слышали о нем, патер?

— Американские газеты часто попадают на мой стол, дружище.

— Ага. Помните тот жуткий ураган в девятьсот пятьдесят шестом, когда волны захлестнули этот самый Файр — там, возле Нью-Йорка? Мой дядя, да сохранит господь очи его и рассудок, был там в рядах морской пограничной службы, что эвакуировала всех жителей Файра до последнего. По его словам, это было почище, чем полугодовая демонстрация моделей у Феннелли. И пострашнее, чем съезд баптистов. Десять тысяч человек как рванут в шторм к берегу, а в руках у них и рулоны портьер, и клетки, битком набитые попугайчиками, и спортивные на них жакеты цвета помидоров с мандаринами, и лимонно-желтые туфли. Это был самый большой хаос с тех времен, как Иероним Босх отложил свою палитру, запечатлев Ад в наизидание всем грядущим поколениям. Не так-то просто эвакуировать десять тысяч разряженных клоунов, расписанных, как венецианское стекло, которые хлопают своими огромными коровьими глазами, тащат граммофонные симфонические пластинки, звенят серьгами в ушах, — и не надорвать при этом живот. Дядюшка мой вскоре после того ударился в смертельный запой.

— Расскажи-ка еще что-нибудь о той ночи, — сказал замороженный Килпатрик.

— Еще что-нибудь! Черта с два! — вскричал священник. — Вперед, я говорю! Окружить парк и держать ухо востро! Встретимся здесь через час.

— Вот это больше похоже на дело, — заорал Келли. — Давайте действительно разузнаем, что за чертовщину они готовят.

Дверь с треском распахнулась.

На тротуаре священник давал указания.

— Келли, Мэрфи, вам обойти парк с севера. Тимулти, зайдешь с юга. Нолан и Гэррити — на восток; Моран, Ма-Гвайр и Килпатрик — на запад. Пшли!

Так или иначе, но в этой суматохе Келли и Мэрфи застопорились на полпути к Стивенс-Грину, в пивной «Четыре трилистника», где они подкрепились перед погоней; а Нолан и Моран повстречали на улице жен и вынуждены были бежать в противоположном направлении; а Ма-Гвайр и Килпатрик, проходя мимо «Элит-синема» и услышав, что с экрана поет Лоренс Тиббетт, напросились на вход в обмен на пару недокуренных сигарет. И вышло в результате так, что за прищельцами из иного мира наблюдали только двое — Гэррити с восточной и Тимулти с южной стороны парка.

Простояв с полчаса на ледянящем ветру, Гэррити приковылял к Тимулти и заявил:

— Что стряслось с этими ублюдками? Они просто *стоят* и *стоят* там посреди парка. За полдня не сдвинулись ни с места. А у меня пальцы на ногах вымерзли напрочь. Я слетаю в отель, отогреюсь и тут же примчусь, Тим, назад — стоять с тобой на страже.

— Можешь не спешить, — произнес Тимулти очень странным, грустным, далеким, философическим голосом, когда тот пустился наутек.

Оставшись в одиночестве, Тимулти вошел в парк и целый час сидел там, созерцая шестерку, которая по-прежнему не двигалась с места. Любой, кто увидел бы в этот момент Тимулти — глаза блуждают, рот искажен трагической гримасой, — вполне принял бы его за какого-нибудь ирландского собрата Канта или Шопенгауэра или подумал бы, что он недавно прочитал нечто поэтическое или впал в уныние от пришедшей на ум песни. А когда наконец час истек и Тимулти собрал разбежавшиеся мысли — словно холодную гальку в пригоршню, — он повернулся и направился прочь из парка. Гэррити уже был там. Он притоптывал ногами, размахивал руками и готов был лопнуть от переполнявших его вопросов, но Тимулти показал пальцем на парк и сказал:

— Иди посиди. Посмотри. Подумай. И тогда *сам* мне все расскажешь.

Когда Тимулти вошел к Финну, вид у всех был трусоватый. Священник все еще бегал с поручениями по городу, а остальные, походив для успокоения совести вокруг да около Стивенс-Грина, вернулись в замешательстве в штаб-квартиру разведки.

— Тимулти! — закричали они. — Рассказывай же! Что? Как?

Чтобы протянуть время, Тимулти прошел к бару и занялся пивом. Не произнося ни слова, он разглядывал свое отражение, глубоко-глубоко захороненное под лунным льдом зеркала за стойкой. Он повертывал тему разговора так. Он выворачивал ее наизнанку. И снова на лицевую, но задом наперед. Наконец он закрыл глаза и сказал:

— Сдается мне, будто бы...

«Да, да,» — сказали про себя все вокруг.

— Всю жизнь я путешествовал и размышлял, — продолжал Тимулти, — и вот через высшее постижение явилась ко мне мысль, что между ихним братом и нашим есть какое-то странное сходство.

Все выдохнули с такой силой, что вокруг заискрилось, в призмах небольших люстр над стойкой туда-сюда забегали зайчики света. А когда после выдоха перестали роиться эти косячки световых рыбок, Нолан вскричал:

— А не хочешь ли надеть шляпу, чтобы я мог сшибить ее первым же ударом?

— Сообразите-ка, — спокойно сказал Тимулти. — Мастера мы на стихи и песни или нет?

Еще один вздох пронесся над сборищем. Это был теплый ветерок одобрения.

— Конечно, еще бы!

— О боже, так ты об *этом*?

— А мы уж боялись...

— Тихо! — Тимулти поднял руку, все еще не открывая глаз.

Все смолкли.

— Если мы не распеваем песни, то лишь потому, что сочиняем их. А если и не сочиняем, то пляшем под них. Но разве *они* не такие же любители песен, не так складывают их или не так танцуют? Словом, только что я слышал их близко, в Стивене-Грине, — они читали стихи и тихонько пели, сами для себя.

В чем-то Тимулти был прав. Каждый хлопнул соседа по плечу и вынужден был согласиться.

— Нашел ты какие-нибудь *другие* сходства? — мрачно насупившись, спросил Финн.

— О да, — сказал Тимулти, подражая судье.

Пронесся еще один завороченный вздох, и сборище придвинулось ближе.

— Порой они не прочь выпить, — сказал Тимулти.

— Господи, он прав! — вскричал Мэрфи.

— Далее, — продолжал нараспев Тимулти, — они не женятся до самой последней минуты, если женятся вообще! И...

Но здесь поднялась такая суматоха, что, прежде чем закончить, ему пришлось подождать, пока она стихнет.

— И они — э-э... — имеют очень мало дела с женщинами.

После этого разразился великий шум, начались крики и толкотня, и все принялись заказывать пиво, и кто-то позвал Тимулти наружу поговорить по душам. Но Тимулти даже веком не дрогнул, и скандал улегся, а когда все сделали по доброму глотку, проглотив вместе с пивом едва не начавшуюся драку, ясный громкий голос — голос Финна — возвестил:

— Теперь не сочтешь ли ты нужным дать объяснение тому преступному сравнению, каким ты только что

осквернил чистый воздух моего достойного кабачка?

Тимулти не торопясь приложился к кружке, и открыл наконец-то глаза, и спокойно взглянул на Финна, и звучно произнес — трубным гласом, дивно чекани слова:

— Где во всей Ирландии мужчина может лечь с женщиной?

Он постарался, чтобы сказанное дошло до всех.

— Триста двадцать девять дней в году у нас, как проклятый, идет дождь. Все остальное время вокруг такая сырость, что не найдешь ни кусочка, ни лоскутка сухой земли, где осмелишься уложить женщину, не опасаясь, что она тут же пустит корни и покроется листьями. Кто скажет что-нибудь против?

Молчание подтвердило, что никто не скажет.

— Так вот, когда дело касается мест, где можно предаться греховным порокам и плотскому неистовству, бедный, до чертиков глупый ирландец должен отправиться не куда-нибудь, а только в Аравию! Мы спим и видим во сне «Тысячу и одну ночь», теплые вечера, сухую землю, мечтаем о приличном местечке, где можно было бы не только присесть, но и прилечь, и не только прилечь, но и прижаться, пожаться, сжаться в неистовом восторге.

— Иисусе! — сказал Финн. — Ну-ка, ну-ка, повтори.

— Иисусе! — сказали все, качая головами.

— Это номер раз, — Тимулти загнул палец на руке. — Место отсутствует. Затем — номер два — время и обстоятельства. К примеру, заговоришь сладким голосом зубы честной девушке, уведешь ее в поле — и что? На ней калоши, и макинтош, и платок поверх головы, и надо всем этим еще зонтик, и ты издаешь звуки, как поросенок, застривший в воротах свинарника, что означает, что одна рука уже у нее на груди, а другая сражается с калошами, и это все, черт побери, что ты успеешь сделать, потому что кто это такой уже стоит

у тебя за спиной и чье это душистое мягкое дыхание обдает твою шею?

— Деревенского пастора? — попробовал угадать Гэррити.

— Деревенского пастора! — сказали все в отчаянии.

— Вот гвозди номер два и три, забитые в крест, на котором распяты все мужчины Ирландии, — сказал Тимулти.

— Дальше, Тимулти, дальше.

— Эти парни, что приехали к нам в гости из Сицилии, бродят компанией. Мы бродим компанией. Вот и сейчас вся наша братия собралась здесь, у Финна. Разве не так?

— Будь проклят, если не так!

— Иногда у них грустный и меланхолический вид, но все остальное время они беззаботны как черти и плюют решительно на все — вверх ли, вниз ли, но никогда не прямо перед собой. Кого вам это напоминает?

Все заглянули в зеркало и кивнули.

— Если бы у нас был выбор, — продолжал Тимулти, — пойти домой — кислым и потным от страха — к злой жене и жуткой теще и засидевшейся в девках сестренке или же остаться здесь, у Финна, спеть еще по песне, выпить еще пива и рассказать еще по анекдоту, что бы все мы предпочли, парни?

Тишина.

— Подумайте об этом, — сказал Тимулти. — И отвечайте правдиво. Сходства. Подобия. Длинный список получается — с руки на руку и через плечо. Стоит хорошенько обмозговать все, прежде чем мы начнем прыгать повсюду и кричать «Иисусе!» и «Святая Мария!» и призывать на помощь стражу.

Тишина.

— Я хотел бы... — спустя много-много времени сказал кто-то странным, изменившимся голосом, — ...разглядеть их поближе.

— Думаю, твое желание исполнится. Тс-с!

Все замерли в живой картине.

Откуда-то издалека донесся слабый, еле уловимый звук. Как тем дивным утром, когда просыпаешься и лежишь в постели и особым чувством угадываешь, что снаружи падает первый снег, лаская на своем пути вниз небеса, и тогда тишина отодвигается в сторону, отступает, уходит.

— О боже! — сказал наконец Финн. — Первый день весны...

Да, и это тоже. Сначала тончайший снегопад шагов, лежащий на булыжник, а затем птичий гомон.

И на тротуаре, и ниже по улице, и возле кабачка слышались звуки, которые были и зимой, и весной одновременно. Дверь широко распахнулась. Мужчины качнулись, словно им уже нанесли удар в предстоящей стычке. Они уняли нервы. Они сжали кулаки. Они стиснули зубы, а в кабачке — словно дети явились на рождественский праздник, где куда ни глянь — безделицы, игрушки, краски, подарки на особицу, — уже стоял высокий тонкий человек постарше, который выглядел совсем молодым, и маленькие тонкие человечки помоложе, но в глазах у них — что-то стариковское. Снегопад стих. Птичий весенний гам смолк.

Стайка чудных детей, подгоняемых чудным пастырем, неожиданно ощутила, будто волна людей схлынула и они оказались на мели, хотя никто из мужчин у бара не сдвинулся на волосок. Дети теплого острова разглядывали невысоких, ростом с мальчишек, взрослых мужчин этой холодной земли, и взрослые мужчины отвечали им такими же взглядами строгих судей.

Тимулти и мужчины у бара медленно, с затяжкой втянули в себя воздух. Даже на расстоянии чувствовался ужасающе чистый запах детей. Слишком много весны было в нем.

Снелл-Оркин и его юные-старые мальчишки-мужики задышали быстро-быстро — так бьется сердце птички, попавшей в жестокую западную сжатых кулаков. Даже на расстоянии чувствовался пыльный, спертый, застоявшийся запах темной одежды низеньких взрослых. Слишком много зимы было в нем.

Каждый мог бы выразиться по поводу выбора ароматов противной стороны, но...

В этот самый момент двойные двери бокового входа с шумом распахнулись и в кабачок, трубя тревогу, ворвался Гэррити во всей красе:

— Господи! Я все видел! Знаете ли вы, где они сейчас? И что они делают?

Все до единой руки в баре предостерегающе взметнулись. По испуганным взглядам пришельцы поняли, что крик из-за них.

— Они все еще в Стивенс-Грине! — на бегу Гэррити ничего не зрил перед собой. — Я задержался у отеля, чтобы сообщить новости. Теперь ваш черед. Те парни...

— Те парни, — сказал Дэвид Снелл-Оркин, — находятся здесь, в... — он заколебался.

— В кабачке Хиберы Финна, — сказал Хибер Финн, разглядывая свои башмаки.

— Хиберы Финна, — сказал высокий, благодарно кивнув.

— Где мы немедленно все и выпьем, — сказал, поникнув, Гэррити.

Он метнулся к бару.

Но шестеро пришельцев тоже пришли в движение. Они образовали маленькую процессию по обе стороны Гэррити, и из одного только дружелюбия тот ссутулился, став дюйма на три ниже.

— Добрый день, — сказал Снелл-Оркин.

— Добрый, да не очень, — осторожно сказал Финн, выжидая.

— Сдается мне, — сказал высокий, окруженный маленькими мальчиками-мужами, — идет много разговоров о том, чем мы занимаемся в Ирландии.

— Это было бы самым скромным толкованием событий, — сказал Финн.

— Позвольте мне объяснить, — сказал Дэвид Снедл-Оркни. — Слышали ли вы когда-нибудь о Снежной Королеве и Солнечном Короле?

Разом отвисли несколько челюстей.

Кто-то задохнулся, словно от пинка в живот.

Финн, поразмыслив с секунду, с какой стороны на него может обрушиться удар, с угрюмой аккуратностью медленно налил себе спиртного. Он с храпом опрокинул кружку и, ощутив во рту пламень, осторожно переспросил, выпуская горячее дыхание поверх языка:

— Э-э... Что это там за Королева и Король еще?

— Значит, так, — сказал высокий бледный человек. — Жила-была эта Королева, и жила она в Стране Льда, где люди никогда не видели лета, а тот самый Король жил на Островах Солнца, где никогда не видели зимы. Подданные Короля чуть ли не умирали от жары летом, а подданные Королевы чуть ли не умирали от стужи зимой. Однако народы обеих стран были спасены от ужасов своей погоды. Снежная Королева и Солнечный Король повстречались и полюбили друг друга, и каждое лето, когда солнце убивало людей на островах, они перебирались на север, в ледяные края, и жили в умеренном климате. А каждую зиму, когда снег убивал людей на севере, весь народ Снежной Королевы двигался на юг и жил на островах, под мягким солнцем. Итак, не стало больше двух наций и двух народов, а была единая раса, которая сменяла один край на другой — края странной погоды и буйных времен года. Конец.

Последовал взрыв аплодисментов, но исходил он не

от юношей-канареек, а от мужчин, выстроившихся вдоль позабытого бара. Финн увидел, что его ладони сами хлопают друг о друга, и убрал их вниз. Остальные глянули на свои руки и опустили их.

А Тимулти заключил:

— Боже, вам бы настоящий ирландский акцент! Какой рассказчик сказок из вас получился бы!

— Премного благодарен, премного благодарен! — сказал Дэвид Снелл-Оркни.

— Раз премного, то пора добраться до сути сказки, — сказал Финн. — Я хочу сказать, ну, об этой Королеве с Королем и всем таком.

— Суть в том, — сказал Снелл-Оркни, — что последние пять лет мы не видели, как падают листья. Если мы углядим облако, то вряд ли распознаем, что это такое. Десять лет мы не ведали снега, ни даже капли дождя. В нашей сказке все наоборот. Либо дождь, либо мы погибнем, верно, братцы?

— О да, верно, — мелодично прошептала вся пятерка.

— Шесть или семь лет мы гонялись за теплом по всему свету. Мы жили и на Ямайке, и в Нассау, и в Порт-о-Пренсе, и в Калькутте, и на Мадагаскаре, и на Бали, и в Таормине, но наконец сегодня мы сказали себе: мы должны ехать на север, нам снова нужен холод. Мы не совсем точно знали, что ищем, но мы нашли это в Стивенс-Грине.

— Нечто *таинственное*? — воскликнул Нолан. — То есть...

— Ваш друг вам расскажет, — сказал высокий.

— *Наш* друг? Вы имеете в виду... Гэррити?

Все посмотрели на Гэррити.

— Что я и хотел сказать, — произнес Гэррити, — когда вошел сюда. Там, в парке, эти стояли и... *смотрели, как желтеют листья*.

— И это все? — спросил в смятении Нолан

— В настоящий момент этого вполне достаточно, — сказал Снелл-Оркни.

— Неужто в Стивенс-Грине листья действительно *желтеют*? — спросил Килпатрик.

— Вы знаете, — оцепенело сказал Тимулти, — последний раз я *наблюдал* это лет двадцать назад.

— Самое прекрасное зрелище на свете, — сказал Дэвид Снелл-Оркни, — открывается именно сейчас, посреди парка Стивенс-Грин.

— Он говорит дело, — пробормотал Нолан.

— Выпивка за мной, — сказал Дэвид Снелл-Оркни.

— В самую точку! — сказал Ма-Гвайр.

— Всем шампанского!

— Плачу я! — сказал каждый.

И не прошло десяти минут, как все были уже в парке, все вместе.

Ну так что же, как говаривал Тимулти много лет спустя, видели вы когда-нибудь еще столько же распроклятых листьев в одной кроне, сколько их было на первом попавшемся дереве сразу за воротами Стивенс-Грина? «Нет!» — кричали все. А что тогда сказать о втором дереве? На нем был просто миллиард листьев. И чем больше они смотрели, тем больше постигали, что это было чудо. И Нолан, бродя по парку, так вытягивал шею, что, споткнувшись, пал на спину, и двум или трем приятелям пришлось его поднимать; и были всеобщие благоговейные вздохи, и возгласы о божественном вдохновении, ибо, если уж на то пошло, насколько они помнят, на этих деревьях никогда *не было* ни одного распроклятого листочка, а вот теперь они появились! Или, если они там и были, у них *никогда* не замечалось никакой окраски, или даже, если окраска и *наличествовала*, хм, это было так давно... «Ах, какого дьявола, — сказали все, — заткнитесь и смотрите!»

Именно этим и занимались всю оставшуюся часть вечерающего дня и Нолан, и Тимулти, и Келли, и

Килпатрик, и Гэррити, и Снелл-Оркин и его друзья. Суть в том, что страной завладела осень, и по всему парку были выкинуты миллионы ярких флагов.

Именно там и нашел их отец Лири.

Но прежде чем он смог что-либо сказать, три из шести летних пришельцев спросили его, не исповедует ли он их.

А уже в следующий момент патер с выражением великой боли и тревоги на лице вел Снелла-Оркин и К° взглянуть на витражи в церкви и на то, как строительный мастер вывел апсиду, и церковь им так понравилась, и они так громко говорили об этом снова и снова, и выкрикивали «Дева Мария!», и еще несли какой-то вздор, что патер вмиг унесся, спасаясь бегством.

Но день достиг апофеоза, когда, уже в кабачке, один из юных-старых мальчиков-мужей спросил, как быть: спеть ли ему «Матушку Макри» или «Дружка-приятеля»?

Последовала дискуссия, а после того как подсчитали голоса и объявили результаты, он спел и *то* и *другое*.

«У него дивный голос, — сказали все, и глаза их заблестели, наполнившись влагой. — Нежный, чистый, высокий голос».

И как выразился Нолан:

— Сынишка из него не ахти какой получился бы. Но где-то там прячется чудная дочка.

И все проголосовали «за».

И вдруг настало время прощаться.

— Великий боже! — сказал Финн. — Вы же только что приехали!

— Мы нашли то, что искали, нам больше незачем оставаться, — объявил высокий-грустный-веселый-старый-молодой человек. — Цветам пора в оранжерею... а то за ночь они поникнут. Мы никогда не задерживаем-

ся. Мы всегда летим, и несемся вскачь, и бежим. Мы всегда в движении.

Аэропорт затянуло туманом, и птичкам ничего другого не оставалось, как заключить себя в клетку судна, идущего из Дан-Лэре в Англию, а завсегдатаям Финна не оставалось ничего другого, как стоять в сумерках на пирсе и наблюдать за их отправлением. Вот там, на верхней палубе, стояли все шестеро и махали вниз своими тоненькими ручками, а вот там стояли Тимулти, и Нолан, и Гэррити, и все остальные и махали вверх своими толстыми ручищами. А когда судно дало свисток и отчалило, Главный Смотритель Птичек кивнул, взмахнул, словно крылом, правой рукой, и все запели:

Я шел по славному городу Дублину,
Двенадцать часов пробило в ночи,
И видел я девушку, милую девушку,
Власы распустившую в свете свечи.

— Боже, — сказал Тимулти, — вы слышите?

— Сопрано, все до одного сопрано! — вскричал Но-
лан.

— Не ирландские сопрано, а настоящие, *настоящие* сопрано, — сказал Келли. — Проклятье, почему они не сказали раньше? Если бы мы знали, мы бы слушали это еще целый час до отплытия.

Тимулти кивнул. И шепнул, слушая, как мелодия плывет над водами:

— Удивительно. Удивительно. Страшно не хочется, чтобы они уезжали. Подумайте. Подумайте. Сто лет или даже больше люди говорили, что их не осталось ни одного. И вот они вернулись, пусть даже на короткое время!

— Кого ни одного? — спросил Гэррити. — И кто вернулся?

— Как кто, — сказал Тимулти, — эльфы, конечно. Эльфы, которые раньше жили в Ирландии, а теперь

больше не живут, и которые явились сегодня и сменили нам погоду. И вот они снова уходят — те, что раньше жили здесь всегда.

— Да заткнись же ты! — закричал Килпатрик. — Слушай!

И они слушали — девять мужчин на самой кромке пирса, — а судно удалялось, и пели голоса, и опустился туман, и они долго-долго не двигались, пока судно не ушло совсем далеко и голоса не растаяли, как аромат папайи, в сумеречной дымке.

Когда они возвращались к Финну, пошел дождь.

Превращение*

«Ну и запах тут», — подумал Рокуэл. От Макгайра песет пивом, от Хартли — усталой, давно немойтой плотью, но хуже всего острый, будто от насекомого, запах, исходящий от Смита, чье обнаженное тело, обтянутое зеленой кожей, застыло на столе. И ко всему еще тянет бензином и смазкой от непонятного механизма, поблескивающего в углу тесной комнатухи.

Этот Смит — уже труп. Рокуэл с досадой поднялся, спрятал стетоскоп.

— Мне надо вернуться в госпиталь. Война, работы по горло. Сам понимаешь, Хартли. Смит мертв уже восемь часов. Если хочешь еще что-то выяснить, вызови прозектора, пускай вскрыют...

Он не договорил — Хартли поднял руку. Костлявой трясущейся рукой показал на тело Смита — на тело, сплошь покрытое жесткой зеленой скорлупой.

— Возьми стетоскоп, Рокуэл, и послушай еще раз. Еще только раз. Пожалуйста.

Рокуэл хотел было отказаться, но раздумал, снова сел и достал стетоскоп. Собратьям-врачам надо уступать. Прижимаешь стетоскоп к зеленому окоченелому телу, притворяешься, будто слушаешь...

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Превращение: Пер. с англ. — М.: Наука, 1981. — («Химия и жизнь», № 12). — Пер. изд.: Bradbury R. Chrysalis: S is for Space. Doubleday, N. Y., 1966.

© Перевод на русский язык, «Наука», 1981.

Тесная полутемная комнатуха вокруг него взорвалась. Взорвалась единственным зеленым холодным содроганием. Словно по барабанным перепонкам ударили кулаки. Его ударило. И пальцы сами собой отдернулись от распростертого тела.

Он услышал дрожь жизни.

В глубине этого темного тела один только раз ударило сердце. Будто отдалось далекое эхо в морской пучине.

Смит мертв, не дышит, заостенел. Но внутри этой мумии сердце живет. Живет, встрепенулось, будто еще не рожденный младенец.

Пальцы Рокуэла, искусные пальцы хирурга, старательно ощупывают мумию. Он наклонил голову. В неярком свете волосы кажутся совсем темными, кое-где поблескивает седина. Славное лицо, открытое, спокойное. Ему около тридцати пяти. Он слушает опять и опять, на гладко выбритых щеках проступает холодный пот. Невозможно поверить такой работе сердца.

Один удар за тридцать пять секунд.

А дыхание Смита — как этому поверить? — один вздох за четыре минуты. Движение грудной клетки неуловимо. Ну а температура?

Шестьдесят*.

Хартли засмеялся. Не очень-то приятный смех. Больше похожий на заблудшее эхо. Сказал устало:

— Он жив. Да, жив. Несколько раз он меня едва не одурачил. Я вводил ему адреналин, пытался ускорить пульс, но это не помогало. Уже три месяца он в таком состоянии. Больше я не в силах это скрывать. Потому я тебе и позвонил, Рокуэл. Он... это что-то противоестественное.

Да, это просто невозможно — и как раз поэтому Рокуэла охватило непонятное волнение. Он попытался

* По Фаренгейту, т. е. около 16°C. — *Прим. перев.*

поднять веки Смита. Безуспешно. Их затянуло кожей. И губы срослись. И ноздри. Воздуху нет доступа...

— И все-таки он дышит...

Рокуэл и сам не узнал своего голоса. Выронил стетоскоп, поднял и тут заметил, как дрожат руки.

Хартли встал над столом — высокий, тощий, измученный.

— Смит совсем не хотел, чтобы я тебя вызвал. А я не послушался. Смит предупредил, чтобы я тебя не вызывал. Всего час назад.

Темные глаза Рокуэла вспыхнули, округлились от изумления.

— Как он мог предупредить? Он же недвижим.

Исхудалое лицо Хартли — заострившиеся черты, упрямый подбородок, сощуренные в щелку глаза — болезненно передернулось.

— Смит... *думает*. Я знаю его мысли. Он боится, как бы ты его не разоблачил. Он меня ненавидит. За что? Я хочу его убить, вот за что. Смотри. — Он неуклюже полез в карман своего мягкого, покрытого пятнами пиджака, вытащил блеснувший вороненой сталью револьвер.

— На, Мэрфи. Возьми. Возьми, пока я не продырявил этот гнусный полутруп!

Тот понятился, на круглом красном лице — испуг.

— Терпеть не могу оружие. Возьми ты, Рокуэл.

Рокуэл приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель:

— Убери револьвер, Хартли. Ты три месяца проторчал возле этого больного, вот и дошел до психического срыва. Выспись, это помогает. — Он провел языком по пересохшим губам. — Что за болезнь подхватил Смит?

Хартли пошатнулся. Пошевелил непослушными губами. Засыпает стоя, понял Рокуэл. Не сразу Хартли удалось выговорить:

— Он не болен. Не знаю, что это такое. Только я на него зол, как мальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не такой... неправильный. Помоги мне. Ты мне поможешь, а?

— Да, конечно, — Рокуэл улыбнулся. — У меня в пустыне санаторий, самое подходящее место, там его можно основательно исследовать. Ведь Смит... это же самый невероятный случай за всю историю медицины! С человеческим организмом такого просто не бывает!

Хартли прицелился из револьвера ему в живот.

— Стоп. Стоп. Ты... ты не просто упрячешь Смита подальше, это не годится! Я думал, ты мне поможешь. Он зловредный. Его надо убить. Он опасен! Я знаю, он опасен!

Рокуэл прищурился. У Хартли явно неладно с психикой. Сам не знает, что говорит. Рокуэл расправил плечи, теперь он холоден и спокоен.

— Попробуй выстрелить в Смита, и я отдам тебя под суд за убийство. Ты надорвался и умственно, и физически. Убери револьвер.

Они в упор смотрели друг на друга.

Рокуэл неторопливо подошел, взял у Хартли оружие, дружески похлопал по плечу и передал револьвер Мэрфи — тот посмотрел так, будто ждал, что револьвер сейчас его укусит.

— Позвони в госпиталь, Мэрфи. Я там не буду неделю. Может быть, дольше. Предупреди, что я занят исследованиями в санатории.

Толстая красная физиономия Мэрфи сердито скривилась.

— А что мне делать с пистолетом?

Хартли стиснул зубы, процедил:

— Возьми его себе. погоди, еще сам захочешь пустить его в ход.

Рокуэлу хотелось кричать, возвестить всему свету,

что у него в руках — невероятная, невиданная в истории человеческая жизнь. Яркое солнце освещало палату санатория; Смит, безмолвный, лежал на столе, красивое лицо его застыло бесстрастной зеленой маской.

Рокуэл неслышными шагами вошел в палату. Прижал стетоскоп к зеленой груди. Получалось то ли царапанье, то ли негромкий скрежет, будто металл касается панциря огромного жука.

Поодаль стоял Макгайр, недоверчиво оглядывал недвижимое тело, благоухал недавно выпитым в изобилии пивом.

Рокуэл сосредоточенно вслушивался.

— Наверно, в машине скорой помощи его сильно растрясло. Не следовало рисковать...

Рокуэл вскрикнул.

Макгайр, волоча ноги, подошел к нему.

— Что случилось?

— Случилось? — Рокуэл в отчаянии огляделся. Сжал кулак. — Смит умирает!

— С чего ты взял? Хартли говорил, Смит просто прикидывается мертвым. Он и сейчас тебя дурачит...

— Нет! — Рокуэл выбивался из сил над бессловесным телом, пытался выпрыснуть лекарство. Любое. И ругался на чем свет стоит. После всей этой мороки потерять Смита невозможно. Нет, только не теперь.

А там, внутри, под зеленым панцирем тело Смита содрогалось, билось, корчилось, охваченное непостижимым бешенством, и казалось, в глубине глухо рычит пробудившийся вулкан.

Рокуэл пытался сохранить самообладание. Смит — случай особый. Обычные приемы скорой помощи не действуют. Как же тут быть? Как?

Он смотрит остановившимся взглядом. Окостенелое тело блестит в ярких солнечных лучах. Жаркое солнце. Сверкает, горит на стетоскопе. Солнце. Рокуэл смот-

рит, а за окном наплывают облака, солнце скрылось. В комнате стало темнее. И тело Смита затихает. Вулкан внутри успокоился.

— Макгайр! Опустит шторы! Скорей, пока не выглянуло солнце!

Макгайр повиновался.

Сердце Смита замедляет ход, удары его опять ленивы и редки.

— Солнечный свет Смицу вреден. Чему-то он мешает. Не знаю, отчего и почему, но это ему опасно... — Рокуэл вздыхает с облегчением. — Господи, только бы не потерять его. Только бы не потерять. Он какой-то не такой, он создает свои правила, что-то он делает такое, чего еще не делал никто. Знаешь что, Мэрфи?

— Ну?

— Смит вовсе не в агонии. И не умирает. И вовсе ему не лучше умереть, что бы там ни говорил Хартли. Вчера вечером, когда я его укладывал на носилки, чтобы везти в санаторий, я вдруг понял: Смицу я по душе.

— Бр-р! Сперва Хартли. Теперь ты. Смит тебе сам это сказал, что ли?

— Нет, не говорил. Но под этой своей скорлупой он не без сознания. Он все сознает. Да, вот в чем суть. Он все сознает.

— Просто-напросто он в столбняке. Он умрет. Больше месяца он живет без пищи. Это Хартли сказал. Хартли сперва хоть что-то вводил ему внутривенно, а потом кожа так затвердела, что уже не пропускала иглу.

Дверь одноступенчатой палаты медленно, со скрипом отворилась. Рокуэл вздрогнул. На пороге, выпрямившись во весь немалый рост, стоял Хартли; после не-

скольких часов сна колючее лицо его стало спокойнее, но серые глаза смотрели все так же зло и враждебно.

— Выйдите отсюда, и я в два счета покончу со Смитом, — негромко сказал он. — Ну?

— Ни с места, — сердито приказал Рокуэл, подходя к нему. — Каждый раз, как явишься, вынужден буду тебя обыскивать. Прямо говорю: я тебе не доверяю. — Оружия у Хартли не оказалось. — Почему ты меня не предупредил насчет солнечного света?

— Как? — тихо, не сразу прозвучало в ответ. — А... да. Я забыл. На первых порах я пробовал передвигать Смита. Он оказался на солнце и стал умирать всерьез. Понятно, больше я не трогал его с места. Похоже, он смутно понимал, что ему предстоит. Может, даже сам это задумал, не знаю. Пока он не заостенел окончательно и еще мог говорить и есть, аппетит у него был волчий, и он предупредил, чтоб я три месяца не трогал его с места. Сказал, что хочет оставаться в тени. Что солнце все испортит. Я думал, он меня разыгрывает. Но он не шутил. Ел жадно, как зверь, как голодный дикий зверь, потом впал в оцепенение — и вот, полюбуйтесть... — Хартли невнятно выругался. — Я-то надеялся, ты оставишь его подольше на солнце и нечаянно угровишь.

Макгайр всколыхнулся всей своей тушей — двести пятьдесят фунтов.

— Слушайте... А вдруг мы заразимся этой смитовой болезнью?

Хартли смотрел на неподвижное тело, зрачки его сузились.

— Смит не болен. Неужели не понимаешь, тут же прямые признаки вырождения. Это как рак. Им не заражаешься, это в роду и передается по наследству. Сперва у меня не было к Смити ни страха, ни ненависти, это пришло только неделю назад, тогда я убедился, что он дышит, и существует, и процветает, хотя и

ноздри, и рот замкнуты наглухо. Так не бывает. Так не должно быть.

— А вдруг и ты, и я, и Рокуэл тоже станем зеленые и эта чума охватит всю страну, тогда как? — дрожащим голосом выговорил Макгайр.

— Тогда, если я ошибаюсь — может быть, и ошибаюсь, — я умру, — сказал Рокуэл. — Только меня это ни капельки не волнует.

Он повернулся к Смит и продолжал делать свое дело.

Колокол звонит. Колокол. Два, два колокола. Десять колоколов, сто. Десять тысяч, миллион оглушительных, гремящих, лязгающих металлом колоколов. Все разом ворвались в тишину, воют, режут, отдаются мучительным эхом, раздирают уши!

Звенят, поют голоса, громкие и тихие, высокие и низкие, глухие и пронзительные. Бьют по скорлупе громадные хлопущие, в воздухе несмолкаемый грохот и треск!

Под трезвон колоколов Смит не сразу понимает, где же он. Он знает, ему ничего не увидеть — веки замкнуты, знает, ничего ему не сказать — губы срослись. И уши тоже запечатаны, а колокола все равно оглушают.

Видеть он не может. Но нет, все-таки может, кажется, перед ним тесная багровая пещера, словно глаза обращены внутрь мозга. Он пробует шевельнуть языком, пытается крикнуть и вдруг понимает: язык пропал — там, где всегда был язык, пустота, щемящая пустота будто жаждет вновь его обрести, но сейчас — не может.

Нет языка. Странно. Почему? Смит пытается остановить колокола. И они останавливаются, блаженная тишина окутывает его прохладным покрывалом. Что-то происходит. Происходит.

Смит пробует шевельнуть пальцем, но палец не повинуется. И ступня тоже, нога, пальцы ног, голова — ничто не слушается. Ничем не шевельнешь. Ноги, руки, все тело — недвижимы, застыли, скованы, будто в бетонном гробу.

И еще через минуту страшное открытие: он больше не дышит. По крайней мере, легкими.

— ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕТ ЛЕГКИХ! — вопит он. Вопит где-то внутри, и этот мысленный вопль захлестнуло, опутало, скомкало и дремотно повлекло куда-то в глубину темной багровой волной. Багровая дремотная волна обволокла беззвучный вопль, скрутила и унесла прочь, и Смиту стало спокойнее.

«Я не боюсь, — подумал он. — Я понимаю непонятное. Понимаю, что вовсе не боюсь, а почему — не знаю.

Ни языка, ни ноздрей, ни легких.

Но потом они появятся. Да, появятся. Что-то... что-то происходит».

В поры замкнутого в скорлупе тела проникает воздух, будто каждую его частицу покалывают струйки живительного дождя. Дышишь мириадами крохотных жабер, вдыхаешь кислород и азот, водород и углекислоту, и все идет впрок. Удивительно. А сердце как — бьется еще или нет?

Да, бьется. Медленно, медленно, медленно. Смутный багровый ропот возникает вокруг, доток, река, медлительная, еще медленней, еще. Так славно.

Так отдохновснно.

Дни сливаются в недели, и быстрее складываются в цельную картину разрозненные куски головоломки. Помогает Макгайр. В прошлом хирург, он уже многие годы у Рокузала секретарем. Не бог весть какая подмога, но славный товарищ.

Рокуэл заметил, что хоть Макгайр ворчливо подшучивает над Смитом, но неспокоен, даже очень. Силится сохранить спокойствие. А потом однажды притих, призадумался — и сказал неторопливо:

— Вот что, я только сейчас сообразил: Смит живой! Должен бы помереть. А он живой. Вот так штука! Рокуэл расхохотался.

— А какого черта, по-твоему, я тут орудую? На той неделе доставлю сюда рентгеновский аппарат, посмотрю, что творится внутри смитовой скорлупы.

Он ткнул иглой шприца в эту жесткую скорлупу. Игла сломалась. Рокуэл сменил иглу, потом еще одну и наконец проткнул скорлупу, взял кровь и принялся изучать образцы под микроскопом. Спустя несколько часов он преспокойно сунул результаты проб Макгайру под самый его красный нос, заговорил быстро:

— Просто не верится. Его кровь смертельна для микробов. Понимаешь, я капнул взвесь стрептококков, и за восемь секунд они все погибли! Можно ввести Смиту какую угодно инфекцию — он любую бактерию уничтожит, он ими лакомится!

За считанные часы сделаны были и еще открытия. Рокуэл лишился сна, ночью ворочался в постели с боку на бок, продумывал, передумывал, опять и опять взвешивал потрясающие догадки. К примеру. С тех пор, как Смит заболел, и до последнего времени Хартли каждый день вводил ему внутривенно какое-то количество кубиков питательной сыворотки. НИ ГРАММА ЭТОЙ ПИЩИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО. Вся она сохраняется прозапас — и не в жировых отложениях, а в совершенно неестественном виде: это какой-то очень насыщенный раствор, неведомая жидкость, содержащаяся у Смита в крови. Одной ее унции довольно, чтобы питать человека целых три дня. Эта удивительная жидкость движется в кровеносных сосудах, а едва организм ощутит в ней потребность, он тотчас ее

усваивает. Гораздо удобнее, чем запасы жира. Несравненно удобнее!

Рокуэл ликовал — вот это открытие! В теле Смита накопилось этого икс-раствора столько, что хватит на многие месяцы. Он не нуждается в пище извне.

Услыхав это, Макгайр печально оглядел свое солидное брюшко.

— Вот бы и мне так...

Но это еще не все. Смит почти не нуждается в воздухе. А нужное ему ничтожное количество впитывает, видимо, прямо сквозь кожу. И усваивает до последней молекулы. Никаких отходов.

— И во всему, — закончил Рокуэл, — в последнем счете Смит, пожалуй, вовсе не надо будет, чтоб у него билось сердце, он и так обойдется!

— Тогда он умрет.

— Для нас с тобой — да. Для самого себя — может быть. А может, и нет. Ты только вдумайся, Макгайр. Что такое сейчас Смит? Замкнутая кровеносная система, которая сама собою очищается, месяцами не требует питания извне, почти не знает перебоев и совсем ничего не теряет, ибо с пользой усваивает каждую молекулу; система саморазвивающаяся и прочно защищенная, убийственная для любых микробов. И при всем этом Хартли еще говорит о вырождении!

Хартли принял открытие с досадой. И твердил свое: Смит перестает быть человеком. Он выродок и опасен.

Макгайр еще подлил масла в огонь:

— Почему знать, может, возбудителя этой болезни и в микроскоп не увидишь, а он, расправляясь со своей жертвой, заодно уничтожает все другие микробы. Ведь прививают же иногда малярию, чтобы излечить сифилис; отчего бы новой неведомой бацилле не пожать все остальные?

— Довод веский, — сказал Рокуэл. — Но мы-то не заболели?

— Может быть, эта бактерия уже в нас, только ей нужен какой-то инкубационный период.

— Типичное рассуждение старомодного эскулапа. Что бы с человеком ни случилось, раз он не вменяется в привычные рамки, значит, болен, — возразил Рокуэл. — Кстати, это твоя мысль, Хартли, а не моя. Врачи не успокоятся, пока не поставят в каждом случае диагноз и не наклеят ярлычок. Так вот, по-моему, Смит здоров, до того здоров, что ты его боишься.

— Ты спятил, — сказал Макгайр.

— Возможно. Только Смит, я думаю, вовсе не требуется вмешательство медицины. Он сам себя спасает. По-вашему, это — вырождение. А по-моему, рост.

— Да ты посмотри на его кожу! — почти простонал Макгайр.

— Овца в волчьей шкуре. Снаружи — жесткий, ломкий покров. Внутри — упорядоченная перестройка, преобразование. Почему? Я начинаю догадываться. Эти внутренние перемены в Смите так бурны, что им нужна защита, броня. А ты мне вот что скажи, Хартли, только честно: боялся ты в детстве насекомых — пауков и всякой такой твари?

— Да.

— То-то и оно. У тебя фобия. Врожденный страх и отвращение, и все это обратилось на Смита. Поэтому тебе и противна эта перемена в нем.

В последующие недели Рокуэл подробно разузнал о прошлом Смита. Побывал в лаборатории электроники, где тот работал, пока не заболел. Дотошно исследовал комнату, где Смит под присмотром Хартли провел первые недели своей «болезни». Тщательно изучил стоящий в углу аппарат. Что-то связанное с радиацией.

Уезжая из санатория, Рокуэл надежно запер Смита

в палате и к двери приставил стражем Макгайра на случай, если у Хартли появятся какие-нибудь завиральные мысли.

Смиту двадцать три года, и жизнь у него была самая простая. Пять лет проработал в лаборатории электроники. Никогда серьезно не болел.

Шли дни. Рокуэл пристрастился к долгим одиноким прогулкам вдоль соседнего пересохшего ручья. Так он выкраивал время подумать, обосновать невероятную теорию, что складывалась у него все отчетливей.

А однажды остановился у куста жасмина, цветущего ночами подле санатория, поднялся на цыпочки и, улыбаясь, снял с высокой ветки что-то темное, поблескивающее. Осмотрел и сунул в карман. И прошел в санаторий.

Он позвал с веранды Макгайра. Тот пришел. За ним, бормоча вперемешку жалобы и угрозы, плелся Хартли. Все трое сели в приемной.

И Рокуэл заговорил:

— Смит не болен. В его организме не выжить ни одной бацилле. И никакие дьяволы, бесы и злые духи в него не вселились. Упоминаю об этом в доказательство, что перебрал все мыслимые и немыслимые возможности. И любой диагноз любых обычных болезней отбрасываю. Предлагаю гораздо более важную и наиболее приемлемую возможность — замедленную наследственную мутацию.

— Мутацию? — не своим голосом переспросил Макгайр.

Рокуэл поднял и показал нечто темное, поблескивающее на свету.

— Вот что я нашел в саду, на кусте. Отлично подтверждает мою теорию. Я изучил состояние Смита, осмотрел его лабораторию, исследовал несколько вот этих штучек, — он повертел в пальцах темный маленький предмет. — И я уверен. Это метаморфоза. Перерожде-

ние, видоизменение, мутация — не до, а после появления на свет. Вот. Держи. Это и есть Смит.

И он кинул темную вещичку Хартли. Хартли поймал ее на лету.

— Это же куколка, — сказал Хартли. — Бывшая гусеница.

Рокуэл кивнул:

— Вот именно.

— Так что же, ты воображаешь, будто Смит тоже... куколка?!

— Убежден, — сказал Рокуэл.

Вечером, в темноте, Рокуэл склонился над телом Смита. Макгайр и Хартли сидели в другом конце палаты, молчали, прислушивались. Рокуэл осторожно ощупывал тело.

— Предположим, жить — значит не только родиться, протянуть семьдесят лет и умереть. Предположим, что в своем бытии человек должен шагнуть на новую, высшую ступень, — и Смит первый из всех нас совершает этот шаг.

Мы смотрим на гусеницу и, как нам кажется, видим некую постоянную величину. Однако она превращается в бабочку. Почему? Никакие теории не дают исчерпывающего объяснения. Она развивается, вот что важно. Самое существенное: нечто будто бы неизменное превращается в нечто другое, промежуточное, совершенно неузнаваемое — в куколку, а из нее выходит бабочкой. С виду куколка мертва. Это маскировка, способ сбить со следа. Поймите, Смит сбил нас со следа. С виду он мертв. А внутри все соки клокочут, перестраиваются, бурно стремятся к одной цели. Личинка оборачивается москитом, гусеница бабочкой... а чем станет Смит?

— Смит — куколка? — Макгайр невесело засмеялся.

— Да.

— С людьми так не бывает.

— Перестань, Макгайр. Ты, видно, не понимаешь, эволюция совершает великий шаг. Осмотри тело и дай какое-то другое объяснение. Проверь кожу, глаза, дыхание, кровообращение. Неделями он запасал пищу, чтобы погрузиться в спячку в этой своей скорлупе. Почему он так жадно и много ел, зачем копил в организме некий кис-раствор, если не для этого перевоплощения? А всему причиной — излучение. Жесткое излучение в смитовой лаборатории. Намеренно он облучался или случайно, не знаю. Но затронута какая-то ключевая часть генной структуры, часть, предназначенная для эволюции человеческого организма, которой, может быть, предстояло включиться только через тысячи лет.

— Так что же, по-твоему, когда-нибудь все люди?..

— Личинка стрекозы не остается навсегда в болоте, кладка жука — в почве, а гусеница — на капустном листе. Они видоизменяются и вылетают на простор. Смит — это ответ на извечный вопрос: что будет дальше с людьми, к чему мы идем? Перед нами непреодолимой стеной встает вселенная, в этой вселенной мы обречены существовать, и человек, такой, каков он сейчас, не готов вступить в эту вселенную. Малейшее усилие утомляет его, чрезмерный труд убивает его сердце, недуги разрушают тело. Возможно, Смит сумеет ответить философам на вопрос, в чем смысл жизни. Возможно, он придаст ей новый смысл.

Ведь все мы, в сущности, просто жалкие насекомые и суедемся на ничтожно маленькой планете. Не для того существует человек, чтобы вечно прозябать на ней, оставаться хилым, жалким и слабым, но будущее для него пока еще тайна, слишком мало он знает.

Но измените человека! Сделайте его совершенным. Сделайте... сверхчеловека, что ли. Избавьте его от ум-

ственного убожества, дайте ему полностью овладеть своим телом, нервами, психикой; дайте ясный, пронизательный ум, неутомимое кровообращение, тело, способное месяцами обходиться без пищи извне, освоиться где угодно, в любом климате, и побороть любую болезнь. Освободите человека от оков плоти, от бедствий плоти, и вот он уже не злосчастное ничтожество, которое страшится мечтать, ибо знает, что хрупкое тело помешает ему осуществить мечты, — и тогда он готов к борьбе, к единственной подлинно стоящей войне. Заново рожденный человек готов противостоять всей, черт ее подери, вселенной!

Рокуэл задохнулся, охрип, сердце его неистово колотилось; он склонился над Смитом, бережно, благоговейно приложил ладони к холодному недвижному панцирю и закрыл глаза. Сила, властная тяга, твердая вера в Смита переполняли его. Он прав. Прав. Он это знает. Он открыл глаза, посмотрел на Хартли и Макгайра — всего лишь теи в полутьме палаты, при завешенном окне.

Короткое молчание, потом Хартли погасил свою сигарету.

— Не верю я в эту теорию.

А Макгайр сказал:

— Почему ты знаешь, может быть, все нутро Смита обратилось в кашу? Делал ты рентгеновский снимок?

— Нет, это рискованно — вдруг помешает его превращению, как мешал солнечный свет.

— Так, значит, он становится сверхчеловеком? И как же это будет выглядеть?

— Поживем — увидим.

— По-твоему, он слышит, что мы про него сейчас говорим?

— Слышит ли, нет ли, ясно одно: мы узнали секрет, который нам знать не следовало. Смит вовсе не

желал посвящать в это меня и Макгайра. Ему пришлось как-то к нам приспособиться. Но сверхчеловек не может хотеть, чтобы все о нем узнали. Люди слишком ревнивы и завистливы, полны ненависти. Смит знает, если тайна выйдет наружу, это для него опасно. Может быть, отсюда и твоя ненависть к нему, Хартли.

Все замолчали, прислушиваются. Тишина. Только шумит кровь в висках Рокуэла. И вот он, Смит — уже не Смит, но некое вместилище с пометкой «Смит», а что в нем — неизвестно.

— Если ты не ошибаешься, нам, безусловно, надо его уничтожить, — заговорил Хартли. — Подумай, какую он получит власть над миром. И если мозг у него изменился в ту сторону, как я думаю... тогда, как только он выйдет из скорлупы, он постарается нас убить, потому что мы одни про него знаем. Он нас возненавидит за то, что мы проводили его секрет.

— Я не боюсь, — беспечно сказал Рокуэл.

Хартли промолчал. Шумное, хриплое дыхание его наполняло комнату. Рокуэл обошел вокруг стола, махнул рукой:

— Пойдемте-ка все спать, пора, как, по-вашему?

Машину Хартли скрыла завеса мелкого морозящего дождя. Рокуэл запер входную дверь, распорядился, чтобы Макгайр в эту ночь спал на раскладушке внизу, перед палатой Смита, а сам поднялся к себе и лег.

Раздеваясь, он снова мысленно перебирал невероятные события последних недель. Сверхчеловек. А почему бы и нет? Волевой, сильный...

Он улегся в постель.

Когда же? Когда Смит «вылупится» из своей скорлупы? Когда?

Дождь тихонько шуршал по крыше санатория.

Макгайр дремал на раскладушке под ропот дождя

и грохот грома, слышалось его шумное, тяжелое дыхание. Где-то скрипнула дверь, но он дышал все так же ровно. По прихожей пронесся порыв ветра. Макгайр всхрипнул, повернулся на другой бок. Тихо затворилась дверь, сквозняк прекратился.

Смягченные толстым ковром тихие шаги. Медленные шаги, опасливые, крадущиеся, настороженные. Шаги. Макгайр мигнул, открыл глаза.

В полутьме кто-то над ним наклонился.

Выше, на площадке лестницы, горит одинокая лампочка, желтоватая полоска света протянулась рядом с койкой Макгайра.

В нос бьет резкий запах раздавленного насекомого. Шевельнулась чья-то рука. Кто-то силится заговорить.

У Макгайра вырвался дикий вопль.

Рука, что протянулась в полосу света, зеленая.

Зеленая.

— Смит!

Тяжело топая, Макгайр с криком бежит по коридору:

— Он ходит! Не может ходить, а ходит!

Всей тяжестью он налетает на дверь, и дверь распаивается. Дождь и ветер со свистом набрасываются на него, он выбегает в бурю, бессвязно, бессмысленно бормочет.

А тот, в прихожей, недвижим. Наверху распахнулась дверь, по лестнице сбегает Рокуэл. Зеленая рука отдернулась из полосы света, спряталась за спиной.

— Кто здесь? — остановясь на полпути, спрашивает Рокуэл.

Тот выходит на свет.

Рокуэл смотрит в упор, брови сдвинулись.

— Хартли! Что ты тут делаешь, почему вернулся?

— Кое-что случилось, — говорит Хартли. — А ты поди-ка приведи Макгайра. Он выбежал под дождь и лопочет, как полоумный.

Рокуэл не стал говорить, что думает. Быстро, испытующе оглядел Хартли и побежал дальше -- по коридору, за дверь, под дождь.

— Макгайр! Макгайр, дурья голова, вернись!

Бежит под дождем, струи так и хлещут. На Макгайра наткнулся чуть не в сотне шагов от дома, тот бормочет:

— Смит... Смит там ходит...

— Чепуха. Просто это вернулся Хартли.

— Рука зеленая, я видел. Она двигалась.

— Тебе приснилось.

— Нет. Нет. — В дряблом, мокром от дождя лице Макгайра ни кровинки. — Я видел, рука зеленая, верно тебе говорю. А зачем Хартли вернулся? Ведь он...

При звуке этого имени Рокуэла как ударило, он разом понял. Пронзило страхом, мысли закружило вихрем — опасность! — резнул отчаянный зов: на помощь!

— Хартли!

Рокуэл оттолкнул Макгайра, рванулся, закричал и со всех ног помчался к санаторию. В дом, по коридору...

Дверь в палату Смита взломана.

Посреди комнаты с револьвером в руке — Хартли. Услыхал бегущего Рокуэла, обернулся. И вмиг оба действуют. Хартли стреляет, Рокуэл щелкает выключателем.

Тьма. И вспышка пламени, точно на моментальной фотографии высвечено сбоку застывшее тело Смита. Рокуэл метнулся в сторону вспышки. И уже в прыжке, потрясенный, понимает, почему вернулся Хартли. В секунду, пока не погас свет, он увидел руку Хартли.

Пальцы, покрытые зеленой чешуей.

Потом схватка врукопашную. Хартли падает, и тут снова вспыхнул свет, на пороге мокрый насквозь Макгайр, выговаривает трясущимися губами:

— Смит... он убит?

Смит не пострадал. Пуля прошла выше.

— Болван, какой болван! — кричит Рокуэл, стоя над обмякшим на полу Хартли. — Великое, небывалое событие, а он хочет все погубить!

Хартли пришел в себя, говорит медленно:

— Надо было мне догадаться. Смит тебя предупредил.

— Ерунда, он... — Рокуэл запиулся, изумленный. — Да, верно. То внезапное предчувствие, смятение в мыслях. Да. — Он с яростью смотрит на Хартли: — Ступай наверх. Просидишь до утра под замком. Макгайр, иди и ты. Не спускай с него глаз.

Макгайр говорит хрипло:

— Погляди на его руку. Ты только погляди. У Хартли рука зеленая. Там в прихожей был не Смит — Хартли!

Хартли уставился на свои пальцы.

— Мило выглядит, а? — говорит он с горечью. — Когда Смит заболел, я тоже долго был под этим излучением. Теперь я стану таким... такой же тварью... Это со мной уже несколько дней. Я скрывал. Старался молчать. Сегодня почувствовал — больше не могу, вот и пришел его убить, отплатить, он же меня погубил...

Сухой резкий звук, что-то сухо треснуло. Все трое замерли.

Три крохотные чешуйки взлетели над смитовой скорлупой, покружили в воздухе и мягко опустились на пол.

Рокуэл вмиг очутился у стола, вгляделся.

— Оболочка начинает лопаться. Трещина тонкая, едва заметная — треугольником, от ключиц до пупка. Скоро он выйдет наружу!

Дряблые щеки Макгайра затряслись:

— И что тогда?

— Будет у нас сверхчеловек, — резко, зло отозвал-

ся Хартли. — Спрашивается: на что похож сверхчеловек? Ответ: никому не известно.

С треском отлетели еще несколько чешуек. Макгайра передернуло.

— Ты попробуешь с ним заговорить?

— Разумеется.

— С каких это пор... бабочки... разговаривают?

— Поди к черту, Макгайр!

Рокуэл засадил их обоих для верности наверху под замок, а сам заперся в комнате Смита и лег на раскладушку, готовый бодрствовать всю долгую дождливую ночь — следить, вслушиваться, думать.

Следить, как отлетают чешуйки ломкой оболочки, потому что из куколки безмолвно стремится выйти наружу Неведомое.

Ждать осталось каких-нибудь несколько часов. Дождь стучится в дом, струи сбегает по стеклу. Каков-то он теперь будет с виду, Смит? Возможно, изменится строение уха, потому что станет тоньше слух; возможно, появятся дополнительные глаза; изменится форма черепа, черты лица, весь костяк, размещение внутренних органов, кожные ткани, возможно несчетное множество перемен.

Рокуэла одолевает усталость, но уснуть страшно. Веки тяжелеют, тяжелеют. А вдруг он ошибся? Вдруг его домыслы нелепы? Вдруг Смит внутри этой скорлупы — вроде медузы? Вдруг он — безумный, помешанный... или совсем переродился и станет опасен для всего человечества? Нет. Нет. Рокуэл помотал затуманенной головой. Смит — совершенство. Совершенство. В нем нет места ни единой злой мысли. Совершенство.

В санатории глубокая тишина. Только и слышно, как потрескивают чешуйки хрупкой оболочки, падая на пол...

Рокуэл уснул. Погрузился во тьму, и комната исчезла, нахлынули сны. Снилось, что Смит поднялся, идет, движения угловатые, деревянные, а Хартли, пронзительно крича, опять и опять заносит сверкающий топор, с маху рубит зеленый панцирь и превращает живое существо в отвратительное месиво. Снился Макгайр — бежит под кровавым дождем, бессмысленно лопочет. Снилось...

Жаркое солнце. Жаркое солнце заливает палату. Уже утро. Рокуэл протирает глаза, смутно встревоженный тем, что кто-то поднял шторы. Кто-то поднял... Рокуэл вскочил, как ужаленный. Солнце! Шторы не могли, не должны были подняться. Сколько недель они не поднимались! Он закричал.

Дверь настежь. В санатории тишина. Не смея повернуть голову, Рокуэл косится на стол. Туда, где должен бы лежать Смит.

Но его там нет.

На столе только и есть, что солнечный свет. Да еще какие-то остатки опустелой куклки. Остатки.

Хрупкие скорлупки — расщепленный надвое профиль, округлый осколок бедра, полоска, в которой угадывается плечо, обломок грудной клетки — разбитые останки Смита!

А Смит исчез. Подавленный, еле держась на ногах, Рокуэл подошел к столу. Точно маленький, стал козаться в тонких шуршащих обрывках кожи. Потом круто повернулся и, шатаясь, как пьяный, вышел из палаты, тяжело затопал вверх по лестнице, закричал:

— Хартли! Что ты с ним сделал? Хартли! Ты что же, убил его, избавился от трупа, только куски скорлупы оставил и думаешь сбить меня со следа?

Дверь комнаты, где провели ночь Макгайр и Хартли, оказалась запертой. Трясущимися руками Рокуэл повернул ключ в замке. И увидел их обоих в комнате.

— Вы тут, — сказал растерянно. — Значит, вы туда

не спускались. Или, может, отперли дверь, пошли вниз, вломились в палату, убили Смита и... нет, нет.

— А что случилось?

— Смит исчез! Макгайр, скажи, выходил Хартли отсюда?

— За всю ночь ни разу не выходил.

— Тогда... есть только одно объяснение... Смит выбрался ночью из своей скорлупы и сбежал! Я его не увижу, мне так и не удастся на него посмотреть, черт подери совсем! Какой же я болван, что заснул!

— Ну, теперь все ясно! — заявил Хартли. — Смит опасен, иначе он бы остался и дал нам на себя посмотреть. Одному богу известно, во что он превратился.

— Значит, надо искать. Он не мог уйти далеко. Надо все обыскать! Быстрее, Хартли! Макгайр!

Макгайр тяжело опустился на стул.

— Я не двинусь с места. Он и сам отыщется. С меня хватит.

Рокуэл не стал слушать дальше. Он уже спускался по лестнице, Хартли за ним по пятам. Через несколько минут за ними, пытая и отдуваясь, двинулся Макгайр.

Рокуэл бежал по коридору, приостанавливаясь у широких окон, выходящих на пустыню и на горы, озаженные утренним солнцем. Выглядывал в каждое окно и спрашивал себя: да есть ли хоть капля надежды найти Смита? Первый сверхчеловек. Быть может, первый из очень и очень многих. Рокуэла прошиб пот. Смит не должен был исчезнуть, не показавшись сперва хотя бы ему, Рокуэлу. Не мог он вот так исчезнуть. Или все же мог?

Медленно отворилась дверь кухни.

Порог переступила нога, за ней другая. У стены поднялась рука. Губы выпустили струйку сигаретного дыма.

— Я кому-то понадобился?

Ошеломленный Рокуэл обернулся. Увидел, как из-

менился в лице Хартли, услышал, как задохнулся от изумления Макгайр. И у всех троих вырвалось разом, будто под суфлера:

— Смит!

Смит выдохнул струйку дыма. Лицо ярко-розовое, словно его нажгло солнцем, голубые глаза блестят. Ноги босы, на голое тело накинута старый халат Рокуэла.

— Может, вы мне скажете, куда это я попал? И что со мной было в последние три месяца — или уже четыре? Тут что, больница?

Разочарование обрушилось на Рокуэла тяжким ударом. Он трудно глотнул.

— Привет. Я... То есть... Вы что же... вы ничего не помните?

Смит выставил растопыренные пальцы:

— Помню, что позеленел, если вы это имеете в виду. А потом — ничего.

И он взъерошил розовой рукой каштановые волосы — быстрое, сильное движение того, кто вернулся к жизни и радуется, что вновь живет и дышит.

Рокуэл откачнулся, бессильно прислонился к стене. Потрясенный, спрятал лицо в ладонях, тряхнул головой. Потом, не веря своим глазам, спросил:

— Когда вы вышли из куколки?

— Когда я вышел... откуда?

Рокуэл повел его по коридору в соседнюю комнату, показал на стол.

— Не пойму, о чем вы, — просто, искренне сказал Смит. — Я очнулся в этой комнате полчаса назад, стою и смотрю — я совсем голый.

— И это все? — обрадованно спросил Макгайр. У него явно полегчало на душе.

Рокуэл объяснил, откуда взялись остатки скорлупы на столе. Смит нахмурился.

— Что за нелепость. А вы, собственно, кто такие?

Рокуэл представил их друг другу.

Смит мрачно поглядел на Хартли.

— Сперва, когда я заболел, явились вы, верно? На завод электронного оборудования. Но это же все глупо. Что за болезнь у меня была?

Каждая мышца в лице Хартли напряглась до отказа.

— Никакая не болезнь. Вы-то разве ничего не знаете?

— Я очутился с незнакомыми людьми в незнакомом санатории. Очнулся голый в комнате, где какой-то человек спал на раскладушке. Очень хотел есть. Пошел бродить по санаторию. Дошел до кухни, отыскал еду, поел, услышал какие-то взволнованные голоса, а теперь мне заявляют, будто я вылупился из куколки. Как прикажете все это понимать? Кстати, спасибо за халат, за еду и сигареты, я их взял взаймы. Сперва я просто не хотел вас будить, мистер Рокуэл. Я ведь не знал, кто вы такой, но видно было, что вы смертельно устали.

— Ну, это пустяки. — Рокуэл отказывался верить горькой очевидности. Все рушится. С каждым словом Смита недавние надежды рассыпаются, точно разбитая скорлупа куколки. — А как вы себя чувствуете?

— Отлично. Полон сил. Просто замечательно, если учесть, как долго я пробыл без сознания.

— Да, прямо замечательно, — сказал Хартли.

— Представляете, каково мне стало, когда я увидел календарь. Стольких месяцев — бац — как не бывало! Я все гадал, что же со мной делалось столько времени.

— Мы тоже гадали.

Макгайр засмеялся:

— Да не приставай к нему, Хартли. Просто потому, что ты его ненавидел...

Смит недоуменно поднял брови:

— Ненавидел? Меня? За что?

— Вот. Вот за что! — Хартли растопырил пальцы. — Ваше проклятое облучение. Ночь за ночью я сидел около вас в вашей лаборатории. Что мне теперь с этим делать?

— Тише, Хартли, — вмешался Рокуэл. — Сядь. Успокойся.

— Ничего я не сяду и не успокоюсь! Неужели он вас обоих одурачил? Это же подделка под человека! Этот розовый молодчик затеял такой страшный обман, какого еще свет не видал! Если у вас осталось хоть на грош соображения, убейте этого Смита, пока он не улизнул!

Рокуэл попросил извинить вспышку Хартли. Смит покачал головой:

— Нет, пускай говорит дальше. Что все это значит?

— Ты и сам знаешь! — в ярости заорал Хартли. — Ты лежал тут месяц за месяцем, подслушивал, строил планы. Меня не проведешь. Рокуэла ты одурачил, теперь он разочарован. Он ждал, что ты станешь сверхчеловеком. Может, ты и есть сверхчеловек. Так ли, эдак ли, но ты уже никакой не Смит. Ничего подобного. Это просто еще одна твоя уловка. Запутываешь нас, чтобы мы не узнали о тебе правды, чтоб никто ничего не узнал. Ты запросто можешь нас убить, а стоишь тут и уверяешь, будто ты человек как человек. Так тебе удобнее. Несколько минут назад ты мог удрать, но тогда у нас остались бы подозрения. Вот ты и дождался нас и уверяешь, будто ты просто человек.

— Он и есть просто человек, — жалобно вставил Макгайр.

— Вранье. Он думает не по-людски. Чересчур умен.

— Так испытай его, проверь, какие у него ассоциации, — предложил Макгайр.

— Он и для этого чересчур умен.

— Тогда все очень просто. Возьмем у него кровь на анализ, прослушаем сердце, вприснем сыворотки.

На лице Смита отразилось сомнение:

— Я чувствую себя подопытным кроликом. Разве что вам уж очень хочется. Все это глупо.

Хартли возмущился. Посмотрел на Рокуала, сказал:
— Давай шприцы.

Рокуэл достал шприцы. «Может быть, Смит все-таки сверхчеловек, — думал он. — Его кровь — сверхкровь. Смертельна для микробов. А сердцебиение? А дыхание? Может быть, Смит — сверхчеловек, но сам этого не знает. Да. Да, может быть...»

Он взял у Смита кровь, положил стекло под микроскоп. И сник, ссутулился. Самая обыкновенная кровь. Вводишь в нее микробы — и они погибают в обычный срок. Она уже не сверхсмертельна для бактерий. И неведомый икс-раствор исчез. Рокуэл горестно вздохнул. Температура у Смита нормальная. Пульс тоже. Нервные рефлексы, чувствительность — ни в чем никаких отклонений.

— Что ж, все в порядке, — негромко сказал Рокуэл.

Хартли повалился в кресло, глаза широко раскрыты, костлявыми руками стиснул виски.

— Простите, — выдохнул он. — Что-то у меня... ум за разум... верно, воображение разыгралось. Так тянулись эти месяцы. Ночь за ночью. Стал как одержимый, страх одолел. Вот и сваял дурака. Простите. Простите. — И уставился на свои зеленые пальцы. — А что ж будет со мной?

— У меня все прошло, — сказал Смит. — Думаю, и у вас пройдет. Я вам сочувствую. Но это было не так уж скверно... В сущности, я ничего не помню.

Хартли явно отпустило.

— Но... да, наверно, вы правы. Мало радости, что придется вот так закаменеть, но тут уж ничего не поделаешь. Потом все пройдет.

Рокуалу было тошно. Слишком жестоко он обманулся. Так не щадить себя, так ждать и жаждать нового,

неведомого, сторгать от любопытства — и все зря. Стало быть, вот он каков, человек, что вылучился из куколки? Тот же, что был прежде. И все надежды, все домыслы напрасны.

Он жадно глотнул воздух, попытался остановить тайный неистовый бег мыслей. Смятение. Сидит перед ним розовощекий, звонкоголосый человек, спокойно покуривает... просто-напросто человек, который страдал какой-то накожной болезнью — временно отвердела кожа да еще под действием облучения разладилась на время внутренняя секреция, — но сейчас он опять человек как человек, и не более того. А буйное воображение Рокузла, неистовая фантазия разыгрались — и все проявления странной болезни сложились в некий желанный вымысел, в несуществующее совершенство. И вот Рокуал глубоко потрясен, взбудоражен и разочарован.

Да, то, что Смит жил без пищи, его необыкновенно защищенная кровь, крайне низкая температура тела и другие преимущества — все это лишь проявления странной болезни. Была болезнь, и только. Была — и прошла, миновала, кончилась и ничего после себя не оставила, кроме хрупких осколков скорлупы на залитом солнечными лучами столе. Теперь можно будет понаблюдать за Хартли, если и его болезнь станет развиваться, и потом доложить о новом недуге врачебному миру.

Но Рокузла не волновала болезнь. Его волновало совершенство. А совершенство лопнуло, растрескалось, рассыпалось и сгинуло. Сгинула его мечта. Сгинул выдуманный сверхчеловек. И теперь ему плевать, пускай хоть весь свет обрастет жесткой скорлупой, позеленеет, рассыплется, сойдет с ума.

Смит обошел их всех, каждому пожал руку.

— Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес. Меня ждет на заводе важная работа. Пора приступить к сво-

им обязанностям. Жаль, что не могу остаться у вас подольше. Сами понимаете.

— Вам надо бы остаться и отдохнуть хотя бы несколько дней, — сказал Рокуэл, горько ему было видеть, как исчезает последняя тень его мечты.

— Нет, спасибо. Впрочем, этак через неделю я к вам загляну, доктор, обследуете меня еще раз, хотите? Готов даже с годик заглядывать примерно раз в месяц, чтоб вы могли меня проверить, ладно?

— Да. Да, Смит. Пожалуйста, приезжайте. Я хотел бы еще потолковать с вами об этой вашей болезни. Вам повезло, что остались живы.

— Я вас подвезу до Лос-Анджелеса, — весело предложил Макгайр.

— Не беспокойтесь. Я дойду до Туджунги, а там возьму такси. Хочется пройтись. Давненько я не гулял, погляжу, что это за ощущение.

Рокуэл ссудил ему пару старых башмаков и поношенный костюм.

— Спасибо, доктор. Постараюсь как можно скорее вернуть вам все, что задолжал.

— Ни гроша вы мне не должны. Было очень интересно.

— Что ж, до свиданья, доктор. Мистер Макгайр. Хартли.

— До свиданья, Смит.

— Да свиданья.

Смит пошел по дорожке к старому руслу, дно ручья уже совсем пересохло и растрескалось под лучами предвечернего солнца. Смит шагал непринужденно, весело, посвистывал. «Вот мне сейчас не свищется», — устало подумал Рокуэл.

Один раз Смит обернулся, помахал им рукой, потом поднялся на холм и стал спускаться с другой его стороны к далекому городу.

Рокуэл провожал его глазами — так смотрит малый

ребенок, когда его любимое творение — замок из песка — подмывают и уносят волны моря.

— Не верится, — твердил он снова и снова. — Просто не верится. Все кончается так быстро, так неожиданно. Я как-то отупел, и внутри пусто.

— А по-моему, все прекрасно! — Макгайр радостно ухмылялся.

Хартли стоял на солнце. Мягко опущены его зеленые руки, и впервые за все эти месяцы, вдруг понял Рокуэл, совсем спокойно бледное лицо.

— У меня все пройдет, — тихо сказал Хартли. — Все пройдет, я поправлюсь. Ох, слава богу. Слава богу. Я не сделаюсь чудовищем. Я останусь самим собой. — Он обернулся к Рокуэлу: — Только запомни, запомни, не дай, чтоб меня по ошибке похоронили, ведь меня примут за мертвеца. Смотри не забудь.

Смит пошел тропинкой, пересекающей сухое русло, и поднялся на холм. Близился вечер, солнце уже опускалось за дальние синеющие холмы. Проглянули первые звезды. В нагретом недвижимом воздухе пахло водой, пылью, цветущими вдали апельсиновыми деревьями.

Встреппенулся ветерок. Смит глубоко дышал. И шел все дальше.

А когда отошел настолько, что его уже не могли видеть из санатория, остановился и замер на месте. Посмотрел на небо.

Бросил недокуренную сигарету, тщательно затоптал. Потом выпрямился во весь рост — стройный, ладный, — отбросил со лба каштановые пряди, закрыл глаза, глотнул, свободно свесил руки вдоль тела.

Без малейшего усилия — только чуть вздохнул теплый воздух вокруг — Смит поднялся над землей.

Быстро, беззвучно взмыл он ввысь и вскоре затерялся среди звезд, устремляясь в космические дали...

Чертово колесо*

Как ветер октября, примчались в городок аттракционы, будто прилетели из-за холодного озера, стуча костями в ночи, причитая, вздыхая, шепча над крышами балаганов в темном дожде, черные летучие мыши. Аттракционы поселились на месяц возле серого, неспокойного октябрьского озера под свинцовым небом, в черной непогоде гроз, бушующих все сильнее.

Шла уже третья неделя месяца, был четверг, надвигались сумерки, когда на берегу озера появились в холодном ветре двое мальчишек.

— Ну-у, я не верю! — сказал Питер.

— Пошли, увидишь сам, — отозвался Хэнк.

Их путь по сырому коричневому песку грохочущего берега отмечали густые плевки. Мальчики бежали на безлюдную сейчас площадку, где разместились аттракционы. По-прежнему лил дождь. Никто сейчас на этой площадке возле шумящего озера не покупал билетов в черных облупившихся будках, никто не пытался выиграть соленый окорок у взвизгивающей рулетки, и никаких уродов — ни худых, ни толстых — не видно было на помостах. В проходе, рассекавшем площадку попо-

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Чертово колесо: Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1982. — («Вокруг света», № 11). — Пер. изд.: Bradbury R. The Black Ferris: Dark Tides, The Anthology of SF. Doubleday, N. Y., 1969.

© Перевод на русский язык, «Молодая гвардия», 1982.

лам, царило молчание, только брезент балаганов хлопал на ветру, похожий на огромные крылья доисторических чудовищ. В восемь вечера, может быть, вспыхнут мертвенно-белые огни, громко зазвучат голоса, над озером разнесется музыка. Но пока лишь слепой горбун сидел в одной из будок, чем-то напоминающей треснувшую фарфоровую чашку, из которой он не спеша отхлебывал какое-то ароматное питье.

— Вот, — прошептал Хэнк и показал рукой.

Перед ними безмолвно высилось темное «чертово колесо», огромное созвездие электрических лампочек на фоне затянутого облаками неба.

— Все равно не верю, — сказал Питер.

— Я своими глазами видел. Не знаю, как они это делают, но так все и произошло. Сам знаешь, какие они бывают, эти приезжие с аттракционами, — все чудные. Ну, а эти еще чудней других.

Схватив Питера за руку, Хэнк потащил его к дереву неподалеку, и через минуту они уже сидели на толстых ветках, надежно укрытые от посторонних взглядов густой зеленой листвой. Вдруг Хэнк замер.

— Тс-с! Мистер Куджер, директор, — вон, смотри!

Невидимые, они впились в него глазами.

Мистер Куджер, человек лет тридцати пяти, прошел прямо под их деревом. На нем был светлый наглаженный костюм, в петлице у него была гвоздика, из-под коричневого котелка блестели напомаженные волосы. Когда, три недели назад, аттракционы прибыли в городок, он, приветствуя жителей, почти беспрерывно размахивал этим котелком и нажимал на клаксон своего блестящего красного «форда».

Вот мистер Куджер кивнул и что-то сказал маленькому слепому горбуну. Горбун неуклюже, на ощупь, запер мистера Куджера в черной корзине и послал ее стремительно ввысь, в сгущающиеся сумерки. Мотор выл и жужжал.

— Смотри! — прошептал Хэнк. — «Чертово колесо» крутится неправильно! Назад, а не вперед!

— Ну и что из этого?

— Смотри хорошенько!

Двадцать пять раз прокрутилось огромное черное колесо. Потом слепой горбун, протянув вперед бледные руки, на ощупь выключил мотор. Чуть покачиваясь, колесо замедлило ход и остановилось.

Черная корзина открылась, и из нее выпрыгнул десятилетний мальчик. Петляя между балаганами и аттракционами в шепоте ветра, он быстро зашагал прочь.

Питер едва не сорвался с ветки, его взгляд обеумело метался по «чертову колесу».

— Куда же девался мистер Куджер?

Хэнк торжествующе ткнул его в бок:

— А еще мне не верил! Теперь убедился?

— Что он задумал?

— Скорей, за ним!

Хэнк камнем упал с дерева, и еще до того, как ноги его коснулись земли, он уже мчался вслед за десятилетним мальчиком.

Во всех окнах белого дома миссис Фоли, стоявшего у оврага, в тени огромных каштанов, горел свет. Кто-то играл на рояле. За занавесками, в тепле дома, двигались силуэты. Дождь все шел, унылый, неотвратимый, бесконечный.

— До костей промок, — пожаловался Питер, сидя в кустах. — Будто из шланга окатили. Сколько нам еще ждать?

— Тс-с! — прошепел Хэнк из-за завесы дождя.

Следуя за мальчиком от самого «чертова колеса», они пересекли весь городок, и темные улицы привели их к дому миссис Фоли, на край оврага. И сейчас в

теплой столовой дома незнакомый мальчик обедал, уписывал за обе щеки сочные отбивные из барака и картофельное пюре.

— Я знаю, как его зовут, — торопливо зашептал Хэнк. — Мама на днях о нем говорила. Она сказала: «Ты, наверно, слышал, Хэнк, про сироту, который будет жить теперь у миссис Фоли? Его зовут Джозеф Пайкс, недели две назад он пришел к миссис Фоли прямо с улицы и рассказал, что он сирота, бродяжничает, и спросил, не найдется ли ему чего-нибудь поесть, и с тех пор их с миссис Фоли водой не разольешь». Это мне рассказала мама. — Хэнк замолчал, не отрывая взгляда от запотевшего изнутри окна. С носа его падали капли. Он сжал локоть Питера, ежившегося от холода. — Он мне сразу не понравился, Пит, еще в первый раз, как я его увидел. Он... злой какой-то.

— Я боюсь, — захныкал, уже не стесняясь товарища, Питер. — Мне холодно, я хочу есть, и я не понимаю, что здесь делается.

— Ой, ну и туп же ты! — и Хэнк с презрительной гримасой досадливо тряхнул головой. — Соображать надо! Атракционы приехали три недели назад. И примерно тогда же к миссис Фоли появился этот противный сиротка. А ее собственный сын умер когда-то ночью, зимой, давным-давно, и она с тех пор так и не утешилась, а тут вдруг появился противный сиротка и стал к ней подлизываться!

— О-ох, — почти простонал, трясясь, Питер.

— Пойдем!

Дружным шагом они подошли к парадному и застучали в дверь молотком с львиной мордой.

Не сразу, но дверь отворилась, и наружу выглянула миссис Фоли.

— Входите, вы совсем промокли, — сказала она, и они вошли в переднюю. — Что вам нужно, дети? — спросила, наклонившись к ним, высокая дама. Ее пол-

ную грудь закрывали кружева, лицо у нее было худое и бледное, волосы седые. — Ведь ты Генри Уолтерсон, не так ли?

Хэнк кивнул, глядя испуганно в столовую; незнакомый мальчик оторвался от еды и через открытую дверь тоже посмотрел на них.

— Можно нам поговорить с вами наедине, мэм?

Похоже было, что эти слова несколько удивили миссис Фоли; Хэнк между тем, прокравшись на цыпочках к двери в столовую, тихонько притворил ее и после этого прошелтал:

— Мы хотим предупредить вас кое о чем — об этом мальчике, который у вас, о сироте.

В передней повеяло холодом. Миссис Фоли как будто стала еще выше.

— В чем дело?

— Он приехал с аттракционом, и никакой он не мальчик, а взрослый, и он придумал жить у вас, пока не узнает, где у вас лежат деньги, а когда узнает, то как-нибудь ночью убежит с ними, и тогда люди начнут его разыскивать, но ведь они будут разыскивать десятилетнего мальчика, и даже если взрослый, которого зовут мистер Куджер, окажется совсем рядом, им и в голову не придет, что он и есть тот мальчик, который украл деньги! — почти прокричал Хэнк.

— О чем ты говоришь? — сухо спросила миссис Фоли, повысив голос.

— Об аттракционах, о «чертовом колесе» и этом приезде, мистере Куджере! «Чертово колесо» крутится назад, и я не знаю как, но мистер Куджер от этого становится все моложе, моложе и превращается наконец в мальчика и приходит к вам, но этому мальчику нельзя доверять, ведь, когда ваши деньги будут у него в руках, он снова сядет в «чертово колесо», но теперь оно будет вращаться *вперед*, и он опять станет взрослым, а мальчика уже не будет!

— Спокойной ночи, Генри Уолтерсон, и *никогда* больше не приходи сюда! — крикнула миссис Фоли.

Дверь за Питером и Хэнком захлопнулась. Они опять были под дождем. Холодный, он пропитывал и пропитывал их одежду, впитывался в нее весь до последней капельки.

— Ну и дурак же ты! — фыркнул Питер. — Что придумал! А если он все слышал, если придет и убьет нас, когда мы будем спать, сегодня же ночью, чтобы мы никому больше не проболтались?

— Он этого не сделает, — сказал Хэнк.

— Не сделает? — Питер схватил Хэнка за плечо. — Смотри!

В большом, выступающем фонарем окне столовой тюлевая занавеска была сдвинута в сторону. В ореоле розового света стоял и грозил им кулаком маленький сирота. Лицо его было страшно, зубы оскалены, глаза полны ненависти, перекошенный рот изрыгал проклятия. Но длилось это одно мгновение, а потом занавеска закрыла окно опять. Полило как из ведра. Медленно, чтобы не поскользнуться, Питер и Хэнк побрели сквозь ливень и темноту домой.

За ужином отец посмотрел на Хэнка и сказал:

— Будет чудо, если ты не схватишь воспаление легких. Ну и вымок же ты! Кстати, что там за история с аттракционами?

Поглядывая на окна, дребезжащие под порывами ветра и дробью капель, Хэнк ковырял вилкой пюре.

— Знаешь мистера Куджера, хозяина аттракционов, пап?

— С розовой гвоздикой в петлице?

— Он самый! — Хэнк поднял голову. — Значит, ты его видел?

— Он остановился на нашей улице, в пансионе мис-

сис О'Лири, его комната выходит окнами во двор. А что?

— Просто так, — ответил, краснея, Хэнк.

После ужина Хэнк позвонил по телефону Питеру. Питера на другом конце провода терзал кашель.

— Послушай, Пит! — сказал Хэнк. — Я все понял, до конца. Этот несчастный сиротка, Джозеф Пейкс, заранее хорошо продумал, что ему делать, когда он завладеет деньгами миссис Фоли.

— И что же он такое придумал?

— Он будет околачиваться у нас в городке под видом хозяина аттракционов, будет жить в пансионе миссис О'Лири. И никто на него не подумает. Все будут искать мальчика-воришку, а воришка будто сквозь землю провалился. Зато хозяин аттракционов будет спокойненько повсюду разгуливать. И никому в голову не придет, что это его рук дело. А если аттракционы сразу снимутся с места, все очень удивятся и могут что-нибудь заподозрить.

— О-ой, о-ой, — заныл, шмыгая носом, Питер.

— Так что надо действовать быстро, — продолжал Хэнк.

— Никто нам не поверит, я пробовал рассказать родителям, а они мне: «Какая чушь!» — прохныкал Питер.

— И все равно надо действовать, сегодня же вечером. Почему? Да потому, что теперь он постарается нас убить! Мы единственные, кто знает, и, если мы скажем полиции, чтобы за ним следили, что он притворился сиротой, чтобы украсть деньги миссис Фоли, покоя у него больше не будет. Готов спорить, сегодня вечером он что-нибудь предпримет. Потому я и говорю: давай встретимся через полчаса опять около дома миссис Фоли.

— О-ой, — снова заныл Питер.

— Так ты что, умереть хочешь?

— Нет, не хочу, — помедлив, ответил тот.

— Тогда о чем мы разговариваем? Значит, встречаемся у ее дома и, готов спорить, сегодня же вечером увидим, как сирота смоемся с ее деньгами и побежит сразу к аттракционам, а миссис Фоли в это время будет крепко спать и даже не услышит, как он уйдет. В общем, я тебя жду. Пока, Пит!

— Молодой человек, — сказал отец за спиной у Хэнка, едва только Хэнк положил трубку. — Вы больше никуда не пойдете. Вы отправляетесь в постель. Вот сюда. — Он повел Хэнка вверх по лестнице. — Я заберу всю твою одежду. — Хэнк разделся. — Больше, надеюсь, у тебя в комнате одежды нет? Или есть? — спросил отец.

— Больше нет, остальная в стенном шкафу в передней, — ответил, горестно вздохнув, Хэнк.

— Хорошо, — сказал отец, вышел, закрыл за собою дверь и запер ее на ключ.

Хэнк стоял голышом.

— Ну и ну, — пробормотал он.

— Укладывайся, — донеслось из-за двери.

Питер появился у дома миссис Фоли около половины десятого, он все время чихал под огромным, не по росту плащом, а на голове у него была нахлобучена матросская бескозырка. Он стоял, похожий на водоразборную колонку, и тихонько оплакивал свою судьбу. Окна верхнего этажа светились приветливым теплом. Питер простоял целых полчаса, глядя на блестящие от дождя ночные улицы.

Наконец в мокрых кустах метнулось и зашуршало что-то светлое.

— Это ты, Хэнк? — спросил Питер, вглядываясь в кусты.

— Я.

Из кустов вынырнул Хэнк.

— Что за черт? — сказал, вытаращив на него глаза, Питер. — Почему ты голый?

— Я так бежал от самого дома. Отец ни за что не хотел меня пускать.

— Ведь ты заболеешь воспалением легких!

Свет в доме потух.

— Прячься! — крикнул Хэнк, и они бросились в заросли и затаились.

— Пит, — сказал Хэнк, — ты ведь в штанах?

— Конечно!

— И в плаще, так что не будет видно, если ты мне их дашь.

Питер нехотя снял штаны. Хэнк натянул их на себя.

Дождь затихал. В тучах появились разрывы.

Минут через десять из дома выскользнула маленькая фигурка, в руках у нее был туго набитый чем-то бумажный мешок.

— Он, — прошептал Хэнк.

— Он! — вырвалось у Питера.

Джозеф Пайкс побежал.

— За ним! — крикнул Хэнк.

Они повеселись между каштанами, но за Джозефом Пайксом было не угнаться. Мальчики избежали за ним на холм, потом, по ночным улицам, вниз, мимо сортировочной станции, мимо мастерских, к проходу посередине безлюдной сейчас площадки с аттракционами. Они здорово отстали — Питер путался в тяжелом плаще, а у Хэнка зуб на зуб не попадал от холода. Им казалось, будто шлепанье голых пяток Хэнка слышно по всему городку.

— Быстрей, Пит! Если он раньше нас добежит до «чертова колеса», он снова превратится во взрослого, и тогда уже нам никто не поверит!

— Я стараюсь быстрей!

Но Пит отставал все больше, Хэнк шлепал уже где-то далеко впереди; дождь почти совсем перестал, и тучи покидали небо.

— Э-э, э-э, э-э! — оглядываясь, дразнил их Джозеф Пайкс, потом стрелой метнулся вперед и стал для них всего лишь тенью где-то вдалеке. Тень растворилась во мраке, царившем на площадке с аттракционами.

Добежав до края площадки, Хэнк остановился как вкопанный. «Чертовое колесо», оставаясь на месте, катилось вверх, вверх, будто погруженная во мрак земля поймала в свои сети огромную многозвездную туманность, и та крутилась теперь, но только вперед, а не назад, и в черной корзине сидел Джозеф Пайкс и то сверху, то сбоку, то снизу, то сверху, то сбоку, то снизу смеялся над жалким маленьким Хэнком внизу, на земле, а рука слепого горбуна лежала на рукоятке ревущей, блестящей от масла черной машины, благодаря которой крутилось и крутилось, не останавливаясь, «чертовое колесо». Снова шел дождь, и на дорожке, делившей площадку с аттракционами на две половины, не видно было ни души. Не крутилась карусель, только ее грохочущая музыка разносилась далеко вокруг. И Джозеф Пайкс то взлетал в облачное небо, то опускался, и с каждым оборотом колеса становился на год старше, менялся его смех, звучал глубже, менялось лицо, форма лица, злые глаза, всклокоченные волосы, он сидел в черной корзине и несясь, несясь вихрем по кругу, вверх-вниз, вверх-вниз, и смеялся в неприветливое серое небо, где мелькали последние обломки молнии.

Хэнк бросился к горбуну, стоявшему у машины. На ходу, пробегая мимо балагана, вырвал из земли костыль, один из тех, на которых крепился брезент.

Черные корзины уносились вверх, слетали вниз.

Хэнк ударил горбуна металлическим костылем по колену и прыгнул в сторону.

Горбун завизгнул и начал падать вперед.

Падая, он вцепился в рукоятку мотора, но Ханк уже был возле него и, размахнувшись, ударил костью по пальцам. Горбун взвыл, отпустил рукоятку и попытался было лягнуть Ханка. Ханк поймал ногу, дернул, горбун поскользнулся и упал в грязь.

А «чертово колесо» все крутилось, крутилось.

— Останови, останови колесо! — закричал то ли Джозеф Пайкс, то ли мистер Куджер, взлетая легким мыльным пузырем в созвездии круженья, ветра и скорости в холодное грозное небо.

— Не могу подняться! — стонал горбун.

Ханк бросился на него, и они сцепились в драке.

— Останови, останови колесо! — закричал мистер Куджер, но уже не такой, как прежде, и уже другим голосом, спускаясь и в ужасе взлетая опять в ревущее небо «чертова колеса». Между длинных темных спиц пронзительно свистел ветер. — Останови, останови, **ОСТАНОВИ** колесо!

Оставив горбуна, лежавшего, беспомощно раскинув руки, на земле, Ханк вскочил на ноги и кинулся к гудящей машине. Начал остервенело по ней бить, гнуть рукоятку, совать попавшие под руку железки во все пазы и зазоры, лихорадочно привязывать рукоять веревкой.

— Останови, останови, останови колесо! — стонал голос где-то высоко в ночи, там, где сейчас из белого пара облаков выгонял дуну ветер. — Останови-и-и...

Голос затих. Внезапно все вокруг осветилось — ярко вспыхнули все фонари на площадке. Из балаганов выскакивали, мчались к колесу люди. Ханка подбросили вверх, потом на него посыпались градом ругательства и удары. Где-то рядом послышался голос Питера, и на площадку выбежал задыхающийся полицейский с пистолетом в вытянутой руке.

— Останови, останови колесо!

Голос звучал как вздох ветра.

Голос повторял эти слова снова и снова.

Смуглые люди, приехавшие с аттракционами, пытались остановить мотор. Но ничего не получилось. Машина гудела, и колесо вращалось, вращалось... Тормоз заклинило.

— Останови!.. — прошепестел голос в последний раз.

И — молчание.

Высоченное сооружение из электрических звезд, металла и черных корзин, «чертово колесо», безмолвно совершало свой путь. Ни одного звука не слышно было, кроме гудения мотора, — пока мотор не заглох и не остановился. Еще с минуту колесо крутилось по инерции, и на него, задрав головы, глядели все, кто приехал с аттракционами, глядели Хэнк и Питер, глядел полицейский.

Колесо остановилось. Привлеченные шумом, вокруг уже собрались люди. Несколько рыбаков с озера, несколько железнодорожников. Колесо жалобно взвизгивало, стонало, тянулось вслед за улетающим ветром.

— Смотрите, смотрите! — почти разом закричали все.

И полицейский, и люди, приехавшие вместе с аттракционами, и рыбаки — все смотрели на черную корзину в самом низу. Ветер, дотрагиваясь до корзины, мягко ее покачивал, тихо ворковал в вечерних сумерках над тем, что было в черной корзине.

Над скелетом, у ног которого лежал бумажный мешок, туго набитый деньгами, а на черепе красовался коричневый котелок.

Час Привидений*

Это был самый лучший час.

Самый замечательный час суток.

Это был Час Привидений.

Посередине комнаты Тимоти что-то закрутилось, и возникло невероятное привидение.

Посередине комнаты Ральфа встал второй призрак, немыслимой величины и загадочного облика.

Посередине логовища Элис, на другой стороне коридора, соткался из света, снующего взад-вперед, из воздуха и из танцующих пылинок третий — печальная, со скорбным взглядом незнакомка.

В гостиной, внизу, встречал неожиданных гостей отец.

А мать? Мать в это время хозяйничала на кухне, между тем как Ведьма-Повариха качалась в горячем воздухе над плитой, что-то напевала пряностям, листала поваренные книги, что-то добавляла в кушанья. Только дотронувшись рукой, ты узнал бы, которая из двух настоящая. Старую толстую Ведьму твои пальцы проткнули бы насквозь. Пальцы остановились бы, ткнувшись в жаркую летнюю плоть Хозяйки Дома.

— Вот здорово! — крикнул Тимоти.

— Его можно обойти вокруг! — воскликнул Ральф.

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Час Привидений: Пер. с англ. — М.: Знание, 1979. — (НФ-21). — Пер. изд.: Bradbury R. The Hour of Ghosts: Saturday Review, October 25th, 1969.

© Перевод на русский язык, «Знание», 1979.

И это была правда.

И они стали кружить и кружить вокруг своих Привидений, электронных див, принесенных невидимыми лучами специально для них, в их комнаты.

— Они *настоящие!*

— И все-таки *не совсем...*

— Повторите всё снова, — сказала Элис лучезарному воздуху.

— Да, — попросили мальчики, — говорите еще!

И призрак Марли в комнате Тимоти затряс своими цепями из копилок и висячих замков и, впериw в мальчика взгляд похожих на бледные устрицы глаз, загоревал по своей погибшей душе:

— О, горе мне! Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни... Мне нет отдыха, нет покоя! Да будет тебе это уроком, Эбинизер Скрудж!

А у постели Ральфа между тем призрак слепого Лью смял в руке маленький клочок бумаги с чернильным кружком на нем и воскликнул:

— Черная метка! Я обречен!

И почти потерял сознание, когда откуда-то из темных углов комнаты донеслась — топ-тумп, топ-тумп — поступь одноногого человека, шагающего в темноте по дороге вдоль берега какого-то далекого моря.

Элис была в восторге.

Ее Привидение, молодая женщина с волосами, развевающимися на ветру, постучало в залепленное снегом окно и прокричало имя необузданного человека:

— Хитклиф!

И в зимней ночи распахнулась висающая в воздухе, в середине комнаты, дверь. Откликнувшись на зов, оттуда выбежал человек и исчез с Грозового Перевала, затерялся в буре снежинок, падающих на пол и тающих, не оставляя следа.

— Голограммы, — прошептал Тимоти, — телесвязь. Лучи лазеров и небывалые машины...

— Замолчи! — остановил его Ральф, младший, но более мудрый. — Не хочу этого знать. Я хочу только смотреть! Лучше Привидений нет ничего на свете. После слепого Пью у меня побывали фараон Тутанхамон, и Рикша-Призрак, и... черт возьми, может, прямо сейчас?

Он нажал на кнопку. Свет лазера переткал наново свой ковер. Слепой Пью исчез, а с ним и стук деревянной ноги на далекой дороге.

Из туманов над болотами, в свете молний, под мелким дождем, поднялась и залаяла, сверкая глазами, собака.

— Милый пес, — сказал Ральф, — милые Баскervi-вили!

В гостиной горевал дух отца Гамлета:

— О, слушай, слушай, слушай! Если только ты впрямь любил когда-нибудь отца...

— Одну чашку шерри, — напомнила Покровительница Кухни, компьютерная память, которая всегда посоветует, как лучше приготовить то или иное блюдо. — Две...

— Благодарю вас, — прервала ее хозяйка и щелкнула тумблером.

Повинуясь силе молний, Кухонное Привидение исчезло.

— Обед готов! — крикнула, выглянув в коридор, мать.

— Вы, — сказал то ли Тимоти, то ли Скрудж, — во все не вы, а лишь капля горчицы, непрожаренная картофелина...

После чего старый Марли провалился с криком отчаяния в собственные кости и растаял.

— Приходи снова в восемь! — сказал Ральф.

И собака ушла в трясину ковра.

— Как жалко! — заплакала Элис, когда Хитклиф и его возлюбленная убежали сквозь стены комнаты.

Гостиная: свет утра в Эльсиноре. Отец Гамлета удалился. А отец *этого* дома встал и пошел обедать.

Точно так же, как и его реальные дети, побежавшие на зов реальной матери, к реальной пище.

Час Привидений кончился.

Полумрак лазерных визитов рассеялся.

Но предстоял вечер. И когда с уроками было покончено, их всех уже ждали новые призраки. В стенах таились Духи Прошлых, Нынешних и Будущих Святых. Своим призрачным фонарем сигналил с верхних ступенек лестницы Стрелочник-Призрак. Их дом стал теперь настоящим «Домом с Привидениями».

— Я взял на себя смелость, — сказал отец, — пригласить к обеду Платона и Аристотеля.

— Уж слишком много они говорят! — проворчал Ральф.

Но тут эти два старика вдруг неслышно встали около них.

— Как дела в «Государстве»? — спросил Тимоти.

— Как дела?..

И Платон рассказал ему быстро, хорошо и правдиво.

Изумленный Ральф выпрямился на своем стуле, поморгал и сказал:

— Раз так, то не исчезай. Расскажи снова.

И Платон рассказал.

И это было *почти* так же хорошо, как слепой Пью или вой собаки Баскервиль на болоте, среди трясины.

Ветер Геттисберга*

Вечером, в половине девятого, с той стороны коридора, где был зрительный зал, донесся резкий короткий звук.

«Выхлоп автомобиля на соседней улице, — подумал он. — Нет. Выстрел».

Через мгновение — всплеск встревоженных голосов и внезапная тишина. Словно волна, с разбега ударившись о песчаный берег, затихла в недоумении. Хлопнули двери. Чьи-то бегущие шаги.

В кабинет вбежал билетер и обвел комнату невидящим взглядом; лицо его было бледно, губы силились что-то сказать:

— Линкольн... Линкольн...

Бэйс поднял голову от бумаг.

— Что случилось с Линкольном?

— Его... Его убили.

— Прекрасная шутка. А теперь...

— Убили. Разве вы не понимаете? Застрелки. Во второй раз!..

И билетер, пошатываясь, держась рукой за стену, вышел.

Бэйс почувствовал, как встает со стула.

— О господи...

* Пер. изд.: Bradbury R. Downwind from Gettysburg: I Sing the Body Electric. Doubleday, N. Y., 1969.

© Перевод на русский язык, «Мир», 1983.

Через секунду он уже бежал по коридору, обогнал билетера, и тот, словно очнувшись, побежал рядом.

— Нет, нет, — повторял Бэйс. — Этого не произошло. Не могло, не должно...

— Убит, — снова сказал билетер.

Едва они завернули за угол, как с треском распахнулись двери зрительного зала, и уже не зрители, а возбужденная толпа заполнила коридор. Она волновалась, шумела, слышались крики, визг, отдельные испуганные голоса:

— Где он? Кто стрелял? Этот? Он? Держите его! Осторожно! Остановитесь!

Из гущи людей безуспешно пытались выбраться двое охранников, но их толкали, теснили, отбрасывали то в одну, то в другую сторону. В руках у них бился человек, он тщетно пытался увернуться от жадных рук толпы, мелькавших в воздухе кулаков. Но руки хватали его, тянули к себе, били, щипали, удары наносились чем попадало — тяжелыми свертками и легкими дамскими зонтиками, тут же разлетающимися в щепки, как бумажный змей, подхваченный ураганом. Женщины, потерявшие спутников, жалобно причитали и испуганно озирались по сторонам, оружие мужчины грубо расталкивали толпу, стремясь протиснуться поближе к охранникам и человеку, который ладонями рук с широко растопыренными пальцами закрывал свое разбитое и исцарапанное лицо.

— О господи!

Бэйс застыл на месте, глядя на происходящее, начиная уже верить. Но замешательство было лишь мгновенным. Он бросился к толпе.

— Сюда, сюда! Потеснитесь назад! Вот в эти двери. Сюда, сюда!

И каким-то образом толпа подчинилась; наружные двери распахнулись и, пропустив плотную массу тел, тут же захлопнулись.

Внезапно очутившись на улице, толпа яростно заколотила в двери, разразилась руганью, проклятиями, какие еще не доводилось слышать ни одному смертному. Казалось, стены театра содрогаются от приглушенных выкриков, причитаний, угроз и злобещих предсказаний беды.

Бэйс еще какое-то время смотрел, как бешено вертятся ручки дверей, трясутся готовые сорваться замки и засовы и наконец перевел взгляд на охранников, подерживавших обмякшее тело человека.

И тут новая, страшная догадка заставила Бэйса броситься в зал. Левая нога ударилась о что-то, бесшумно скользявшее по ковру под кресла, вертясь, словно крыса, догоняющая собственный хвост. Он нагнулся и пошарил под креслами рукой и тотчас нашел то, что искал, — еще не остывший пистолет. Бэйс глядел на него, все еще не веря, а затем опустил в карман. Ему понадобилось целых полминуты, чтобы наконец заставить себя сделать то, что теперь уже представлялось неизбежным. Он посмотрел на сцену.

Авраам Линкольн сидел в своем кресле с высокой резной спинкой в самом центре сцены. Голова его была неестественно наклонена вперед, широко открытые глаза неподвижно глядели перед собой. Большие руки покоились на подлокотниках, и казалось, что вот он сейчас шевельнется, обопрется руками о подлокотники, поднимется во весь свой рост и скажет, что, в сущности, ничего страшного не произошло.

С усилием передвигая ноги, словно переходя реку вброд, Бэйс поднялся на сцену.

— Свет! Дайте свет, черт побери!

За стеной невидимый механик-осветитель вдруг вспомнил о своих обязанностях, и мутный свет, словно слабые лучи рассвета, упал на сцену.

Бэйс обошел сидящую в кресле фигуру. Вот она, аккуратная дырочка на затылке у левого уха.

— Sic semper tyrannis *, — вдруг послышался голос. Бэйс резко обернулся.

Убийца сидел в последнем ряду, опустив голову. Зная, что Бэйсу сейчас не до него, он произнес эти слова тихо, почти про себя, уставясь в пол:

— Sic...

Но, услышав, как угрожающе зашевелился за его спиной охранник, он тут же умолк. Рука охранника поднялась и застыла в воздухе, готовая опуститься на голову убийцы. Казалось, она действовала совершенно самостоятельно...

— Не надо! — крикнул Бэйс.

Охранник с трудом подавил разочарование и гнев. Рука неохотно подчинилась хозяину.

«Нет, я не верю, — думал Бэйс, — не верю. Здесь нет ни охранников, ни этого человека, и нет...» Глаза его снова отыскивали еле заметное отверстие от пули в голове убитого президента. Из него на пол медленно капало машинное масло. Еще одна темная струйка проложила след по подбородку и бороде президента, и капли масла медленно стекали на галстук и сорочку.

Бэйс опустил на колени и приложил ухо к груди манекена.

Еле слышное гудение говорило о том, что схемы уникального механизма не повреждены окончательно, но привычный его ход, увы, был нарушен.

Бэйс вскочил. Звук работающего механизма напомнил ему...

— Фиппе?!

Охранники удивленно поднимали головы.

Бэйс с досадой даже прищелкнул пальцами.

— Он собирался приехать сюда после спектакля, не так ли? Он не должен этого видеть! Надо направить

* Такова участь тиранов (лат.).

его куда-нибудь. Сообщите ему, что он срочно нужен на заводе в Глендейле. Там обнаружили неполадки. Пусть немедленно выезжает туда. Действуйте!

Один из охранников поспешил к выходу.

Провожая его взглядом, Бэйс думал: «Господи, хотя бы Фиппс задержался, хотя бы не приезжал!..»

Странно, что в такую минуту перед его мысленным взором предстала не своя, а чужая жизнь...

Помнишь... тот день, пять лет назад, когда Фиппс разложил на столе первые схемы, чертежи, рисунки и сообщил им о своем Великом Плане? Как все сначала глядели на чертежи, а потом на чудака Фиппса:

— Линкольн?

Да, именно! Фиппс смеялся так, как может смеяться от счастья будущий отец, поверивший в чудесное знамение: у него родится необыкновенный сын.

Линкольн. Именно такова его задумка. Новое рождение Линкольна.

А сам Фиппс? О, именно ему предстоит произвести на свет, вскормить и вырастить этого чудо-младенца — робота.

Разве не счастье... снова очутиться на лугу под Геттисбергом, слушать, постигать, видеть, оттачивать, как острие бритвы, грани своей души и жить!

Бэйс еще раз обошел неловко склоненную фигуру в кресле, вспоминая дни, считая годы...

Вечер. Фиппс с бокалом в руке, а в гранях бокала, словно в линзе, отблеск прошлого и свет будущего.

— Я всегда мечтал создать фильм о Геттисберге... Огромное скопление народа, и где-то у самого края разморенной жарою, охваченной нетерпением толпы стоит фермер, а рядом мальчик, его сын. Они жадно ловят слова, которые доносит до них ветер. Их произносит оратор на далеком помосте. Они то слышат, то не слышат, что говорит высокий худой человек в цилиндре. Вот он снимает цилиндр, заглядывает в него,

словно в собственную душу, будто читает в ней то, что записал, и начинает говорить.

Фермер, чтобы сынишку не задавила толпа, сажает его на плечи, и девятилетний мальчуган становится ушами отца, ибо фермер почти не слышит, а лишь догадывается, что говорит президент, обращаясь к морю людей, собравшихся в Геттисберге. Высокий голос то слышен отчетливо, то не слышен совсем, когда его относит ветер или же легкий озорной ветерок, словно вздумавший соперничать с ним. Слишком многие ораторы выступали до президента; толпа порядком устала, лица мокры от пота, праздничная одежда измята. Сковоходы и фермеры тяжело переминаются с ноги на ногу, неловко задевают друг друга локтями, а отец торопит сына: «Ну же, ну говори, что он сказал...» Подставив ветру розовое в нежном пушке ухо, мальчик послушно повторяет каждое долетевшее слово:

«Восемьдесят семь лет тому назад...»

— Да!

«...наши отцы создали...»

— Да, да!

«...на этом континенте...»

— Где? Где?

— На этом континенте!.. «новую нацию, рожденную свободой, верящую в то, что все люди...»

Вот как это было. Ветер относил в сторону еле слышные слова, человек продолжал говорить, плечи фермера не чувствовали тяжести — своя ноша плечи не тянет, — а мальчуган горячим шопотом повторял каждое услышанное слово. Фермер сам то слышал обрывки фраз, то не слышал ничего, но как-то само собой все понял до конца...

— «...пусть правительство народа, из народа, для народа живет вечно...»

Мальчик умолк.

Все.

Толпа покидает луг, растекаясь во все стороны. Геттисберг становится историей.

Фермер не торопится снять с плеч толмача-мальчишку, пересказавшего ему то, что донес ветер, но мальчик, потеряв уже интерес, сам спрыгивает на землю...

Бэйс не сводил глаз с Фиппса.

А тот, допив коктейль и внезапно погрузнев от переполнивших его чувств, вдруг в сердцах воскликнул:

— Мне никогда не снять этот фильм. Но вот *это* я все-таки сделаю!

Тогда-то он и разложил на столе чертежи фирмы Фиппса «Эвереди Сэлем, Иллинойс и Спрингфилд Линкольн Мэкеникл» по изготовлению машины привидений, электронно-каучуковых, самых совершенных и самых дерзких и смелых снов.

Фиппс и его творение — совсем готовый, совсем настоящий, во весь свой немалый рост младенец Линкольн. Да, Линкольн, вызванный к жизни из добрей технологии, усыновленный романтиком, созданный потому, что так велело сердце. Получив жизнь от разряда молнии, а голос от безымянного актера, он вошел в этот мир, чтобы отныне пребывать вечно в этом глухом уголке юго-запада старой-новой Америки. Фиппс и Линкольн!

Да, в этот день слова Фиппса были встречены взрывом смеха, но он, словно и не заметив этого, лишь сказал:

— На лугу у Геттисберга мы обязательно, да, да, обязательно, станем там, где стоял фермер с сынишкой. Это наветренная сторона, здесь все будет слышно.

Он поделился со всеми своим сокровищем. Одному поручил арматуру, другому воссоздать благородную форму черепа, третьему поймать и записать голос и слова, а остальным, и их было не мало, найти неповторимый цвет кожи, волос и отпечатки пальцев. Увы,

прикосновение Линкольна приходилось замечать!

Отныне подшучивания и насмешки вошли в привычку, стали чем-то, без чего и не обойтись.

Эйб никогда не заговорит, в этом нет сомнений, и никогда не сделает ни шагу. Все придется сдать на свалку — выброшенные деньги.

Но по мере того как месяцы превращались в годы, вспышки иронического смеха сменялись понимающими улыбками, откровенным изумлением. Они все напоминали мальчишек, из озорства вступивших в тайное и пугающе веселое братство могильщиков, чтобы встречаться в полночь в кладбищенских склепах, а на рассвете исчезать, как тени, среди могил.

Бригада Линкольна росла, как на дрожжах. Вместо одного одержимого уже десяток их рылись в истлевших подшивках старых газет, выпрашивали, а то и не спросив попросту уносили посмертные маски, хоронили пластиковые кости, чтобы потом выкапывать их вновь.

Многие побывали на полях Гражданской войны в надежде, что в одно прекрасное утро ветер истории взметнет, как флаги, полы их сюртуков. Иные октябрьскими днями бродили по окрестностям Салема, обгорая до черноты под прощальными лучами солнца, жадно внюхиваясь, наострив уши, пытаясь поймать еще один голос какого-нибудь долговязого адвоката, ловя эхо прошлого, доказывая, убеждая.

Разумеется, Филлис волновался больше всех и больше всех был преисполнен тревожной отцовской гордости. Но вот робот на сборочном столе. Теперь предстояло собрать его, дать ему голос, подняв гуттаперчевые веки, вложить в глубокие глазницы печальные глаза, видевшие так много, приладить большие уши, которым суждено слышать лишь прошлое, и крупные руки с узловатыми суставами, словно маятники, отсекающие время, канувшее в вечность. А за-

тем портные, нет, его Ученики, обрядили его в одежды и наглухо застегнули на все пуговицы, повязали галстук, и в одно великолепное пасхальное утро на иерусалимских холмах приготовились сдвинуть могильный камень и повелеть ему встать.

В последний час последнего дня Фипс, выпроводив всех, остался наедине с распростертым телом и безмолвствующим духом, чтобы завершить последние приготовления. Наконец он открыл двери и пригласил их — не буквально, а скорее символически — поднять его на плечи в последний раз.

В наступившей тишине Фипс, обращаясь к полям былых сражений и еще дальше, за горизонт, крикнул, что его место не в могиле: восстань!

И Линкольн шевельнулся в прохладной темноте спрингфилдского мраморного склепа, пробуждаясь от сна, и поверил, что он жив.

Он встал.

Он заговорил.

Зазвонил телефон.

Бэйс вадрогнул.

Воспоминания исчезли.

В дальнем углу сцены звонил телефон.

«О господи», — подумал Бэйс и бросился к телефону.

— Бэйс, это Фипс. Мне только что звонил Бак. сказал, чтобы я немедленно приехал! Сказал, что-то про Линкольна...

— Нет, не надо приезжать, — ответил Бэйс. — Ты же знаешь Бака, он звонил, должно быть, из соседней пивной. Я в театре, здесь все в порядке. Один из генераторов забарахлил, но мы его уже починили...

— Значит, с ним все в порядке?

— Да, все просто великолепно, — Бэйс не мог оторвать взгляда от склоненной фигуры. «О господи, какая нелепость!..»

— Я... я сейчас приеду.

— Не надо!

— Черт побери, почему ты кричишь?

Бэйс прикусил язык, сделал глубокий вдох и, закрыв глаза, чтобы не видеть фигуру в кресле, медленно произнес:

— Я не кричу, Фипс. В зале только что зажегся свет, нельзя задерживать публику. Я должен идти. Клянусь тебе...

— Ты лжешь!

— Фипс!

Но Фипс уже повесил трубку.

«Десять минут, — лихорадочно думал Бэйс. — Господи, через десять минут он будет здесь». Через десять минут человек, поднявший Линкольна из гроба, встретится с человеком, который вновь уложит его туда...

Он сделал несколько шагов, и вдруг ему неудержимо захотелось броситься за кулисы, включить магнитофоны, проверить, как откликнется поникшая фигура, которая из рук поднимется, а которая останется неподвижной. Нет, это безумие. Это можно сделать завтра.

Сегодня же у него едва есть время разгадать загадку. А она в человеке, который сидел в третьем кресле последнего ряда.

Убийца... Разве он не убийца? Кто он? Как выглядит?

Он лишь мельком видел его лицо несколько минут назад. Не так ли? Разве оно не напомнило ему старый, знакомый, но куда-то запропастившийся дагерротип? Пышные усы, темные надменные глаза...

Бэйс медленно спустился в зал, медленно прошел по проходу между рядами кресел и остановился, вглядываясь в человека, который сидел, обхватив руками склоненную голову.

Бэйс сделал глубокий вдох и на выдохе произнес:
— Мистер... Бут?

Странный незнакомец застыл, по телу его пробежала дрожь, и шепотом, полным ужаса, он ответил:
— Да...

Бэйс ждал. Наконец он снова решился.

— Мистер... Джон Уилкс Бут? *

В ответ раздался тихий смешок и наконец сухие и отрывистые, как карканье, слова:

— Норман Лэвлин Бут. Всего лишь фамилия... совпадает...

«Слава богу, — подумал Бэйс. — Я бы не вынес, если бы совпало все».

Он резко повернулся и, быстро пройдясь по проходу, остановился и посмотрел на часы. Время на исходе. Фиппис едет сюда, он в любую минуту может постучать в запертую дверь зрительного зала.

— Почему? — жестко спросил Бэйс, обращаясь к стене, которая была перед глазами.

Вопрос прозвучал, как эхо трех сотен испуганных голосов зрителей, тех, кто десять минут назад заполнял этот зал и в ужасе повскакивал со своих мест, когда раздался выстрел.

— Почему?

— Не знаю! — закричал Бут.

— Лжете! — почти одновременно с ним выкрикнул Бэйс.

— Такой шанс глупо было бы упустить.

— Что?.. — Бэйс круто повернулся и впился взглядом в Бута.

— Ничего.

— Нет смелости повторить еще раз, не так ли?

* Актер Джон Уилкс Бут, убийца президента Линкольна.—
Прим. перев.

— Потому, — начал Бут, опустив голову, то различимый, то еле видимый в полутьме, раздираемый чувствами, в которых и сам не мог разобраться, которые подхватывали и несли его куда-то, чтобы так же внезапно покинуть, смениться судорожными спазмами смеха или внезапным оцепенением. — Потому что... это правда. — И в благоговейном страхе, поглаживая щеки, он прошептал: — Я сделал это. Я все-таки сделал это.

— Ублюдоки!

Бэйс бежал по проходу между рядами кресел, боясь, что если он остановится, то бросится и ударит, и будет бить, бить этого идиотского умника, этого хвастливого убийцу...

Бут понимал это.

— Чего вы ждете? Кончайте.

— Нет, меня не будут... — Бэйс с трудом остановился, заставил себя не кричать, а говорить совершенно спокойно, — ...не будут судить за убийство человека, который убил того, кто по сути не был живым существом, а всего лишь машиной. Достаточно того, что стреляли в робота, казавшегося живым существом. Я не допущу, чтобы какой-нибудь судья или суд присяжных создали прецедент и был осужден человек, убивший того, кто стрелял в гуманоида, в компьютер! Глупость не должна повториться.

— Жаль, — с тоской в голосе произнес человек по имени Бут, и глаза его погасли.

— Говорите, — сказал Бэйс, глядя на стену и видя ночное шоссе, мчащегося в машине Фиппса и неутомимый бег минут. — В вашем распоряжении пять минут, может, чуть больше, может, чуть меньше. Говорите: зачем вы сделали это? Да начинайте же! Начните с того, что вы трус!

Он ждал. За спиной Бута поскрипывал ботинками охранник, неловко переступавший с ноги на ногу.

— Да, я трус, — согласился Бут. — Как вы догадались?

— Я это знал.

— Трус, — продолжал Бут. — Я трус. Всегда боялся. Вы правильно сказали. Боялся вещей, людей, мест, где можно побывать. Боялся людей, которых хотел ударить, но не смел. Вещей, которые хотел иметь, но не имел. Мест, где хотел побывать, но так и не побывал. Мечтал стать великим, знаменитым. Почему бы нет? Но не получилось. Тогда подумал: не находишь причин для радости, найди причину для горя. Столько возможностей для этого. Вот вы спрашиваете почему. Кто знает? Мне надо было сотворить что-нибудь отвратительное, а затем терзаться всю жизнь, спрашивать себя, зачем я это сделал. По крайней мере знаешь, что хоть что-то сделал. Вот и задумал сотворить что-нибудь мерзкое.

— Вам это, бесспорно, удалось.

Бут смотрел на свои руки, опущенные между колен, будто видел, как они держат древнее, совсем простое оружие.

— Случалось вам когда-нибудь убить черепаху?

— Что?!

— Когда я был десятилетним мальчишкой, я впервые узнал о смерти. И тогда же я узнал, что черепаха, это глупое, похожее на камень животное, еще долго будет жить после того, как меня давно уже не будет на свете. Тогда я решил, раз мне не миновать смерти: пусть первой умрет черепаха. Я взял камень и бил по панцирю до тех пор, пока не проломил его и черепаха не подохла...

Байс чуть замедлил свои бесконечные шаги по проходу и сказал:

— По этой же причине я однажды не убил бабочку.

— Нет, — быстро ответил Бут, — не по этой. Мне

тоже однажды на руку села бабочка. Она расправляла и складывала свои крылышки, отдыхая на моей руке. Я знал, что в любую минуту могу прихлопнуть ее, но не сделал этого, потому что знал, что через несколько минут, самое большее, через час ее склюнет какая-нибудь птица. Поэтому я позволил ей улететь. А вот черепахи — это совсем другое. Они лежат во дворе, лежат десятки лет, целую вечность. Поэтому я вышел во двор и взял камень, а потом много месяцев мучился от того, что сделал. Может, мучаюсь по сей день. Вот, смотрите...

Бут протянул руки. Они дрожали.

— Какое это имеет отношение к тому, что сегодня вы оказались здесь? — спросил Бэйс.

— Какое? Вы что, серьезно? — Бут смотрел на Бэйса, как на сумасшедшего. — Разве вы не слышали, что я говорил? О господи, я завидую! Завидую всему, что хорошо сделано, что работает, всему, что прекрасно само по себе, всему, что вечно... Мне все равно, что это! Я завидую!

— Нельзя завидовать машине.

— Почему нельзя, черт побери! — Бут ухватился за спинку переднего кресла, медленно наклонился вперед и впился глазами в печально склоненную фигуру в кресле с высокой спинкой в самом центре сцены. — Разве машины не совершенней людей в девятиста девяти случаях из ста? Вспомните ваших знакомых. Я это серьезно. Разве машины не выполняют все так, что не придерешься? А люди? Можете вы мне назвать таких, чтобы делали все, как надо, хоть на треть, хоть наполовину? Вот эта проклятая штуковина там, на сцене, эта машина, разве она не только выглядит отлично, но и делает все отлично — говорит, действует? Более того, если ее смазывать, заводить, беречь от поломок, она будет еще лучше, будет говорить и действовать без изъяна сто и двести лет,

когда я давно сгнию в земле. Завидую? Да! Разве я не прав, черт побери?

— Но машина не знает, какая она.

— Зато я знаю! Я чувствую! — кричал Бут. — Я посторонний, заглядывающий в окна. В таких делах я всегда посторонний. Я не участник, мне это не дано. А машине дано. Она все может, а я нет. Она создана, чтобы выполнять одно или два действия, но как она выполняет их! Комар носа не подточит. Сколько бы я ни учился, сколько бы ни знал и ни старался, хоть всю жизнь, мне не быть совершенством, таким чудом, как это, которое так и просится, чтобы его сломали, как вот этот человек, эта вещь, это существо на сцене, этот ваш президент!..

Он уже стоял и кричал, обращаясь к сцене, до которой было шагов шестьдесят.

Линкольн молчал. Под креслом тускло поблескивала лужица машинного масла.

— Этот президент... — внезапно переходя на шепот, почти про себя пробормотал Бут, словно постиг наконец истину, которую искал. — Президент, да, Линкольн. Разве вам не понятно? Он давно умер. Он не может жить. Это несправедливо. Прошло сто лет, и он снова здесь. Его убили, похоронили, а он продолжает жить. Живет сегодня, будет жить завтра, и так день за днем, до бесконечности. Его зовут Линкольн, а меня Бут... Я должен был прийти сюда...

Голос его прервался. Глаза остекленели.

— Садитесь, — тихо сказал Бэйс.

Бут сел, а Бэйс, кивнув охраннику, сказал:

— Пожалуйста, подождите в коридоре.

Тот вышел. Теперь, когда Бэйс остался один с Бутом и с молчаливой фигурой на сцене, которая словно чего-то ждала, сидя в своем кресле, он медленно повернулся и внимательно посмотрел на убийцу. Тщательно взвешивая каждое слово, он сказал:

— Все это так, да не совсем.

— Что?

— Вы назвали не все причины, побудившие вас прийти сегодня сюда.

— Нет, все!

— Вы так думаете. Но вы обманываете самого себя. Все вы, романтики, таковы. В той или иной степени. Фиппе, который создал этого робота. Вы, который уничтожил его. Но все, в сущности, сводится к одному... К одной очень простой и понятной причине. Вам хочется увидеть свой портрет в газете, не так ли?

Бут не ответил, но его плечи еле заметно шевельнулись, словно распрямляясь.

— Хочется видеть себя на обложках всех журналов континента?

— Нет.

— Получить неограниченное время для выступлений по телевидению?

— Нет.

— Интервью по радио?

— Нет.

— Нравится, что адвокаты и судьи будут ломать копыя, споря, подсуден ли человек, стрелявший в чужого...

— Нет!

— ... то есть в гуманоида, в машину?..

— Нет!!!

Бут тяжело дышал, глаза его бегали как у безумного.

Бэйс продолжал.

— Нравится, что завтра двести миллионов человек заговорят о вас и будут говорить неделю, может, месяц, а то и целый год!

Молчание.

Но улыбка, словно капля слюны, оттянула уголок губ, и Бут, почувствовав это, поднес руку к губам.

— Нравится, что можно продать международным

синдикатам собственную версию того, как все это было, и сорвать солидный куш.

По лицу Бута струился пот, ладони взмокли.

— Хотите, я сам отвечу на все эти вопросы? А? Итак, — начал Бэйс, — ответ здесь только один...

Стук в дверь прервал его. Бэйс вскочил, Бут тоже повернулся в сторону двери.

— Бэйс, это я, Фиппс, откройте! — послышался голос за дверью. И снова стук, уже настойчивый и громкий. Бэйс и Бут, словно заговорщики, молча посмотрели друг на друга.

— Да впустите же меня, черт побери!

В дверь снова забарабанили, потом наступила короткая пауза, и стук возобновился с новой силой — в дверь то глухо били кулаками, то барабанили пальцами. Временами стук прекращался, а затем слышалось тяжелое дыхание, словно человек успел обежать коридор в поисках других дверей.

— На чем я остановился? — спросил Бэйс. — Да, на ответах на мои вопросы. Вы, следовательно, рассчитываете на широкую рекламу — телевидение, радио, прессу и все такое прочее?..

Молчание.

— Этого не будет.

Губы Бута дрогнули, но он ничего не сказал.

— Н-Е-Т! — раздельно произнося каждую букву, выкрикнул Бэйс. — Не будет!

И, протянув руку, он выдернул у Бута из кармана бумажник. Вынув все документы, он вернул пустой бумажник.

— Нет? — повторил за ним потрясенный Бут.

— Нет, мистер Бут. Никаких портретов в газетах, никаких интервью по телевидению. Не будет статей и колонок в газетах и журналах, не будет рекламы, не будет славы — и удовлетворенного тщеславия. Не удастся жалеть себя, терзаться раскаянием, увековечить свое

ня. Никто не будет слушать вадор о победе над машиной, якобы обесчеловечившей человека. Не будет ореола мученика и бегства от собственной посредственности, сладких терзаний совести и сентиментальных слез. Не удастся не думать о будущем. Не будет судебного процесса, адвокатов, комментаторов, анализирующих все через месяц, через год, через тридцать, шестьдесят, девяносто лет, не будет и денег, нет!..

Бут поднялся в кресле, словно его подтянули вверх канатом, стал выше, худее, еще больше побледнел.

— Я не понимаю... я...

— Ведь только ради этого вы все и затеяли, не так ли? Да, ради этого. А я испорчу вам всю игру. Ибо как только все будет сказано и сделано, мистер Бут, названы все причины и подведены итоги, вы превратитесь в ничто, в пустое место. Таким вы и останетесь навсегда, испорченным и самовлюбленным, мелким, злобным и порочным. Роста вы незавидного, но я намерен сделать вас еще ниже, по крайней мере еще на один дюйм, пригнуть вас к самой земле, втоптать в нее. Вместо того чтобы возвысить и раздуть до непомерных размеров, как вам того хотелось бы.

— Вы не посмеете! — крикнул Бут.

— О, мистер Бут, — воскликнул Бэйс, испытывая почти радостное чувство, — еще как посмею. В данном случае я могу поступить с вами, как мне заблагорассудится. Так вот, я не собираюсь возбуждать против вас судебное дело. Более того, мистер Бут, ничего, в сущности, и не произошло.

Стук в дверь возобновился. Теперь стучали в дверь за сценой.

— Бэйс, ради бога, откройте! Это я, Фишс! Бэйс, вы слышите?

Бут смотрел, не отрываясь, как содрогается от ударов дверь. А Бэйс с великолепным спокойствием и естественностью крикнул:

— Одну минуту!

Он понимал, что спокойствие вот-вот изменит ему и в нем что-то сломается, но пока он чувствует себя так уверенно, он обязан довести дело до конца. Вежливо, корректно обращаясь к убийце, он продолжал говорить, и видел, как тот поник. Он продолжал говорить и видел, как тот съежился и стал меньше ростом.

— Этого никогда не будет, мистер Бут. Можете рассказывать все, что вам угодно, а мы все опровергнем. Вас не было здесь, не было пистолета и не было выстрела, не было убийства робота, не было волнений, шока, паники, и не было толпы. Посмотрите на себя. Почему вы съежились, почему согнулись и дрожите? Разочарованы? Не вышло, я помешал вам? Прекрасно. — Он кивнул в сторону выхода. — А теперь, мистер Бут, убирайтесь!

— Вы не можете...

— Очень жаль, мистер Бут, что вы не послушались.

Бэйс сделал бесшумный шаг к убийце, протянул руку, схватил его за галстук и неторопливо потянул вверх, заставив того встать. Теперь он дышал прямо в лицо убийце.

— Если вы хоть словом обмолвитесь жене, другу, вашему хозяину, случайному встречному, мужчине, женщине, ребенку, дяде, тетке, кузену, даже проговоритесь самому себе во сне, знаете, что я с вами сделаю, мистер Бут? Если произнесете хоть слово, шепотом или мысленно, я стану преследовать вас повсюду. Днем или ночью, где бы вы ни были, я найду вас, найду, когда вы меньше всего будете ждать меня, и знаете, мистер Бут, что я с вами сделаю? Нет, этого я не скажу вам, не могу сказать. Но это будет страшная, это будет ужасная расплата, и вы пожалеете, что родились на свет — так это будет страшно.

Бледное лицо Бута прыгало перед его глазами, голова моталась из стороны в сторону, глаза были выпу-

чены, а рот открыт, словно он пытался поймать им капли дождя.

— Вы поняли, что я сказал, мистер Бут? Повторите.

— Вы убьете меня?

— Повторите еще раз!

Он тряс Бута до тех пор, пока слова сами не нашли дорогу сквозь стучащие зубы Бута.

— Убьете меня!

Он крепко держал его и тряс сильно и равномерно, словно массируя, ухватив за рубашку, за кожу под рубашкой, чувствуя, как в теле врага рождается ужас.

— Прощайте, мистер Никто. О вас не будут писать статьи в журналах, не будет передач по телевидению, не будет и славы, лишь безымянная могила и никаких упоминаний в учебниках истории, нет! А теперь вон отсюда! Вон, пока я не прикончил тебя на месте!

Он толкнул Бута, и тот побежал, упал, поднялся и снова побежал прямо к выходу, к той самой двери, которую трясли, в которую колотили кулаками, которую пробили почти насквозь.

За нею был Финкс, кричавший из темноты.

— Не в эту дверь! — воскликнул Бэйс и указал Буту в противоположную сторону. Тот повернулся на всем бегу, споткнулся, чуть не упал и побежал к другой двери. Перед нею он остановился, шатаясь, и протянул руку...

— Стойте! — крикнул Бэйс и, приблизившись, наотмашь ударил Бута по лицу. Брызги пота, словно брызги дождя, разлетелись во все стороны. — Я... — промолвил Бэйс, — я должен был это сделать...

Посмотрев на свою руку, он отпер дверь.

Они увидели ночное небо, звезды и пустую улицу.

Бут отшатнулся назад, в его больших темных влажных глазах ребенка застыла обида и недоумение; это были глаза оленя, который сам себе нанес увечье, который будет постоянно ранить и калечить себя.

— Уходите, — сказал Бэйс.

Бут бросился в дверь, она захлопнулась, и Бэйс прислонился к ней, тяжело дыша.

В другом конце зала в другую дверь снова стучали, крича и умолая. Бэйс смотрел на эту трясущуюся, но, казалось, такую далекую дверь. За нею был Фишпс, но он подождет. Теперь же...

Пустой зрительный зал казался огромным, как луг у Геттисберга, когда многочисленная толпа покинула его и разъехалась по домам, а солнце опустилось за горизонтом. Там, где стояли люди, а потом разошлись, где стоял фермер с сынишкой на плечах, повторявшим каждое слово президента, было пусто...

На сцене не сразу, а после долгих колебаний он наконец протянул руку и коснулся плеча Линкольна.

«Безумец, — подумал он, стоя в полумраке сцены. — Не делай этого, не делай. Остановись! Зачем? Это глупо. Остановись».

То, что надо было найти, он нашел. То, что надо было сделать, он сделал.

Слезы текли по его лицу.

Он рыдал. Он задыхался от рыданий. Он не мог остановить слез, и они лились неудержимо.

Мистер Линкольн мертв. Мистер Линкольн мертв!

А он отпустил убийцу.

*Бетономешалка**

Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса:

— Эттіл трус! Эттіл изменник! Славные сыны Марса готовы завоевать Землю, а Эттіл отсиживается дома!

— Болтайте, болтайте, старые ведьмы! — крикнул он.

Голоса стали чуть слышны, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.

— Эттіл опозорил своего сына; каково мальчику знать, что его отец — трус, — шушукались сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. — О стыд, о бесчестье!

В дальнем углу комнаты плакала жена. Будто холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.

— Ох, Эттіл, как ты можешь?

Эттіл отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает.

— Я ведь уже пытался объяснить, — сказал он. — Вторжение на Землю — глупейшая затея. Она нас погубит.

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Бетономешалка: Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1985. — (Библия совр. фантастики, т. 3). — Пер. изд.: Bradbury R. The Concrete Mixer: The Illustrated Man. Doubleday, N. Y., 1952.

За окном — гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камню мостовых, вскинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками.

— Я останусь на Марсе и буду читать книгу, — сказал Эттил.

Громкий стук в дверь. Тилла отворила. В комнату ворвался Эттилов тесть:

— Что я слышу? Мой зять — предатель?!

— Да, отец.

— Ты не вступаешь в марсианскую армию?

— Нет, отец.

— О чтоб тебя! — Старик побагровел. — Опозоришь-ся навеки. Тебя расстреляют.

— Так стреляйте — и покончим с этим.

— Слыханное ли дело, марсианину — да не вторгнуться на Землю! Где это слыхано?

— Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай.

— Неслыханно, — зашипели ведьмы под окном.

— Хоть бы ты его вразумил, отец! — сказала Тилла.

— Как же, вразумишь навозную кучу! — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Эттилу: — День на славу, оркестры играют, женщины плачут, детишки радуются, все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут... О стыд!

— О стыд! — вскрикнули голоса в кустах поодаль.

— Вон из моего дома! — вспыхнул Эттил. — Надоела мне эта дурацкая болтовня! Убирайся ты со своими медалями и барабанами!

Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась, на пороге — военный патруль.

— Эттил Врай? — рявкнул голос.

— Да.

— Вы арестованы!

— Прощай, дорогая моя жена! Иду воевать заодно с этими дураками! — закричал Эттил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу.

— Прощай, прощай, — скрываясь вдали, эхом отзывались ведьмы.

Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Эттилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили несчетные звезды; каждый раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались враспынную.

— Дураки, — шептал Эттил. — Ах, дураки!

Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подобие тележки, разгороженной на ящики — все они павалом загружены книгами. Позади выросла фигура Военного наставника.

— Эттил Врай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги. Все эти «Удивительные истории», «Научные рассказы», «Фантастические повести». Объясните.

И он стиснул руку Эттила повыше кисти. Эттил вырвал руку.

— Если вы намерены меня расстрелять, стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с Землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено.

— Как так? — Наставник хмуро покосился на пожелтевшие от времени журналы.

— Возьмите книжку, — сказал Эттил. — Любую, на выбор. С тысяча девятьсот двадцать девятого-тридцатого и до тысяча девятьсот пятидесятого года по земному календарю в девяти рассказах из десяти речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю...

— Ага!.. — Военный наставник улыбнулся и кивнул.

— ...а потом потерпели крах, — закончил Эттил.

— Да это измена! Держать у себя такие книги!

— Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое-какие выводы. Каждое вторжение неизменно кончалось шшиком по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мик, Рик, Джик или Беннон; как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан.

— И вы смеее в это верить!

— Что земляне и правда на это способны, не верю. Но поймите, Наставник, у них за плечами традиция, поколение за поколением в детстве зачитывалось подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно?

— Ну-у...

— Не было.

— Пожалуй, что и так.

— Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой — и погибнем.

— Странная логика. При чем тут старые журналы?

— Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. Книжки, которых они читались в юности, придают им непоколебимую веру в себя, где нам с ними равняться! Мы, марсиане, не так уж уверены в себе; мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы ни бьем в барабаны, как ни трубим в трубы, а дух наш слаб.

— Это измена! Я не желаю слушать! — закричал Военный наставник. — Через десять минут все эти книжонки сожгут и тебя тоже. Можешь выбирать, Эттил Врай. Либо ты вступишь в Военный легион, либо сгоришь.

— Выбрать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть.

— Эй, люди!

Эттила вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в пять футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя. Через минуту Эттила толкнут в яму.

А в конце двора, в тени, одиноким мрачным извечным застыл его сын, большие желтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде.

Эттил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, за чертой — смерть. И только тут Эттил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул:

— Стойте!

Лицо Наставника, в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве, придвинулось ближе:

— Чего тебе?

— Я вступаю в Военный легион, — сказал Эттил.

— Хорошо! Отпустите его!

Грубые руки разжались.

Эттил обернулся — сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета — и звезды померкли...

— А теперь мы пожелаем доблестным воинам счастливого пути, — сказал Наставник.

Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребятишки. Среди пестрой толчеи Эттил увидел жену, она плакала от гордости; рядом, молчаливый и торжественный, стоял сын.

Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солда-

ты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух.

— Вперед, к Земле и гибели, — прошептал Эттил.

— Что? — переспросил кто-то.

— Вперед, к славной победе, — скорчив подобающую мину, сказал Эттил.

Ракета рванулась в небо.

«Бездна, — думал Эттил. — Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим, наша прославленная ракета запыляет в небе над землянами, и сердца их исполнятся страхом. Ну а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына?»

Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно все внутренности, все самое сокровенное в твоём существе, без чего нельзя жить, накрепко привязал к родному Марсу — и прыгнул прочь на миллионы миль. Сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. Мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном голубом хмельном воздухе Марса — мягкие подвижные мехи, что жаждут освобождения, вот часть тебя, которой так нужен покой.

Ибо теперь ты лишь автомат без винтов и гаек, ты труп, те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили и все, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей, раскидали по сумрачным холмам. И вот ты — опустошенный, угасший, охладевший, у тебя остались только руки, чтоб нести смерть землянам. Руки — вот и все, что от тебя осталось, подумал он холодно и отрешенно.

Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целы и невредимы, тело и душа у них — одно. А все, что еще живо от тебя, осталось поза-

ди и бродит под вечерним вегерком среди пустынных морей. Здесь же, в ракете, только холодный ком глины, в котором уже нет жизни.

— Штурмовые посты, штурмовые посты, к штурму!

— Готов! Готов! Готов!

— Подъем!

— Встать из сеток! Живо!

Эттил повиновался команде. Где-то отдельно, впереди него, двигались его онемевшие руки.

«Как быстро все это получилось, — думал он. — Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые — ведь они наделены потрясающим телепатическим даром — в точности ее скопировали; наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не достиг Марса, и, однако, все мы в совершенстве овладели языком людей Земли. Мы знаем их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи...»

— Орудия, к бою!

— Есть!

— Прицел!

— Дистанция в милях?

— Десять тысяч!

— Штурм!

Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, рычаги, вертящиеся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела, только пот проступает под мышками, на лбу, под остановившимися выцветшими глазами.

— Внимание! Приготовиться!

Изо всех сил держится Эттил — только бы не потерять рассудок! — и ждет, ждет...

Тишина, тишина, тишина. Ожидание.

Ти-и-и-и!

— Что это?

— Радио с Земли!
— Дайте настройку!
— Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают. Дайте настройку!

И-и-ии!

— Вот они! Слушайте!

— Вызываем марсианские военные ракеты!

Тишина затаила дыхание, гуденье улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый земной голос:

— Говорит Земля! Говорит Уильям Соммерс, президент Объединения американских промышленников!

Эттил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зажмурился.

— Добро пожаловать на Землю!

— Что? — закричали в ракете. — Что он сказал?

— Да, да, добро пожаловать на Землю.

— Это обман!

Эттил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.

— Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас! — радужно вещал голос. — Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена.

— Обман!

— Тс-с, слушайте!

— Много лет назад мы, жители Земли отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать, нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. Мы просим только о милосердии, наши добрые и милостивые завоеватели.

— Этого не может быть, — прошептал кто-то.

— Уж конечно, это обман!

— Итак, добро пожаловать! — закончил представи-

тель Земли мистер Уильям Соммерс. — Опускайтесь, где вам угодно. Земля к вашим услугам, все мы — братья!

Эттил засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумении:

— Он сошел с ума!

А Эттил все смеялся, пока его не стукнули.

Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер взмокший лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на пятидесятитысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо.

— Вот они!

Толпа ахнула.

— Нет, это просто чайки!

Ропот разочарования.

— Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну, — прошептал толстяк мэр. — Тогда можно было бы разойтись по домам.

— Ш-ш — остановила его жена.

— Вот они! — загудела толпа.

Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.

— Все готовы? — мэр беспокойно огляделся.

— Да, сэр, — сказала мисс Калифорния 1965 года.

— Да, — сказала и мисс Америка 1940 года (она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966-го — та, как на грех, слегла).

— Ясно, готовы, сэр! — подхватил мистер Крупнейший грейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год.

— Оркестр готов?

Оркестранты вскинули трубы, точно ружья на изготовку.

— Так точно!

Ракеты приземлились.

— Давайте!

Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния» и сыграл его десять раз подряд.

С двенадцати до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным недоверчивым ракетам.

В час пятнадцать герметические люки ракет открылись.

Оркестр трижды сыграл «О штат золотой!»

Эттид и еще полсотни марсиан с оружием наготове спрыгнули наземь.

Мэр выбежал вперед, в руках у него были ключи от Земли.

Оркестр заиграл «Приходит в город Санта-Клаус», и левческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг-Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как «приходят в город марсиане».

Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали.

С часу тридцати до двух пятнадцати мэр повторял свою речь специально для марсиан.

В два тридцать мисс Америка 1940 года вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд.

В два часа тридцать минут и десять секунд оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете», чтобы замаять неловкость, возникшую по вине мисс Америки.

В два тридцать пять мистер Крупнейший грейп-фрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов.

В два тридцать семь мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик»; при этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого.

Загград оркестр, и пятьдесят тысяч человек запелл
«Все они славные парии».

В четыре часа торжество закончилось.

Эттил уселся в тени ракеты, с ним были двое его товарищей.

— Так вот она, Земля!

— А я считаю, всю эту дрянь надо перебить, — заявил один марсианин. — Не верю я землянам. Что-то они замышляют. Ну с чего они так уж нам радуются? — Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало. — Что это они мне сунули? Говорят, образчик. — Он прочел надпись на этикетке: — «БЛЕСК, Новейшая Мыльная Стружка».

Вокруг сновала толпа, земляне и марсиане впере-
мешку, точно на карнавале. Стоял немолчный говор, радужные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.

Эттил словно окоченел. Его пуще прежнего била дрожь.

— Неужели вы не чувствуете? — шепнул он. — Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам худое.

— А я говорю, их надо перебить — всех до единого!

— Как же убивать тех, кто называет тебя другом и приятелем? — спросил второй марсианин.

Эттил покачал головой:

— Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно. — Он нацелил мозг на толпу, силясь нащупать ее настроение. — Да, они и вправду к нам расположены, у них это называется «на дружеской ноге». Это огромное собрание самых обыкновенных людей, они равно благо-
склонны что к собакам и кошкам, что к марсианам. И все же... все же...

Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания «Пиво Хейгенбека» (город Фресно, штат Калифорния) угощала всех даровым пивом.

Марсиан начало тошнить.

Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно.

Давясь и отплевываясь, Эттил сидел в тени платана.

— Это заговор... гнусный заговор... — стонал он и судорожно хватался за живот.

— Что вы такое съели? — над ним стоял Военный наставник.

— Что-то непонятное, — простонал Эттил. — У них это называется «кукурузные хлопья».

— А еще?

— Еще какой-то ломоть мяса с булкой, и пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом, и ел какую-то рыбу и штуку, которую они называют «пирожное», — вздохнул Эттил, веки его вздрагивали.

Со всех сторон раздавались стоны завоевателей-марсиан.

— Перебить подлых предателей! — слабым голосом выкрикнул кто-то.

— Спокойнее, — остановил Наставник. — Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Вставайте, воины. Идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора браться за дело.

Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.

— Вперед шагом... марш!

Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось — столбы, бетон, металл, полотняные навесы, крыши, толь, все дышало жаром.

Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах.

— Осторожней! — вполголоса предупредил Наставник.

Они проходили мимо салона красоты.

Внутри украдкой хихикнули.

— Смотрите!

Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз.

— Заговор, — шептал Эттил. — Так и знайте, это заговор.

В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено крутились в пещерах, где под электрическими колпаками, точно какие-то морские дива, сидели женщины — волосы их закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины; глаза то пронизывали, то стекленели, смотрели и тупо, и хитро; окрашенные рты алели, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, вползал в зеленые кроны деревьев, исподтишка окутывал изумленных марсиан.

Нервы Эттила не выдержали.

— Ради всего святого! — вдруг закричал он. — Скорее по ракетам — и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы на них только посмотрите! Видите, видите? Эти женщины в стылых пещерах, в искусственной скале — злобные подводные чудища!

— Молчать!

Только посмотрите на них, думал Эттил. Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры.

Он снова закричал.

— Эй, кто-нибудь, заткните ему глотку!

— Они накинутся на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами, их жирно намазанные ярко-красные рты оглушат нас визгом! Они затопят

нас потоками пошлости, все наши чувства притулятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины, а они что-то жужжат, и напевают, и бормочут! Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?

— А почему бы и нет? — раздался голос.

— Да они изжарят вас, потравят, как кислотой, вы сами себя не узнаете! Вас раздавят, сотрут в порошок, каждый обратится в мужа — и только, в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтоб они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?

— Конечно, черт подери!

Издали долетел голос — высокий, пронзительный женский голос:

— Поглядите на того, посередке, — правда, красавчик?

— А марсиане в общем-то ничего. Право слово, мужчины как мужчины, — томно протянул другой голос.

— Эй, вы! Ау! Марсиане! Э-эй!

Эттил с воплем кинулся бежать...

Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу — как далеко он от дома, как одинок и заброшен! Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел: марсианские войны ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений, — там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам, а рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины, а под ногами валяются

еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров — кинематограф.

— Привет!

Он в ужасе вскинул голову.

Рядом на скамью опустилась женщина, она лениво жевала резинку.

— Не убегай, — сказала она. — Я не кусаюсь.

— Ох! — вырвалось у Эттила.

— Сходим в кино? — предложила женщина.

— Нет.

— Да ну, пойдем, — сказала она. — Все пошли.

— Нет, — повторил Эттил. — Разве вам тут, на Земле, больше нечего делать?

— А чего тебе еще? — она подозрительно оглядела его, голубые глаза округлились — Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку? Ха-ха! Выдумает тоже!

Эттил изумленно посмотрел на нее, спросил не сразу:

— А все-таки, чем вы еще занимаетесь?

— Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? Непременно заведи себе новый большой «подлержесть» с откидным верхом. Шикарная машина! Уж будь уверен, у кого есть «подлержесть», тот любую девчонку подцепит! — и она подмигнула Эттилу. — У тебя-то денег куча, раз ты с Марса, это точно. Была бы охота, можешь завести себе «подлержесть» и кати куда задумается, это точно.

— Куда, в кино?

— А чем плохо?

— Нет-нет, ничего...

— Да вы что, мистер? Рассуждаете прямо как коммунист, — сказала женщина. — Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покла-

дистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули — верно?

— Вот этого я никак не пойму, — сказал Эттил. — Почему вы нас так приняли?

— По доброте душевной, мистер, вот почему! Так и запомни, по доброте душевной!

И она пошла искать себе другого кавалера.

Эттил собрался с духом — надо написать жене; разложил бумагу на коленях и старательно вывел: «Дорогая Тилла!» Но тут его снова прервали. Чуть не под посом кто-то застучал в бубен, пришлось поднять голову — перед ним стояла тщедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.

— Брат мой! — закричала она, глядя на Эттила горящими глазами. — Обрел ли ты спасение?

Эттил вскочил, уронил перо.

— Что? Опасность?

— Ужасная опасность! — завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горé. — Ты нуждаешься в спасении, брат мой, ты на краю гибели!

— Кажется, вы правы, — дрожа согласился Эттил.

— Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение трем марсианам. Мило, не правда ли? — она широко улыбнулась.

— Пожалуй, что так.

Она впилась в Эттила пронзительным взглядом. Наклонилась к нему и таинственно зашептала:

— Брат мой, был ли ты окрещен?

— Не знаю, — ответил он тоже шепотом.

— Не знаешь?! — крикнула она и высоко вскинула бубен.

— Это вроде расстрела, да? — спросил Эттил.

— Брат мой, ты погряз во зле и грехе, — сказала старушонка. — Не тебя осуждаю, ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны, вас совсем не учат истине. Вас развращают

ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения.

— И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире? — спросил Эттил.

— Не требуй сразу многого, — возразила она. — Здесь довольствуйся малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда.

— Тот мир я знаю, — сказал Эттил.

— Там покой, — продолжала она.

— Да.

— И тишина.

— Да.

— Там реки текут молоком и медом.

— Да, пожалуй, — согласился Эттил.

— И все смеются и ликуют.

— Я это как сейчас вижу, — сказал Эттил.

— Тот мир лучше нашего.

— Куда лучше, — подтвердил он. — Да, Марс — великая планета.

Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу.

— Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?!

— Да нет же! — Эттил смутился и растерялся. — Я думал, вы это про...

— Уж конечно, не про ваш мерзкий Марс! Вот таким, как вы, и суждено вечно кипеть в котле, вы покроеетесь язвами, вам уготованы адские муки...

— Да, признаться, Земля — место мало приятное. Вы очень верно ее описываете.

— Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер! — разъярилась старушонка.

— Нет-нет, прошу прощенья. Это я по невежеству.

— Ладно, — сказала она. — Ты язычник, а язычники все невоспитанные. Вот, держи бумажку. Приходи завтра вечером по этому адресу и будешь окрещен, и обрешь счастье. Мы громко распоеваем, без усталости

гаем, и, если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы, и флейты, ты к нам придешь, придешь?

— Постараюсь, — неуверенно сказал Эттил.

И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распевая во все горло: «Счастье мое вечно со мной!»

Ошеломленный Эттил снова взялся за письмо.

«Дорогая Тилла! Подумай только, по своей naïveté* я воображал, будто земляне встретят нас бомбами и пушками. Ничего подобного! Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, никаких таких молодцов, которые в одиночку спасают всю планету.

Тут только и есть что белобрысые розовые роботы с телами из резины; они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобны, живые — и все-таки говорят и действуют как автоматы и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные *derrières***. Глаза неподвижные, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей, ведь они непрестанно жуют резинку.

Таковы не отдельные люди, дорогая моя Тилла, такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян в громадную бетономешалку. От нас ничего не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их радушие. Нас погубит не ракета, но автомобиль...»

Отчаянный вопль. Треск, грохот. И тишина.

Эттил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой — землян. Эттил вернулся к письму.

«Милая, милая Тилла, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на Американском континен-

* Простоте душевной (франц.).

** Зады (франц.).

те, каждый год погибают сорок пять тысяч человек — превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно нечаянные мысли — смешные и страшные мысли застывают в неподвижном желе. Автомобили сплющиваются в этикие аккуратненькие консервные банки, а внутри все перемешалось и все тихо.

Везде на дорогах кровавое месиво, и на нем жужжат огромные павозные мухи. Внезапный толчок, остановка, и лица обращаются в карнавальные маски. Есть у здешних жителей такой праздник — карнавал в день всех святых. В этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть.

Выглянешь из окна, а там лежат двое; еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь соединились в тесном объятии, оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена, всякие колдуны и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой, на Марс.

Тилла моя, где-то на Земле есть человек, и у него Рычаг, довольно ему нажать на рычаг — и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не у дел. Заветный рычаг покрывается пылью. А сам он играет в карты.

Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства, они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тилла моя. Пожелай мне удачи, быть может, я погибну, при попытке к бегству. Поцелуй за меня сына.»

Эттил сложил письмо, немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой.

Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать? Но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь на Марс? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался.

Ясно одно: если остаться на Земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода — и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие, мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что!

Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне — лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня-завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет шесть серебряных ручек.

— Эй, вы!

Завыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее выскочил человек.

— Марсианин?

— Да.

— Вас-то мне и надо. Влезайте, да поживей, вам крупно повезло. Влезайте! Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом!

Ошеломленный Эттил покорно открыл дверцу и сел в машину.

Покатили.

— Что будете пить, Э Вэ? Коктейль? Официант, два манхеттена! Спокойно, Э Вэ. Я угощаю. Я и наша студия. Нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, Э Вэ. Меня зовут Эр Эр Ван Пленк. Может, слышали про такого? Нет? Ну все равно, руку, приятель.

Он зачем-то помял Эттилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темной пещере, играла музыка, плавно скользили официанты. Им принесли два бокала. Все произошло так внезапно. И вот Ван Пленк, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.

— Итак, Э Ва, вы мне нужны. У меня есть идея — благороднейшая, лучше не придумаешь! Даже не знаю, как это меня осенило. Сажу сегодня дома, и вдруг — бац! — вот это, думаю, будет фильм! **ВТОРЖЕНИЕ МАРСИАН НА ЗЕМЛЮ.** А что для этого нужно? Нужен консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас, и вся недолга. Выпьем! За ваше здоровье и за наш успех. Хоп!

— Но... — возразил было Эттил.

— Знаю, знаю, ясно, не задаром. Чего-чего, а денег у нас прорва. И еще у меня при себе такая книжечка, а в ней золотые листочки, могу ссудить.

— Мне не очень нравятся ваши земные растения, я...

— Э, да вы шутник! Так вот, слушайте, как мне мыслится сценарий. — В азарте он наклонился к Эттилу. — Сперва шикарная сцена: на Марсе разгораются страсти, огромное сборище, марсиане кричат, бьют в барабаны. В глубине — громадные серебряные города...

— Но у нас на Марсе города совсем не такие...

— Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше Эр Эру лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.

— Мы не пляшем вокруг костров...

— В этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, — объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал: — Затем нам понадобится марсианка, высокая златокудрая красавица.

— На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и...

— Послушай, Э Ва, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?

— Эттил.

— Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо. Я уж сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому что потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?

— Я думал...

— И еще нам нужна такая сцена, чтоб зрители рыдали — в марсианский корабль угодил метеорит или еще что — словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти. Сногсшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить.

Эттил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку.

— Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить.

— Валяй, Джо, не смущайся.

— Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы... вы все принимаете нас, точно родных детей после долгой разлуки. Почему?

— Ну и чудак же вы там, на Марсе! Сразу видно, святая простота. Ты вот что сообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно?

И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях.

— Мы люди самые заурядные, верно? Так вот, мы, земляне, этим гордимся. Наш век — век Заурядного человека, Билл, и мы горды, что мы — мелкая сошка. У нас на Земле, друг Билли, все жители сплошь Сарояны. Да, да. Этакое огромное семейство благодуш-

ных Сароянов, и все вежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, Джо, и понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе и завидно, что у нас такие города...

— Наша цивилизация гораздо старше вашей...

— Уж пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Дай я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин — и милости просим, добро пожаловать, ведь вы наши братья, вы тоже самые заурядные люди.

А кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь: на этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал фильм — он нам даст миллиард чистой прибыли, это уж будь покоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по тридцать монет штука. Считай, еще миллионы дохода. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по пять монет. Да мало ли чего еще можно напридумывать.

— Вот оно что, — сказал Эттил и отодвинулся.

— Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте, и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу — прорву всего.

— Постойте. Еще один вопрос.

— Валяй.

— Как ваше имя? Что это означает — Эр Эр?

— Ричард Роберт.

Эттил поглядел в потолок.

— А может быть, иногда случайно кто-нибудь зовет вас... м-м... Рик?

— Угадал, приятель. Ясно, Рик, как же еще.

Эттил перевел дух и захохотал и никак не мог остановиться. Ткнул в собеседника пальцем.

— Так вы — Рик? Рик! Стало быть, вы и есть Рик!

— А что тут смешного, сынок? Объясни папочке!

— Вы не поймете... вспомнилась одна история... — Эттил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. — Так вы Рик! Ох, забавно! Ну совсем не похожи. Ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом да толстое брюхо!

— Эй, полегче на поворотах, Мак. Может, я и не Аполлон, но...

— Вашу руку, Рик! Давно мечтал познакомиться. Вы — тот самый человек, который завоюет Марс, ведь у вас есть машинки для коктейля, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кеши, и ром.

— Я только скромный предприниматель, — сказал Ван Пленк и потупил глазки. — Я делаю свой бизнес и получаю толику барыша. Но я уже говорил, Джек, я давно подумывал: надо поставлять на Марс игрушки дядюшки Уиггили и комиксы Дика Трейси, там все будет в новинку! Огромный рынок сбыта! Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах, так? Так! Словом, мы вас засыплем всякой всячиной. Наши товары будут нарасхват. Марсиане их просто с руками оторвут, малыш, верно говорю! Еще бы — духи, платья из Парижа, модные комбинезоны — чуешь? И первоклассная обувь.

— Мы ходим босиком.

— Что я слышу?! — воззвал Р. Р. Ван Пленк к небесам. — На Марсе живет одна неотесанная деревенщина? Вот что, Джо, это уж наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится!

— А-а...

Ван Пленк хлопнул Эттила по плечу.

— Стало быть, заметано? Ты — технический директор моего фильма, идет? Для начала получаешь двести долларов в неделю, а там дойдет и до пяти сотен. Что скажешь?

— Меня тошнит, — сказал Эттил. От выпитого коктейля он весь посинел.

— Э, прошу прощенья. Я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух.

На свежем воздухе Эттилу стало полегче.

— Так вот почему Земля нас так встретила? — спросил он и покачнулся.

— Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать, ради доллара всякий расстареется. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в девять утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в одиннадцать, тогда потолкуем. Ровно в девять, смотри не опаздывай. У нас порядок строгий.

— А почему?

— Чудак ты, Галлахер! Но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения!

Автомобиль отъехал.

Эттил поглядел ему вслед, поморгал растерянно. Потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан.

— Как же теперь быть? — вслух спросил он себя.

Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали, из города доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи: с одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок; судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют, и за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал:

— Дышать нечем... заманили, раздавили...

Понемногу всхлипывания затихли. Эттиал вышел из густой тени и направился к кораблям, надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке вповалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города долетала музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки: приглушенно урчат машинки в барах, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными; в пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон — от него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней.

Пройдет год — и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончат с собой?

Эттиал стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него.

Перед ним выбор: остаться на Земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минута в минуту и начать понемногу поддакивать шефу — да, мол, конечно, бывала на Марсе жестокая резня; да, наши женщины высокие и белокурые; да, у нас есть разные племена, и у каждого свои пляски и жертвоприношения, да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс.

— А что будет через год? — сказал он вслух.

На Марсе откроют Ночной Клуб Голубого канала. И Казино Древнего города. Да, в самом сердце марсианского Древнего города устроят игорный притон! И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на могилах предков — да, не миновать.

Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно — дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать — то недолгое время, что еще остается им, пока не свалится с неба неоновое безумие.

А потом, быть может, они с Тиллой найдут убежище в синих горах, будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться — ах, какой дивный вид!

Он уже точно знал, что скажет Тилле:

— Война ужасна, но мир подчас куда страшнее.

Он стоял посреди широкой пустынной дороги.

Обернулся — и без малейшего удивления увидел: прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девчонки лет по шестнадцати, не больше, гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. Указывают на него пальцами, истошно вопят. Мотор ревет все громче. Скорость — шестьдесят миль в час.

Эттил кинулся бежать. Машина настигала.

«Да, да, — устало подумал он. — Как странно, как печально... и рев, грохот... точь в точь бетонош-шайка».

*Наказание без преступления**

— Вы хотите убить свою жену? — спросил темно-волосый человек, сидевший за письменным столом.

— Да. То есть нет... не совсем так. Я хотел бы...

— Фамилия, имя?

— Ее или мой?

— Ваши.

— Джордж Хилл.

— Адрес?

— 11, Саут Сент-Джеймс, Гленвью.

Человек бесстрастно записывал.

— Имя вашей жены?

— Кэтрин.

— Возраст?

— Тридцать один.

Вопросы сыпались один за другим. Цвет волос, глаз, кожи, любимые духи, какая она на ощупь, размер одежды...

— У вас есть ее стереофотоснимок? А пленка с записью голоса? Ага, я вижу, вы принесли. Хорошо. Теперь...

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Наказание без преступления: Пер. с англ. — М.: Наука, 1979. — («Химия и жизнь», № 6). — Пер. изд.: Bradbury R. Punishment without Crime: Other Worlds, September, 1950.

© Перевод на русский язык, «Наука», 1979.

Прошел целый час. Джорджа Хилла уже давно прошёл пот.

— Все, — темноволосый человек встал и строго посмотрел на Джорджа. — Вы не передумали?

— Нет.

— Вы знаете, что это противозаконно?

— Да.

— И что мы не несем никакой ответственности за возможные последствия?

— Ради бога, кончайте скорей! — крикнул Джордж. — Вон уже сколько вы меня держите. Делайте скорее!

Человек еле заметно улыбнулся.

— На изготовление куклы-копии вашей жены потребуется три часа. А вы пока вздремните — это вас немного успокоит. Третья зеркальная комната, слева по коридору, свободна.

Джордж медленно, как оглушенный, побрел в зеркальную комнату. Он лег на синюю бархатную кушетку, и давление его тела заставило вращаться зеркала на потолке. Нежный голос запел: «Спи... спи... спи...»

— Кэтрин, я не хотел идти сюда. Это ты, заставила меня... Господи, я не хочу тут оставаться. Хочу домой... Не хочу убивать тебя... — сонно бормотал Джордж.

Зеркала бесшумно вращались и сверкали.

Он уснул.

Он видел во сне, что ему снова сорок один год, он и Кэти бегают по зеленому склону холма, они прилетели на пикник и их вертолет стоит неподалеку. Ветер развеивает золотые волосы Кэти, она смеется. Они с Кэти целуются и держат друг друга за руки и ничего не едят. Они читают стихи; только и делают, что читают стихи.

Потом другие картины. Полет, быстрая смена красок. Они летят над Грецией, Италией, Швейцарией — той ясной, долгой осенью 1997 года! Летят и летят без остановок!

И вдруг — кошмар. Кэти и Леонард Фелпс. Джордж вскрикнул во сне. Как это случилось? Откуда вдруг взялся Фелпс? Почему он вторгся в их мир? Почему жизнь не может быть простой и доброй? Неужели все это из-за разницы в возрасте? Джорджу под пятьдесят, а Кэти молода, так молода! Почему, почему?..

Эта сцена навсегда осталась в его памяти. Леонард Фелпс и Кэти в парке, за городом. Джордж появился из-за поворота дорожки как раз в тот момент, когда они целовались.

Ярость. Драка. Попытка убить Фелпса.

А потом еще дни и еще кошмары...

Джордж проснулся в слезах.

— Мистер Хилл, для вас все приготовлено.

Неуклюже он поднялся с кушетки. Увидел себя в высоких и неподвижных теперь зеркалах. Да, выглядит он на все пятьдесят. Это была ужасная ошибка. Люди более привлекательные, чем он, брали себе в жены молодых женщин и потом убеждались, что они неизбежно ускользают из их объятий, растворяются, словно кристаллики сахара в воде. Он злобно разглядывал себя. Чуть-чуть много живота. Чуть-чуть много подбородка. Многовато соли с перцем в волосах и мало в теле...

Темноволосый человек ввел его в другую комнату.

У Джорджа перехватило дыхание.

— Но это же комната Кэти!

— Фирма старается максимально удовлетворять запросы клиентов.

— Ее комната! До мельчайших деталей!

Джордж Хилл подписал чек на десять тысяч долларов. Человек взял чек и ушел.

В комнате было тихо и тепло.

Джордж сел и потрогал пистолет в кармане. Да, куча денег... Но богатые люди могут позволить себе роскошь «очищающего убийства». Насилие без насилия. Смерть без смерти. Ему стало легче. Внезапно он успокоился. Он смотрел на дверь. Наконец-то приближается момент, которого он ждал целых полгода. Сейчас все будет кончено. Через мгновение в комнату войдет прекрасный робот, марионетка, управляемая невидимыми нитями. И...

— Здравствуй, Джордж.

— Кэти!

Он стремительно повернулся.

— Кэти! — вырвалось у него.

Она стояла в дверях за его спиной. На ней было мягкое как пух зеленое платье, на ногах — золотые плетеные сандалии. Волосы светлыми волнами облегли шею, глаза сияли ясной голубизной.

От потрясения он долго не мог выговорить ни слова. Наконец сказал:

— Ты прекрасна.

— Разве я когда-нибудь была иной?

— Дай мне поглядеть на тебя, — сказал он медленно чужим голосом.

Он простер к ней руки, неуверенно, как лунатик. Сердце его глухо колотилось. Он двигался тяжело, будто придавленный огромной толщей воды. Он все ходил, ходил вокруг нее, бережно прикасаясь к ее телу.

— Ты что, не нагладелся на меня за все эти годы?

— И никогда не наглажусь... — сказал он, и глаза его налились слезами.

— О чем ты хотел говорить со мной?

— Подожди, пожалуйста, немного подожди.

Он сел, внезапно ослабев, на кушетку, прижал дрожащие руки к груди. Зажмурился.

— Это просто непостижимо. Это тоже кошмар. Как они сумели сделать тебя?

— Нам запрещено говорить об этом. Нарушается иллюзия.

— Какое-то колдовство.

— Нет, наука.

Руки у нее были теплые. Ногти совершенны, как морские раковины. И нигде ни малейшего изъяна, ни единого шва. Он глядел на нее, и ему вспоминались слова, которые они так часто читали вместе в те счастливые дни: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими... Как лента алая губы твои, а уста твои любезны... Два сосца твоих как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями... Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе» *.

— Джордж!

— Что? — Глаза у него были ледяные.

Ему захотелось поцеловать ее.

«...Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана».

— Джордж!

Оглушительный шум в ушах. Комната перед глазами пошла ходуном.

— Да, да, сейчас, одну минуту... — он затряс головой, чтобы вытряхнуть из нее шум.

«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь княжеская! Округление бедер твоих, как оkerелье, творение искусного художника...»

— Как им это удалось? — вскричал он.

Так быстро! За три часа, пока он спал. Как это они расплавили золото, укрепили тончайшие часовые

* Здесь и дальше цитаты из Библии («Песнь песней»). — *Прим. перев.*

пружинки, алмазы, блески, конфетти, драгоценные рубины, жидкое серебро, медные проволоочки? А ее волосы? Их спряли металлические насекомые? Нет, наверно, золотисто-желтое пламя залили в форму и дали ему затвердеть...

— Если ты будешь говорить об этом, я сейчас же уйду, — сказала она.

— Нет-нет, не уходи!

— Тогда ближе к делу, — холодно сказала она. — Ты хотел говорить со мной о Леонарде.

— Подожди, об этом немного позже.

— Нет, сейчас, — настаивала она.

В нем уже не было гнева. Все как будто смыло волной, когда он ее увидел. Он чувствовал себя гадким мальчишкой.

— Зачем ты пришел ко мне? — спросила она без улыбки.

— Прошу тебя...

— Нет, отвечай. Если насчет Леонарда, то ты же знаешь, что я люблю его.

— Замолчи! — Он зажал уши руками.

Она не унималась.

— Тебе отлично известно, что я сейчас все время с ним. Я теперь бываю с Леонардом там, где бывали мы с тобой. Помнишь лужайку на Монте-Верде? Мы с ним были там на прошлой неделе. Месяц назад мы летали в Афины, взяли с собой ящик шампанского.

Он облизал пересохшие губы:

— Ты не виновата, не виновата! — Он вскочил и схватил ее за руки. — Ты только что появилась на свет, ты не она. Виновата она, не ты. Ты совсем другая.

— Неправда, — сказала женщина. — Я и есть она. Я могу поступать только так, как она. Во мне нет ни грамма того, чего нет в ней. Практически мы с ней одно и то же.

— Но ты же не вела себя так, как она?
— Я вела себя именно так. Я целовала его.
— Ты не могла, ты только что родилась!
— Да, но из ее прошлого и из твоей памяти.
— Послушай, — умолял он, тряся ее, пытаюсь заставить себя слушать, — может быть, можно... может быть, можно... ну, заплатить больше денег? И увезти тебя отсюда? Мы улетим в Париж, в Стокгольм, куда хочешь!

Она рассмеялась.

— Куклы не продаются. Их дают только напрокат.

— Но у меня есть деньги!

— Это уже пробовали, давным-давно. Нельзя. От этого люди сходят с ума. Даже то, что делается, — незаконно, ты же знаешь. Мы существуем потому, что власти смотрят на нас сквозь пальцы.

— Кэти, я хочу одного — быть с тобой.

— Это невозможно — ведь я та же самая Кэти, вся до последней клетки. А потом, мы остерегаемся конкуренции. Куклы не разрешается вывозить из здания фирмы: при вскрытии могут разгадать наши секреты. И хватит об этом. Я же предупреждала тебя: об этом говорить не надо. Уничтожишь иллюзию. Уходя, будешь чувствовать себя неудовлетворенным. Ты ведь заплатил — так делай то, за чем пришел сюда.

— Но я не хочу убивать тебя.

— Часть твоего существа хочет. Ты просто подавляешь в себе это желание, не даешь ему прорваться.

Он вынул пистолет из кармана:

— Я старый дурак. Мне не надо было приходить сюда... Ты так прекрасна!

— Сегодня вечером я снова встречаюсь с Леонардом.

— Замолчи.

— Завтра утром мы улетаем в Париж.

— Ты слышала, что я сказал?

— А оттуда в Стокгольм, — она весело рассмея-

лась и потрепала его по подбородку. — Так-то, мой толстячок.

Что-то зашевелилось в нем. Он побледнел. Он ясно понимал, что происходит: скрытый гнев, отвращение, ненависть пульсировали в нем, а тончайшие телепатические паутинки в феноменальном механизме ее головы улавливали эти сигналы смерти. Марионетка! Он сам и управлял ее телом с помощью невидимых нитей.

— Пухленький чудачок. А ведь когда-то был красив.

— Перестань!

— Ты старый, старый, а мне ведь только тридцать один год. Ах, Джордж, как же слеп ты был — работал, а я тем временем опять влюбилась... А Леонард просто прелесть, правда?

Он поднял пистолет, не глядя на нее.

— Кэти.

«Голова его — чистое золото...» — прошептала она.

— Кэти, не надо! — крикнул он.

«...Кудри его волнистые и черные, как вороново крыло... Руки его — золото, украшенное топазами!»

Откуда у нее эти слова «Песни песней»? Они звучат в *его* мозгу — как же получается, что *она* их произносит?

— Кэти, не заставляй меня это делать!

«Щеки его — цветник ароматный...» — бормотала она, закрыв глаза и неслышно ступая по комнате. — Живот его изваян из слоновой кости... Ноги его — мраморные столпы...»

— Кэти! — взвизгнул он.

Выстрел.

«Уста его — сладость...»

«...Вот кто мой возлюбленный...»

Еще выстрел.

Она упала.

— Кэти, Кэти, Кэти!!!

Он всадил в нее еще четыре пули.

Она лежала и дергалась. Ее бесчувственный рот широко раскрылся, и какой-то механизм, уже зверски изуродованный, заставлял ее повторять вновь и вновь: «Возлюбленный, возлюбленный...»

Джордж Хилл потерял сознание.

Он очнулся от прикосновения прохладной влажной ткани к его лбу.

— Все кончено, — сказал темноволосый человек.

— Кончено? — шепотом переспросил Джордж.

Темноволосый кивнул.

Джордж бессильно глянул на свои руки. Он помнил, что они были в крови. Он упал на пол, когда потерял сознание, но и сейчас в нем еще жило воспоминание о том, что по его рукам потоком льется настоящая кровь.

Сейчас руки его были чисто вымыты.

— Мне нужно уйти, — сказал Джордж Хилл.

— Если вы чувствуете, что можете...

— Вполне. — Он встал. — Уеду в Париж. Начну все сначала. Звонить Кэти и вообще ничего такого делать, наверно, не следует.

— Кэти мертва.

— Ах да, конечно, я же убил ее! Господи, кровь была совсем как настоящая...

— Мы очень гордимся этой деталью.

Хилл спустился на лифте в вестибюль и вышел на улицу. Лил дождь. Но ему хотелось часами бродить по городу. Он очистился от гнева и жажды убийства. Воспоминание было так ужасно, что он понимал: ему уже никогда не захочется убить. Даже если настоящая Кэти появилась бы сейчас перед ним, он возблагодарил бы бога и упал, позабыв обо всем

на свете, к ее ногам. Но она была мертва. Он сделал, что собирался. Он поправил закон, и никто об этом не узнает.

Прохладные капли дождя освежали лицо. Он должен немедленно уехать, пока не прошло это чувство очищения. В конце концов, какой смысл в этих «очистительных» процедурах, если снова браться за старое? Главное назначение кукол в том и заключается, чтобы предупреждать *реальные* преступления. Захотелось тебе избить, убить или помучить кого-нибудь, вот и отведи душу на марионетке... Возвращаться домой нет решительно никакого смысла. Возможно, Кэти сейчас там, а ему хотелось думать о ней только как о мертвой — он ведь об этом должным образом позаботился.

Он остановился у края тротуара и смотрел на проносящиеся мимо машины. Он глубоко вдыхал свежий воздух и ощущал, как постепенно спадает напряжение.

— Мистер Хилл? — проговорил голос рядом с ним.

— Да. В чем дело?

На его руке щелкнули наручники.

— Вы арестованы.

— Но...

— Следуйте за мной. Смит, арестуйте остальных наверху.

— Вы не имеете права...

— За убийство — имеем.

Гром грянул с неба.

Без десяти девять вечера. Вот уже десять дней как льет, не переставая, дождь. Он и сейчас поливает стены тюрьмы. Джордж высунул руки через решетку окна, и капли дождя теперь собирались в маленькие лужицы на его дрожащих ладонях.

Дверь лязгнула, но он не пошевелился, руки его по-прежнему мокнули под дождем. Адвокат глянул на спину Хилла, стоявшего на стуле у окна, и сказал:

— Все кончено. Сегодня ночью вас казнят.

— Я не убийца. Это была просто кукла, — сказал Хилл, прислушиваясь к шуму дождя.

— Таков закон, и ничего тут не поделаешь. Вы знаете. Других ведь тоже приговорили. Президент компании «Марионетки, инкорпорейтед» умрет в полночь, три его помощника — в час ночи. Ваша очередь — половина второго.

— Благодарю, — сказал Хилл. — Вы сделали все, что могли. Видимо, это все-таки было убийство, даже если убил я не живого человека. Намерение было, умысел и план тоже. Не хватало только живой Кэти.

— Вы попали в неудачный момент, — сказал адвокат. — Десять лет назад вам бы не вынесли смертного приговора. Через десять лет вас бы тоже не тронули. А сейчас им нужен предметный урок — мальчик для битья. Ажиотаж вокруг кукол принял за последний год просто фантастические размеры. Надо припугнуть публику, и припугнуть всерьез. Иначе бог знает до чего мы можем докатиться. У этой проблемы есть ведь и религиозно-этический аспект: где начинается — или кончается — жизнь, что такое роботы — живые существа или машины? В чем-то они очень близки к живым: они реагируют на внешние импульсы, они даже мыслят. Вы же знаете: два месяца назад был издан закон «О живых роботах». Под действие этого закона вы и подпали. Просто неудачный момент, только и всего...

— Правительство поступает правильно, теперь мне стало ясно, — сказал Хилл.

— Я рад, что вы понимаете позицию правосудия.

— Да. Не могут же они легализовать убийство. Даже такое условное — с применением телепатии,

механизмов и воска. С их стороны было бы лицемерием отпустить меня безнаказанным. Я совершил преступление. И все время с того часа чувствовал себя преступником. Чувствовал, что заслуживаю наказания. Странно, правда? Вот как общество властвует над сознанием человека. Оно заставляет человека чувствовать себя виновным даже тогда, когда вроде бы и нет оснований для этого...

— Мне пора. Может быть, у вас есть какие-нибудь поручения?

— Нет, спасибо, мне ничего не нужно.

— Прощайте, мистер Хилл.

Дверь захлопнулась.

Джордж Хилл продолжал стоять на стуле у окна, сплетя мокрые от дождя руки за решеткой. На стене вспыхнула красная лампочка, и голос из репродуктора сказал:

— Мистер Хилл, здесь ваша жена. Она просит свидания с вами.

Он стиснул решетку руками.

«Она мертва», — подумал он.

— Мистер Хилл, — снова окликнул его голос.

— Она мертва. Я убил ее.

— Ваша жена ожидает здесь. Вы хотите ее видеть?

— Я видел, как она упала, я застрелил ее, я видел, как она упала мертвой!

— Мистер Хилл, вы меня слышите?

— Да-да, — закричал он, колотя о стену кулаками. — Слышу! Слышу вас! Она мертва, мертва и пусть оставит меня в покое! Я убил ее, я не хочу ее видеть, она мертва!

Пауза.

— Хорошо, мистер Хилл, — пробормотал голос.

Красный свет погас.

В небе вспыхнула молния, озарила его лицо. Он

прижался разгоряченной щекой к прутьям решетки и долго стоял так, а дождь лил и лил. Наконец где-то внизу открылась дверь, и из тюремной канцелярии вышли две фигуры в плащах. Они остановились под ярким дуговым фонарем и подняли голову.

Это была Кэти. И рядом с ней Леонард Фелпс.

— Кэти!

Она отвернулась. Мужчина взял ее под руку. Они побежали под черным дождем через дорогу и сели в приземистую машину.

— Кэти! — крича, он дергал прутья решетки, колотил кулаками по бетонному подоконнику. — Она жива! Эй, надзиратель! Я видел ее. Она жива! Я не убил ее, меня можно отпустить на свободу! Я никого не убивал, это все шутка, ошибка, я видел, видел ее! Кэти, вернись, скажи им, что ты жива! Кэти!

В камеру вбежали надзиратели.

— Вы не смеете казнить меня! Я не совершил никакого преступления! Кэти жива, я сейчас видел ее!

— Мы тоже видели ее, сэр.

— Тогда освободите меня! Освободите!

«Этого не может быть, они просто сошли с ума!» Он задохнулся и едва не упал.

— Суд уже вынес свой приговор, сэр.

— Но это несправедливо!

Он подпрыгнул и вцепился в решетку, дико крича.

Машина тронулась с места, увозя Кэти и Леонарда. Увозя их в Париж, и в Афины, и в Венецию, а весной — в Лондон, летом — в Стокгольм, осенью — в Вену.

— Кэти, вернись! Кэти, ты не можешь так со мной поступить!

Красные задние фары машины удалялись, подмигивая сквозь завесу холодного дождя. Надзиратели надвинулись сзади и схватили его, а он все продолжал кричать.

*Земляничное окошко**

Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами — тут были и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляли большое стекло посередине; одни были цветом, как вино, как настойка или фруктовое желе, другие прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздь блеклого винограда. И наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой рассветной дымкой, а свежескошенная лужайка была точь-в-точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный, осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— А-ах...

Он проснулся.

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Земляничное окошко: Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1965. — (Библ. совр. фантаст., т. 3). — Пер. под.: Bradbury R. The Strawberry Window: A Medicine for Melancholy. Doubleday, N. Y., 1959.

Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса... Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей, среди синих холмов... И тогда он вспомнил.

Мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спросонок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совсем тихо, боялся шелхнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним страшное оцепенение; вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак: то к одному окну подойдет, то к другому — а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко, — и подолгу смотрит на ясные, по чужие звезды.

— Кэрри, — прошептал он.

Она не слышала.

— Кэрри, — шепотом повторил он, — мне надо сказать тебе... целый месяц собирался. Завтра... завтра утром у нас будет...

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд, точно каменная, и даже не смотрела в его сторону.

Он зажмурился.

Вот если бы солнце никогда не заходило, думал он, если бы ночей совсем не было... ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка, мальчики в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству — уборка, стряпня, огород... Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки, и тогда в темноте, как ночные птицы, ко всем слетаются воспоминания.

Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома, — сказала она.

В полутьме ее глаза блестели, полные слез.

— Потерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпенья!

Двигаясь, как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб... — в ее голосе не слышно горечи, он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. — За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной... ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю... И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они и звенят. А в летний вечер сидишь на веранде, и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости... все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата, — сказал он. — Марс — место чужое. Тут все не как дома, и пахнет чудно,

и на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ногами про это думаю. А на Земле какой славный наш городок.

— Весной и летом весь в зелени, — подхватила жена. — А осенью все желтое да красное. И дом у нас был славный. И какой старый, господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам, бывало, я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья: собрались ночью вокруг родные и баюкают — спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народу — отцы, деды, внуки, тогда он с годами и обживется, и согреется. А эта наша коробка... да она и не знает, что я тут, ей все едино, жива я или померла. И голос у нее жестяной, а жесть — она холодная. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Погреба нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул.

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ногами слушаю, как ты тоскуешь

по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти высохшие... и... — Он запнулся, трудно глотнул. — Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за десять лет, так вот, я их истратил, все как есть, без остатка.

— Боб!!!

— Я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят, и...

— Как же так, Боб? — она повернулась к нему. — Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, и терпели здешнюю жизнь, и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся, — сказал он. — Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря — ну что ж, чемоданы вот они, а ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

— Боб, Боб... — шептала она.

— Не говори сейчас, не надо, — попросил муж.

— Боб, Боб...

Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове аккуратные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развевал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова, лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь, в длинный-длинный туннель — когда же там, в конце, забрезжит рассвет?

Они поднялись чуть свет, но тесный домишко не ожил — стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы — искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом наконец отворили дверь (в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубоватые пески) и вышли под голое, пристальное, холодное небо и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На ракетодром, — ответил муж. — Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой; он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс, — начал он негромко, — Верю, придет время и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем, каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескакивает — и под конец добирается до того места,

где мечет икру, а потом помирает, и все начинается сызнова. Родовая память, инстинкт — назови, как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились у них под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. *Еще дальше.* А почему? Когда-нибудь настанет день — и наше солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает, а если и пострадает, так, может, Плутон уцелеет, а если нет, что тогда будет с нами, то бишь с нашими праправнуками?

Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы.

— Что ж, а мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер... скажем, шестая планета девятисто седьмой звездной системы или планета номер два системы девятисто девять! И такая это чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь! Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подалее — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб...

— погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтоб поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтоб разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят — для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри знай что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они

тикают в каждой живой твари, и знаешь, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, воп куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом, хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью — так вот, сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: **ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД!** Когда-то, мальчишкой, я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает — чего ты? А я отвечаю — мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит — ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтоб Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия, так вот, есть один-единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять Вселенную. Тогда, если где-то в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Да-

же если на Землю нападёт ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере или где там ещё люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал, вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами всё поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова, и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь не велика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь — это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит: если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал, чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли — и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-богу, я этим старьем воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит Старое того, чтоб вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого Старого. Ну ладно, а Новое стоит того, чтоб вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сде-

дать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая, того гляди, затолкает нас обратно на Землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром прибыла грузовая ракета, — сказал он негромко. — Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что открылись.

— Расскажи еще про лосося, — сказал один из мальчиков.

Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой машине; кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами и тюками — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было перенумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: «Марс, Нью-Толидо, Роберту Прентису».

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчики спрыгнули наземь и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря и вся семья стояла и оглядывала их.

— Поди сюда, Кэрри...

Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо.

— Послушай-на.

Деревянные ступени заскрипели, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят, а?

Она стояла на ветхом крыльчке сосредоточенная, задумчивая и не могла вымолвить ни слова в ответ.

Он повел рукой:

— Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас только и есть парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да старая кровать.

— Все наши деньги, Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней.

— Ты же не сердись? Ну-ка, погляди на меня! Ясно, не сердись. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девятьсот шестьдесят первом. И пожалуйста, пускай солнце вырывается!

Они обошли другие ящики, читая номера и надписи: качели с веранды, качалка, китайские подвески...

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что она видит, он тоже смотрел в это окошко. Вот он, Марс, холодное небо потеплело, мертвые моря запылали, холмы стали как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие уголья. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым, нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непреходящей зари. И, наклонясь, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал:

— Через год уже и здесь будет город. Будет теневая улица, будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привычное, а там дальше — больше, скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбегал с крыльца и подошел к последнему, еще не вскрытому ящичку, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал парусину.

— Угадай, что это? — сказал он.

— Моя кухонная плита? Печка?

— Ничего похожего! — он тихонько, ласково улыбнулся. — Спой мне песенку, — попросил он.

— Ты совсем с ума сошел, Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да сплыли — и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею — «Дженни, Дженни, голубка моя...»

— Вот и спой.

Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча шарил там и начал напевать вполголоса; наконец он нащупал то, что искал, и в утренней тишине прозвучал чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так, — сказал Роберт Прентис. — А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все вместе, дружно!

Синяя Бутылка*

Столбики солнечных часов лежали, поваленные, на белой гальке. Птицы, парившие когда-то в воздухе, теперь летели в древних небесах песка и камней, их песни смолкли. По дну умерших морей широкими реками струилась пыль, и, когда ветер приказывал ей вновь воссоздать древнюю трагедию потопа, она вытекала из чаши моря и затопляла землю. Города, как мозаикой, были выложены молчаньем, временем остановленным и сохраненным, резервуарами и фонтанами памяти и тишины.

Марс был мертв.

Вдруг в бесконечном безмолвии, где-то очень далеко, возникло жужжание насекомого; сперва еле слышное, оно стало расти среди светло-коричневых холмов, заполнило пронизанный солнцем воздух, и наконец широкая бетонированная дорога завибрировала, и в дряхлых городах, шепча, посыпалась пыль.

Жужжание оборвалось.

В мерцании и тишине полудня Альберт Бек и Леонард Крэйг смотрели из старого автомобиля-вездехода

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Синяя Бутылка: Пер. с англ. — М.: Известия, 1980. — («Неделя», № 17). — Пер. изд.: Bradbury R. The Blue Bottle: A Sea of Space. An Anthology of SF. Doubleday, N. Y., 1970.

© Перевод на русский язык, «Известия», 1980.

на мертвый город, неподвижный под их взглядом, но ждавший их крика:

— Привет!

Стеклянная башня дрогнула и пролилась бесшумным потоком пыли.

— Отзовитесь!

И рухнула другая.

Здания разваливались одно за другим, послушные зовущему их к смерти голосу Бека. Высеченные из камня звери с огромными крыльями дружно срывались с высоты, падали вниз и вдребезги разбивали плиты дворов и фонтаны. Откликаясь на зов Бека, они стонали, переворачивались, с треском вставали на дыбы, а потом, словно приняв решение, бросались вниз, рассекая воздух, с пустыми глазами и застывшими гримасами ртов, и вдруг их острые, вечно голодные зубы шрапнелью рассыпались по каменным плитам.

Бек ждал. Башни больше не рушились.

— Теперь идти не опасно.

Даже не шевельнувшись, Крайг спросил:

— Все за тем же?

Бек кивнул.

— За этой проклятой бутылкой! — воскликнул Крайг. — Не понимаю. Почему все за ней гоняются?

Бек вылез из машины.

— Кому удавалось ее найти, — ответил он, — те потом не рассказывали, не объясняли. Но — она очень древняя. Как пустыня, как умершие моря — и в ней может оказаться *все*. Так рассказывает легенда. А уж раз может оказаться *все*... ты готов на все, только бы ее найти.

— Ты, но не я, — сказал Крайг. Губы его оставались почти неподвижными, в щелочках полужакрытых глаз поблескивала чуть заметно искорка смеха. Он лениво потянулся. — Я просто решил проехаться. Лучше сидеть с тобой в машине, чем изнывать от жары.

На вездеход старой-престарой конструкции Бек наткнулся месяцем раньше, еще до того, как к нему присоединился Крэйг. Машина была частью мусора, оставшегося на планете после Первого Индустриального Вторжения, которое кончилось, когда люди двинулись дальше, к звездам. Бек привел в порядок двигатель и стал разъезжать по мертвым городам, по землям лентяев и бродяг, мечтателей и бездельников — всех тех, кто застрял на задворках космоса, кого, как его или Крэйга, никакая работа никогда особенно не прельщала и для кого Марс поэтому оказался самым лучшим местом во вселенной.

— Синюю Бутылку марсиане сделали пять, может, и десять тысяч лет назад, — сказал Бек. — Она из их собственного, марсианского, стекла — и ее все теряют и находят, теряют и находят.

Бек не отрывал взгляда от мерцающего знойного марева над развалинами. «Всю жизнь, — думал он, — и ничего не делал и не сделал ни вот столечко. Другие, лучшие, чем я, свершали в это время многое: улетали на Меркурий, Венеру, а то и вообще из солнечной системы. Но не я. Однако Синяя Бутылка может *все изменить*».

Он повернулся и пошел прочь от вездехода.

Крэйг тоже вылез и, быстро догнав Бека, пошел рядом.

— Сколько ты охотишься за ней, лет десять? — спросил он. — Ты дергаешься во сне, тебя подбрасывает, а днем ты все время потеешь. Тебе так хочется разыскать эту чертову бутылку, а ведь ты даже не знаешь, что в ней. Ты ненормальный, Бек.

— Заткнись, — огрызнулся Бек, ударом ноги отбрасывая с дороги камешки.

Они вошли в руины и зашагали по трещинам, прорезавшим каменные плиты хрупкими очертаниями марсианских зверей, и эти давно вымершие создания

появлялись и исчезали от самых легких вздохов ветерка, передвигавшего безмолвную пыль.

— Подожди, — сказал Бек.

Он сложил ладони рупором и закричал во весь голос:

— Отзовитесь!

— ...витесь! — отозвалось эхо, и снова рухнули башни. Исчезли колонны и фонтаны. Таковы были эти города. Иногда стоило сказать слово, и падала башня, прекрасная, как симфония. Смотришь, и будто кантата Баха рассыпается у тебя на глазах.

Еще мгновение — и прах похоронен в прахе. Пыль осела. И только два здания остались стоять, как прежде.

Бек кивнул другу и двинулся вперед.

Они начали поиски.

Крэйг поднял глаза и, чуть заметно улыбаясь, сказал:

— А вдруг в этой бутылке маленькая женщина, сложенная гармошкой? Ну как складная чашка или как японский цветок — ставишь его в воду, и он распускается.

— Женщина мне не нужна.

— А может быть, как раз и нужна. Может быть, настоящей женщины, такой, чтобы тебя любила, у тебя никогда не было, и ты тайне надеешься, что именно ее ты и найдешь в этой бутылке. — Крэйг задумчиво пожевал губами. — Или, может, в ней что-нибудь из твоего детства. Все завязано в маленький платочек — озеро, дерево, на которое ты лазил, зеленая трава, река. Что ты на это скажешь?

Взгляд Бека остановился на какой-то далекой-далекой точке.

— Иногда мне кажется... да, почти это, что-то очень близкое. Прошрое... жизнь на Земле. Не знаю.

Крэйг кивнул:

— Что в бутылке — зависит, может быть, от того, кто в нее посмотрит. Вот если бы в ней оказалось чуточку виски...

— Ищи, не ленись, — сказал Бек.

Семь комнат были полны сверкания и блеска; от самого пола до потолочных балок громоздились на полках бочонки, кувшины, бутылки, вазы из красного, розового, желтого, фиолетового и черного стекла. Бек разбивал сосуды один за другим, убирал с дороги раз навсегда, чтобы ему не пришлось их перебирать и пересматривать заново.

Он покончил с одной комнатой и сейчас стоял, готовый вторгнуться в следующую. Сделать это он почти боялся. Боялся, что на этот раз наконец найдет Сняю Бутылку, что поиски закончатся и из его жизни уйдет смысл. Лишь после того, как десять лет назад он всю дорогу от Венеры к Юпитеру слушал рассказы одержимых страстью к путешествиям о Синей Бутылке, в жизни у него появилась цель. Лихорадка зажгла его, и с той поры он пылал. Подступись к делу правильно — и надежда найти Бутылку наполнит содержанием всю твою жизнь. Впереди у тебя лет тридцать, не меньше, если только ты не будешь, разыскивая Бутылку, лезть из кожи и не признаешься даже себе, что вовсе не Бутылка тебе нужна, а сами поиски, азарт охоты, пыль, города и бесконечный путь.

Послышалось что-то вроде приглушенного фырканья. Бек повернулся и подошел к выходящему во двор окну. Неподалеку, едва слышно мурлыча, остановился небольшой серый мотоцикл-дюноход. С сиденья слез полный блондин и стал оглядывать город. «Тоже ищет, — подумал Бек и вздохнул. — Нас тысячи, и мы все ищем, ищем. Но этих городов, городков и селений, рушащихся от твоего крика, тоже тысячи,

и только за тысячу лет можно разобрать и просеять все, что от них осталось».

В дверном проеме появился Крэйг.

— Ну, как дела?

— Не везет. — Бек втянул носом воздух. — Никакого запаха не чувствуешь?

— Запаха? — И Крэйг посмотрел вокруг.

— Вроде... виски «бурбон».

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Крэйг. — Да ведь это от меня.

— От тебя?!

— Только что выпил. Нашел сейчас вон в той комнате. Как обычно, расшвырял кучу бутылок, и в одной оказалось немножко «бурбона» — вот я и выпил.

Бека забила дрожь, он смотрел на Крэйга, не отрывая глаз.

— Откуда... откуда «бурбону» оказаться здесь, в марсианской бутылке? — У него похолодели руки. Он медленно шагнул вперед: — Покажи скорее мне!

— Да ведь это наверняка не...

— Покажи, черт бы тебя побрал!

Бутылка из небесно-синего марсианского стекла, совсем небольшая, стояла в углу, и, когда Бек ставил ее на стол, рука его не почувствовала веса — словно бутылка, легкая и прозрачная, была соткана из воздуха.

— В ней до половины «бурбона», — сказал Крэйг.

— Что ты выдумываешь, она пустая! — воскликнул Бек.

— Потряси ее.

Бек поднял бутылку и встряхнул.

— Слышишь, булькает?

— Нет, не слышу.

— А я слышу ясно.

Бек поставил ее назад, на стол. Солнечный свет, проникая сквозь боковое окно, остриями лучей высекал из узкого сосуда синие искры. Это была синева звезды, которую держат на ладони. Синева неглубокой океанской бухты в полдень. Синева бриллианта в лучах утренней зари.

— Это она, — выдохнул Бек. — Я знаю, что это она. Больше искать не надо. Мы нашли Синюю Бутылку.

Крэйг посмотрел на него недоверчиво:

— Нет, ты и вправду ничего в ней не видишь?

— Ничего. Но... — Бек наклонился к бутылке и стал пристально рассматривать глубины этой вселенной из синего стекла. — Может быть, если я откупорю и выпущу наружу то, что там внутри, я узнаю наверняка.

— Я закупорил плотно. Давай открою.

Крэйг протянул к бутылке руку.

— Прошу прощения, джентльмены, — слышалось у них за спиной.

Они обернулись и увидели полного блондина, в руке у него был пистолет. Он не смотрел на их лица, он смотрел только на Синюю Бутылку. Лицо у него расплылось в улыбке.

— Терпеть не могу прибегать к помощи оружия, но в данном случае это неизбежно — вон то произведение искусства нужно мне просто позарез. Предлагаю отдать его добровольно.

Бек почти обрадовался. Было, пожалуй, даже что-то красивое в том, как эти два события совместились во времени; в глубине души он желал себе чего-нибудь в этом роде — чтобы у него украли сокровище, когда он будет уже держать его в руках. Теперь предстояло не меньше четырех-пяти лет новых поисков, погони, борьбы, выигрышей и потерь.

— Ну так давайте же ее мне, — сказал блондин.

Он поднял пистолет.

Бек протянул ему бутылку.

— Невероятно. Просто невероятно, — сказал полный блондин. — Так легко, что даже не верится: зашел, услышал голоса и вдруг мне дают Синюю Бутылку. Невероятно!

И он, негромко посмеиваясь, не спеша направился из комнаты к выходу, в сияние дня.

Под двумя холодными марсианскими лунами лежали скелеты и прах полных городов. Подпрыгивая на ухабах, дребезжа, вездеход полз по разрушившейся дороге мимо этих городов, где фонтаны, гиростаты, уцелевшая мебель, картины, металлические страницы древних книг были запорошены штукатуркой, высохшими крыльями насекомых. Полз мимо городов, которые, давно перестав быть городами, стали мельчайшей пылью, а эта пыль бездумными цветами распускалась на лозах ветров то здесь, то там, то рядом, то за много миль отсюда — как песок в гигантских песочных часах, снова и снова строящий свои пирамиды. Безмолвие пропускало машину и смыкалось сразу же позади.

— Нам никогда не найти его, — сказал Крэйг. — Черт бы побрал эти дороги! Развалились от времени — сплошные ухабы и рытвины. Ему, на мотоцикле, легче, он может петлять и лавировать. А, черт!

Они резко свернули, чтобы объехать совсем плохой участок дороги. Их машина действовала как ластик: впереди ровная серая поверхность, они наезжают на нее — и из-под вековой пыли проступают золото и яркая зелень древней марсианской мозаики, которой выложена дорога.

— Подожди! — крикнул Бек и остановил машину. — Что-то мелькнуло сзади.

— Где?

Они проехали ярдов сто назад.

— Да вон же! Видишь? Это он.

В канаве у дороги валялся мотоцикл-дюпоход, а поперек него в неудобной позе лежал блондин. Он не шевелился. Глаза его были широко открыты, и они тускло блеснули, когда Бек осветил фонариком.

— Где бутылка? — спросил Крэйг.

Бек срыгнул в канаву и подобрал пистолет блондина.

— Не знаю. Здесь ее не видно.

— Отчего он умер?

— И этого я не знаю.

— Машина вроде бы в порядке. Это не авария.

Бек перевернул тело.

— Ран нет. Все выглядит так, будто он просто... остановился, по собственной своей воле.

— Может, сердечный приступ? — предположил Крэйг. — Разволновался из-за бутылки. Отправился сюда, чтобы получше спрятаться. Думал, все обойдется, но приступ его угробил.

— А где тогда Синяя Бутылка?

— Кто-нибудь проходил мимо. О господи, ты же знаешь, сколько народу ее ищет...

Внимательными взглядами они обвели окружающий их мрак. Впереди, на синих холмах, в усыпанной звездами тьме, что-то двигалось.

— Вон, гляди, — показал Бек. — Три пешехода.

— Наверно, это они и...

— О боже, смотри, смотри!

Внизу, в канаве, фигура полного блондина засветилась, начала таять. Глаза его были теперь как два лупных камня на дне быстрого потока. Лицо исчезало, превращалось в пламя. Волосы стали похожи на короткие нити фейерверка, они горели и плевались огнем. На глазах у Бека и Крэйга тело задымилось.

Пальцы задержались в пламени. И, как будто гигантский молот ударил по стеклянной статуе, туловище рассыпалось в пыль, и она поднялась и исчезла в пылании огненных хлопьев, стала облачком тумана, и ночной ветерок унес ее по ту сторону дороги.

— Они, наверно... что-то с ним сделали, — сказал Крайг. — Те трое... у них, видно, какое-то новое оружие.

— Но ведь такое уже бывало, — возразил Бек. — С теми, кто находил Синюю Бутылку, — так я слышал. Они исчезали. И Синяя Бутылка переходила к другим, и те тоже исчезали. — Он потрянул головой. — Когда тело лопнуло, казалось, будто валетел миллион светлячков...

— Попытаешься догнать?

Бек вернулся в машину. Окинул взглядом дюны, холмы праха и молчания.

— Нелегко будет, но, пожалуй, попробую. Теперь я... просто не могу иначе. — Он помолчал, а когда заговорил опять, то обращался уже не к Крайгу: — Кажется, я знаю, что в Синей Бутылке... Наконец-то я понял: в ней то, чего я больше всего хочу. И оно меня ждет.

— Я не поеду, — сказал Крайг, подходя к машине, где, положив руки на колени, сидел в темноте Бек. — Не поеду гоняться за тремя вооруженными людьми. Я хочу жить, Бек, всего только жить. По мне, так этой бутылки хоть бы на свете не было. Рисковать ради нее своей шкурой я не намерен. Но тебе желаю удачи.

— Спасибо, — сказал Бек.

И поехал за дюны.

Прохладная ночь стекала, как вода, по прозрачному колпаку вездехода.

Реакто тормозя в высохших руслах мертвых рек, на россыпях гальки в меловых потеках, Бек находил свой путь между огромных скал. Полосы света от двух марсианских лун окрашивали в желто-золотистый цвет высеченные на скалах барельефы богов и животных, лица в милю высотой, на которых вырубленные письмена увековечивали марсианскую историю; невероятные лица с открытыми глазами-пещерами.

От рева мотора срывались и падали со скал камни. Части древних скульптур, золотившихся в свете лун, обрушивались каменным ливнем и исчезали в холодной, как колодезная вода, синей тьме.

Бек ехал, и рев мотора возвращал мысли его назад, ко всем ночам последних десяти лет, ночам, когда он разжигал костры на дне высохших морей и старательно, не спеша готовил себе пищу. И, заснув, видел сны. Всегда одно и то же: будто он хочет чего-то. Но не знает чего. В годы молодости была тяжелая жизнь на Земле, паника 2130 года, голод, разруха, беспорядки, нужда. Потом — шатание по планетам, годы без женщин, без любви, одинокие годы. Выходишь из тьмы на свет, из чрева матери в мир, и что ты находишь в нем для себя?

Ну а тот мертвый, в канаве? Не искал ли он тоже всегда чего-то необычного? Такого, чего у него не было? И что вообще есть на свете для таких, как он, Бек? Или для кого бы то ни было? Да и есть ли на свете хоть что-нибудь, к чему стоило бы стремиться?

Есть. Синяя Бутылка.

Он резко затормозил, выпрыгнул с пистолетом наготове. Начал перебегать, пригибаясь, от дюны к дюне. Впереди, на холодном песке, рядом лежали, вытянувшись, те трое. Они были с Земли, в одежде из грубой ткани, с загорелыми лицами и огрубевшими руками. Рядом с ними поблескивала в свете звезд Синяя Бутылка.

На глазах у Бека тела начали таять. Они исчезали, становясь струйками пара, каплями росы, прозрачными кристаллами. Мгновение — и от них не осталось и следа.

Когда, прилиная к его губам и щекам, повисая на ресницах, просыпался дождь пепла, Бек почувствовал холод.

Он окаменел.

Полный блондин. Мертвые, исчезающие на глазах. Крайг говорил, это какое-то новое оружие...

Нет.

Никакое не оружие.

Просто Синяя Бутылка.

Они откупоривали ее и находили в ней то, чего больше всего желали. Все долгие, одинокие годы несчастливые, мучимые неутоленными желаниями, люди открывали ее в надежде найти то, чего не нашли на планетах мироздания. И наконец находили — так же, как нашли эти трое. Теперь было понятно, почему Бутылка так быстро переходит от одного человека к другому и почему исчезают люди. Урожай снят — и вот уж мякина шевелится в ветре на песке по берегам мертвых морей. Становится пламенем, светлячками. Туманом.

Бек поднял Бутылку и на расстоянии вытянутой руки начал ее рассматривать. Его глаза ярко блестели. Руки дрожали.

Так вот, значит, чего на самом деле хотят все люди? Это и есть их тайное желание, запрятанное так глубоко, что о нем не догадаешься? То, к чему их бессознательно тянет? Вот, значит, чего безотчетно ищет, используя для этих поисков и собственное чувство вины, каждый человек?

Он ищет смерти.

Конец сомнениям, мукам, нужде, одиночеству, безнадежности, страху — конца всему.

Но только каждый ли?

Нет. Например, Крайг не ищет.

Бек поднял Бутылку выше. «Как просто, — подумал он, — и как правильно. Только этого я всегда и хотел. И ничего другого. Ничего».

Пустая Бутылка была открыта и поблескивала в свете звезд синевой. Бек поднес Бутылку ко рту и сколько мог, так чтобы заполнить легкие, втянул выходящий из нее воздух.

«Наконец-то», — подумал он.

Напряжение мгновенно его покинуло. Телу стало удивительно прохладно, потом — удивительно тепло. Он знал, что скользит по бесконечному звездному склону вниз, во тьму, пьянящую как вино. Теперь он плавал в синем вине, и в белом вине, и в красном. В груди у него горели свечи и крутились огненные колеса. Он почувствовал, как от него отделяются руки. Почувствовал, как улетают ноги — вот забавно! Он засмеялся. Не переставая смеяться, закрыл глаза.

Впервые в жизни он был счастлив.

Синяя Бутылка упала на холодный песок.

Крайг шел и насвистывал. Светало. И вдруг он увидел Бутылку — она лежала, сверкая, на белом песке, в первых розовых лучах солнца, и около нее никого не было. Когда он наклонился поднять ее, послышался жаркий шепот пскр. Несколько багровых и оранжевых светлячков мелькнули в воздухе и унеслись прочь.

Было тихо-тихо.

— Черт побери! — Он посмотрел на мертвые окна города неподалеку: — Эй, Бек!

И в прах рассыпалась башня, высокая, тонкая.

— Вот твоё сокровище, Бек! Мне оно не нужно. Приходи и забирай!

— ...забирай! — откликнулось эхо, и рухнула последняя башня.

Крэйг ждал.

— Ну уж это, я вам скажу!.. — не выдержал он. — Вот она, Бутылка, в руках, а старина Бек неизвестно где.

Он встряхнул синий сосуд.

Внутри что-то булькнуло.

— Пожалуйста вам! Как в тот раз. Полна «бурбона», ей-богу!

Он сделал хороший глоток, вытер рот. Опустив бутылку и раскачивая ее, сказал:

— Столько суеты ради двух-трех глотков «бурбона»! Подожду-ка я здесь старину Бека и отдам ему эту чертову бутылку. А пока... не выпьете ли еще, мистер Крэйг? Спасибо, не откажусь.

Лишь один звук нарушал безмолвие мертвой земли — бульканье жидкости, льющейся в пересохшее горло. Синяя Бутылка сверкала в лучах утреннего солнца.

Крэйг блаженно улыбнулся и отхлебнул снова.

Убийца*

Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался вальс из «Веселой вдовы». Из-за другой — «Послеполуденный отдых фавна». Из-за третьей — «Поцелуй еще разок!». Он повернул за угол, «Танец с саблями» захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюль и сковородок, ножей и вилок, жестяными громами и молниями. Все это схлынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошалевшая от Пятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила.

Негромко зажужжал радиобраслет.

— Слушаю.

— Пап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги.

— Да, да, сынок. Сейчас я занят.

— Я только хотел напомнить, пап, — сказал браслет.

Голос сына потонул в увертюре Чайковского к «Ромео и Джульетте», она вдруг затопила длинные коридоры.

Психиатр шел по улью, где лепились друг к другу

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Убийца: Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1965. — (Библиот. совр. фантаст., т. 3). — Пер. изд.: Bradbury R. The Murderer: The Golden Apples of the Sun. Doubleday, N. Y., 1956.

лаборатории и кабинеты, и со всех сторон на него сыпалась цветочная пыльца мелодий. Стравинский мешался с Бахом, Гайди безуспешно отбивался от Рахманинова, Шуберт погибал под ударами Дюка Элингтона. Секретарши мурлыкали себе под нос, врачи насвистывали — все по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх, полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка и с потолка раздался голос:

— Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер девять.

Он отпер дверь и вошел, позади щелкнул замок.

— Только вас не хватало, — сказал арестант и улыбнулся.

Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная, она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце внезапно проглянуло среди ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза.

— Я пришел вам помочь, — сказал психиатр.

И нахмурился. Что-то в комнате не так. Он ощутил это еще с порога. Неуверенно огляделся. Арестант засмеялся:

— Удивились, что тут так тихо? Просто я коннул радио.

«Буйный», — подумал врач.

Арестант прочел его мысли, улыбнулся и успокоительно поднял руку:

— Нет-нет, я так только с машинками, которые тавкают.

На сером ковре валялись осколки ламп и клочки

проводов от сорванного со стены радио. Не глядя на них, чувствуя, как его обдаёт теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента; необычная тишина давила, словно перед грозой.

— Вы — Элберт Брок, именующий себя Убийцей?

Брок удовлетворенно кивнул.

— Прежде чем мы начнем... — мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет. Взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал покрепче — крак! — и вернул ошарашенному психиатру обломки с таким видом, словно оказал и себе, и ему величайшее благодеяние. — Вот так-то лучше.

Врач во все глаза смотрел на загубленный аппарат.

— Немало с вас, наверно, взыскивают за убытки.

— Наплевать! — улыбнулся пациент. — Как поется в старой песенке, «Мне плевать, что станется со мною!» — вполголоса пропел он.

— Начнем? — спросил врач.

— Извольте. Первой жертвой, одной из первых, был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я задохся от него в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохся насмерть. Потом я пристрелил телевизор!

— М-мм, — промычал психиатр.

— Всадил в кинескоп шесть пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра.

— У вас богатое воображение.

— Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем.

— Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?

— Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его Машина-призрак. Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит

вашему «я» перелиться по проводам. А если не пожелает, просто высосет его, и на другом конце провода окажетесь уже не вы, а какая-то дохлая рыба, не живой теплый голос, а только сталь, медь и пластмасса. По телефону очень легко сказать не то, что надо; вовсе и не хотел это говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага. И потом телефон — необыкновенно удобная штука! Стоит и прямо-таки требует: позвони кому-нибудь, а тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят мне, звонят, звонят без конца. Ни минуты покоя, черт возьми. Не телефон — так телевизор, или радио, или патефон. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не слепят рекламой на небесах, так глушат джазом в каждом ресторане; едешь в автобусе на работу — и тут музыка и реклама. А если не музыка, так служебный селектор и главное орудие пытки — радиобраслет; жена и друзья вызывают меня каждые пять минут. И что за секрет у этих штук, чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает: делать мне нечего, скучища, а на руке этот самый наручный телефон — дай-ка позвоню старине Джо. Алло, алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество, очень люблю... Но вот жена в сотый раз спрашивает: «Ты сейчас где, милый?» — а через минуту вызывает приятель и говорит: «Слушай, отличный анекдот: один парень...» А потом кто-то орет: «Вас вызывает Статистическое бюро. Какой марки резинку вы жуете в данную минуту?» Ну, знаете!

— Как вы себя чувствовали всю эту неделю?

— А так: вот-вот взорвусь. Или начну биться головой о стену. В тот день в конторе я и сделал, что надо.

— А именно?

— Плеснул воды в селектор.

Психиатр сделал пометку в блокноте.

— И вывели его из строя?

— Конечно! То-то была потеха! Стенографистки забегали, как угорелые! Крик, суматоха!

— И вам на время полегчало, а?

— Еще бы! А днем меня осенило, я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как раз заверещал: «Говорит Статистическое бюро, девятый отдел. Что вы сегодня ели на обед?» — и тут я вышиб из машинки дух.

— И вам еще полегчало, а?

— Я вошел во вкус. — Брок потер руки. — Дай-ка, думаю, подниму единоличную революцию, надо же человеку освободиться от всех этих удобств! Кому они, спрашивается, удобны? Другьям-приятелям? «Здорово, Эл, решил с тобой поболтать, я сейчас в Грин-хилле, в гардеробной. Только что я их тут всех сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл! Удачный денек! А сейчас выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно.» Еще удобно моему начальству — я разъезжаю по делам службы, а в машине радио, и они всегда могут со мной связаться. Связаться! Мягко сказано. Связаться, черта с два! Связать по рукам и ногам! Заграбастать, зацапать, раздавить, измолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя на минуту выйти из машины, непременно надо доложить: «Остановился у беззаконки, зайду в уборную.» — «Ладно, Брок, валяйте.» «Брок, чего вы столько возились?» — «Виноват, сэр!» — «В другой раз не копайтесь!» — «Слушаю, сэр!» Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил квартиру шоколадного мороженого и досыта накормил свой передатчик.

— Почему вы выбрали для этой цели именно шоколадное мороженое?

Брок чуть призадумался, потом улыбнулся:

— Это мое любимое лакомство.

— Вот как, — сказал врач.

— Я решил: черт подери, что годится для меня, годится и для радио в моей машине.

— Почему вы решили накормить передатчик именно мороженым?

— В тот день была жара.

— И что же дальше? — помолчав, спросил врач.

— А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь окайное радио трещало без передышки. Брок, туда, Брок, сюда, Брок, доложите, когда пришли, Брок, доложите, когда ушли, хорошо, Брок, обеденный перерыв, Брок, перерыв кончился, Брок, Брок, Брок, Брок... Я наслаждался тишиной, прямо как мороженым.

— Вы, видно, большой любитель мороженого.

— Я ездил, ездил и все слушал тишину. Как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины! Сажу в машине и улыбаюсь, и чувствую — в ушах мягкая фланель. Я наслаждался, я просто упивался, это была Свобода!

— Продолжайте!

— Потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один напрокат и в тот же вечер повез в автобусе домой. А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с женами: я, мол, уже на Сорок третьей улице... на Сорок четвертой... на Сорок девятой... поворачиваю на Шестьдесят первую... А один супруг бранится: «Хватит тебе околачиваться в баре, черт возьми! Иди домой и разогрей обед, я уже на Семидесятой!» А репродуктор орет «Сказки венского леса» — точь-в-точь канарейка птощак насвистывает про лакомые зернышки. И тут я включаю диатермический аппарат! Помехи! Перебои! Все жены отрезаны от брюзжания замученных за

день мужей. Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые отпрыски только что запустили камнем в окно! «Венский лес» срублен под корень, канарейке свернули шею. *Ти-ши-на!* Пугающая внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы!

— Вас забрали в полицию?

— Пришлось остановить автобус. Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу, мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш ведьм, сумбур, светопредставление. Митинг в обезьяннике! Прибыла аварийная команда, меня мигом засекли, отчитали, оштрафовали, я и оглянуться не успел, как очутился дома, — понятно, без аппарата.

— Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действий кажется мне не слишком... э-э... разумным. Если вам не нравится радиотрансляция, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Подавайте петиции, добивайтесь запретов и ограничений в законодательном порядке. В конце концов, у нас же демократия!

— А я так называемое меньшинство, — сказал Брок. — Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И везде меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод, не иду в ногу со временем.

— Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату? Надо подчиняться большинству.

— Так ведь они хватают через край! Послушать немножко музыки, изредка «связаться» с друзьями, может, и приятно, но они-то воображают: чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел! Прихожу домой —

жена в истерике. Отчего, почему? Да потому, что она полдня не могла со мной связаться. Помните, я малость поплясал на своем радиобраслете? Ну вот, в тот вечер я и задумал убийство собственного дома.

— Что же, так и записать?

— По смыслу это совершенно точно. Я решил убить его, умертвить. Дом у меня, знаете, чудо техники: разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стихи, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Станешь под душ — он тебя глушит ариями из опер, ляжешь спать — обучает испанскому языку. Этакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов. Духовка тебе лопочет: «Я пирог с вареньем, я уже испекся!» — или: «Я — жаркое, скорей подбавьте подливки» — и прочий младенческий вздор. Кровати укачивают тебя на ночь, а утром встряхивают, чтоб проснулся! Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю! Парадная дверь так и рывкает: «Сар, у вас башмаки в грязи!» А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака, не дай бог уронишь щепотку пепла с сигареты — мигом всосет. О боже милостивый!

— Успокойтесь, — мягко посоветовал психиатр.

— Помните песенку Гилберта и Салливена «Веду обидам точный счет, и уж за мной не пропадет»? Всю ночь я подсчитывал обиды. А рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь. Парадная дверь так и завизжала: «Надо ноги вытирать! Не годится пол марать!» Я выстрелил этой дрянью прямо в замочную скважину. Вбежал в кухню, а там плита скулит: «Скорей взгляни! Переверни!» Я всадил пулю в самую серединку механической яичницы, и плите пришел конец. Ох, как она зашипела и заверещала: «Я перегорела!» Потом завопил телефон, прямо как капризный убудок. И я сунул его в поглотитель.

Должен вам заявить честно и откровенно: я ничего не имею против поглотителя, он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко — очень полезное приспособление, и притом безобидное, словечка от него не услышишь, знай себе мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Потом я пошел и пристрелил коварную бестию телевизор. Это Медуза: каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей, это сирена — поет, и зовет, и обещает так много, а дает ничтожно мало... но я всегда возвращался к ней, возвращался и надеялся на что-то до последней минуты, и вот — бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, злобно закулдыкала, завопила на всю улицу. Явилась полиция. И вот я здесь.

Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил.

— Мистер Брок, отдавали ли вы себе отчет, совершая такие преступления, что радиобраслет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе — все это либо чужая собственность, либо сдается напрокат?

— Я и опять бы это проделал, верное слово.

Психиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента.

— И вы не желаете воспользоваться помощью Службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить?

— Это только начало, — сказал Брок. — Я знаменосец скромного меньшинства, мы устали от шума, оттого, что нами вечно помыкают, и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет — делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее! Вот увидите. Начинается бунт. Мое имя войдет в историю!

— Гм-м... — психиатр, казалось, призадумался.

— Понятно, это не сразу сделается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка эти полезные и удобные штуки! Почти игрушки, почти забава! Но люди чересчур втянулись в игру, запли слишком далеко, все наше общество попало в плен к механическим нянькам — и запуталось, и уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем: таков, мол, наш век! Таковы условия жизни! Мы — нервное поколение! Но помяните мое слово, семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня и по телевидению, и в кино — вот ведь парадокс! Дело было пять дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день. Хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое!

— Ясно, — сказал психиатр.

— Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру? Я намерен полгода наслаждаться одиночеством и тишиной.

— Пожалуйста, — спокойно сказал психиатр.

— За меня не бойтесь, — сказал, вставая, мистер Брок. — Я буду сидеть да посиживать и наслаждаться мягкой фланелью в ушах.

— Гм-м, — промычал психиатр, направляясь к двери.

— Не унывайте, — сказал Брок.

— Постараюсь, — отозвался психиатр.

Он пажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал, дверь отворилась, он вышел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнув замком. Он вновь шагал один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Первые двадцать шагов его провожали звуки «Китайского тамбурина». Их сменила «Цыганка», затем «Пасакалья» и какая-то там минорная fuga Баха, «Тигровый рэг-

тайм», «Любовь — что сигарета». Он достал из кармана сломанный радиобраслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок и с потолка раздался голос:

— Доктор?

— Только что закончил с Броком, — отозвался психиатр.

— Диагноз?

— Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними.

— Прогноз?

— Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением затыкал себе уши воображаемыми тампонами.

Зазвонили сразу три телефона. Запасной радиобраслет в ящике стола зажужжал, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка, и защелкал вызов селектора. Звонили три телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно, лицо его было невозмутимо спокойно, а вокруг гремела музыка, мигали лампочки, снова звонили два телефона, и руки его непрерывно двигались, и радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, овеваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя то же невозмутимое спокойствие; телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет...

Кошки-мышки*

В первый же вечер любовались фейерверком — пожалуй, он мог бы и напугать, напомнить вспышки не столь безобидные, но уж очень красивое оказалось зрелище, огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и рассыпались ослепительно белыми и голубыми звездами. И все было чудесно, в воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли, из церкви тянуло ладаном, от эстрады — медью духового оркестра, выводившего медлительную трепетную мелодию «Голубки». Церковные двери распахнуты настежь, и, казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, упавшие с октябрьских небес: ярко горели и курились тысячи и тысячи свечей. Над площадью, выложенной прохладными каменными плитами, опять и опять вспыхивал фейерверк, раз от разу удивительней, словно пробегали невиданные кометы-канатоходцы, ударялись о глинобитные стены кафе, взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали босые мальчишечьи ноги — мальчишки подскакивали, приплясывали и без усталости раскачивали исполинские колокола, и всё окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык,

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Кошки-мышки: Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1965. — (Библ. совр. фанта., т. 3). — Пер. изд.: Bradbury R. The Fox and the Forest: The Illustrated Man. Doubleday, N. Y., 1952.

преследовал смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой, — с улыбкой сказал Уильям Трейвис. — Хороший год.

Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой, шумной толпой.

Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь мимо церкви и эстрады, среди оглушительной музыки, шума и гама, под огненным дождем, под яркими звездами. Бык промчался мимо — хитрое сооружение из бамбука, брызжащее пороховой искрами, его легко нес на плечах быстроногий мексиканец.

— Никогда в жизни так не веселилась! — Сьюзен Трейвис остановилась перевести дух.

— Здесь изумительно, — сказал Уильям.

— Это будет долго-долго, правда?

— Всю ночь.

— Нет, я про наше путешествие.

Уильям сдвинул брови и похлопал себя по нагрудному карману.

— Аккредитивов у меня хватит на всю жизнь. Знай развлекайся: Ни о чем не думай. Им нас не найти.

— Никогда?

— Никогда.

Теперь кто-то, забравшись на гремющую звоном колокольню, пускал огромные шутяхи, они шипели и дымили, толпа внизу пугливо шарахалась, шутяхи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жареными в масле майсовыми лепешками, так что слюнки текли; в переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу, в смуглых руках пенились кружки пива.

Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч

легкий каркас. Его тучей облепли мальчишки, каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога.

— Пойдем посмотрим быка, — сказал Уильям.

Они проходили мимо входа в кафе, и тут Сьюзен увидела: на них смотрит человек, белокожий человек в белоснежном костюме, в голубой рубашке с голубым галстуком, лицо худощавое, загорелое. Волосы у него прямые, светлые, глаза голубые. Он в упор смотрит на них с Уильямом.

Она бы его не заметила, если б у его локтя не выстроилась батарея бутылок: пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяка и еще семь штук разных напитков, и под рукой десяток неполных рюмок. Неотрывно глядя на улицу, он потягивал то из одной рюмки, то из другой, порою жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась гаванская сигара, и рядом на стуле лежали десятка два пачек турецких сигарет, шесть ящиков сигар и несколько флаконов одеколона.

— Билл... — шепнула Сьюзен.

— Спокойно, — сказал муж. — Это не то.

— Я видела его утром на площади.

— Идем, не оглядывайся. Давай осматривать быка. Вот так, теперь спрашивай.

— По-твоему, он Сыщик?

— Они не могли нас выследить!

— А вдруг?

— Отличный бык! — сказал Уильям владельцу сооружения из папье-маше.

— Неужели он гнался за нами по пятам через двести лет?

— Осторожней, ради бога, — сказал Уильям.

Сьюзен пошатнулась. Он крепко сжал ее локоть и повел прочь.

— Держись, — он улыбнулся, — нельзя привлекать внимание. Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом, тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не заподозрит.

— Нет, не могу.

— Надо. Идем. Вот я и говорю Дэвиду: что за чепуха! — Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе.

«Мы здесь, — думала Сьюзен. — Кто мы? Куда идем? Чего боимся? Начнем с самого начала, — говорила она себе, ступая по глинобитному полу. — Только бы не потерять рассудок.

Меня зовут Энн Кристен, моего мужа — Роджер. Мы из две тысячи сто пятьдесят пятого года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль, он покинул берега разума и цивилизации и мчался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собою два миллиарда людей, не спрашивая, хотят они этого или нет, к гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия».

Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз.

Где-то зазвонил телефон.

Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в Будущем, через двести лет, в голубое апрельское утро 2155 года, и она сняла трубку.

— Энн, это я, Рене! — раздалось тогда в трубке. — Слышала? Про Бюро путешествий во времени слышала? Можно ехать куда хочешь — в Рим за двести лет до рождения Христа, к Наполеону под Ватерлоо, в любой век и в любое место!

— Ты шутишь, Рене.

— И не думаю. Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию, в тысяча семьсот семьдесят шестой. Это Бюро все может. Деньги, конечно, бешеные.

ные. Но ты только подумай: увидеть своими глазами пожар Рима! И Кублай-хана, и Моисея и Красное море! Проверь почту, наверно, и тебе уже прислали рекламу.

Она открыла пневматичку и вынула рекламное объявление на тонком листе фольги:

РИМ И СЕМЕЙСТВО БОРДЖИА!

БРАТЬЯ РАЙТ НА «КИТТИ ХОК»!

Бюро путешествий во времени обеспечит вас костюмами любой эпохи, перенесет в толпу очевидцев убийства Линкольна или Цезаря! Мы обучим вас любому языку, и вы легко освоитесь в какой угодно стране, в каком угодно году. Латынь, греческий, разговорный древнеамериканский — на выбор. Путешествие во времени — лучший отдых!

В трубке все еще жужжал голос Рене:

— Мы с Томом завтра отправляемся в тысяча четыреста девяносто второй. Ему обещали место на корабле Колумба. Изумительно, правда?

— Да, — пробормотала ошеломленная Энн. — А правительство как относится к этому Бюро с Машинной времени?

— Ну, полиция за ними присматривает. А то люди станут удирать от военной повинности в Прошлое. На время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война.

— Да, конечно, — повторила Энн. — Война.

Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала: вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем говорили и мечтали столько лет! Нам совсем не нравится, как устроен мир в две тысячи сто пятьдесят пятом. Ему оно стылело делать бомбы на заводе, мне —

разводить в лаборатории смертоносных микробов, мы бы рады бежать от всего этого. Может быть, вот так нам удастся ускользнуть в глубь веков, в дебри прошлых лет, там нас никогда не разыщут, не вернут в мир, где жгут наши книги, обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио...

Они в Мексике, в 1938 году.

Сьюзен смотрела на размалеванную стену кафе.

Тем, кто хорошо работал на Государство Будущего, разрешалось во время отпуска рассеяться и отдохнуть в Прошлом. И вот они с мужем отправились в 1938 год, сняли комнату в Нью-Йорке, ходили по театрам, полюбовались на зеленую статую Свободы, которая все еще стояла в порту. А на третий день переменили одежду и имена и сбежали в Мексику!

— Конечно, это он, — прошептала Сьюзен, глядя на незнакомца за столиком. — Смотри, сигареты, сигары, бутылки. Они выдают его с головой. Помнишь наш первый вечер в Прошлом?

Месяц назад, перед тем как удрать, они провели свой первый вечер в Нью-Йорке, смакуя разные напитки, наслаждались непривычными яствами, накупили уйму духов, перепробовали десятки марок сигарет — ведь в Будущем почти ничего нет, там все пожирает война. И они делали глупость за глупостью, бегали по магазинам, барам, табачным лавчонкам и возвращались к себе в номер в блаженном одурении, еле живые.

И этот незнакомец ведет себя ничуть не умнее — так может поступать только человек из Будущего, за долгие годы стосковавшийся по вину и табаку.

Сьюзен и Уильям сели за столик и спросили вина.

Незнакомец так и сверлил их взглядом — как они

одеты, как причесаны, какие на них драгоценности, изучал походку и движения.

— Сиди спокойно, — одними губами шепнул Уильям. — Держись так, будто ты в этом платье и родилась.

— Напрасно мы все это затеяли.

— О господи, — сказал Уильям, — он идет сюда. Ты молчи, я сам с ним поговорю.

Незнакомец подошел и поклонился. Чуть слышно щелкнули каблуки. Сьюзен окаменела. Ох, уж это истинно солдатское щелканье, его ни с чем не спутаешь, как и резкий, ненавистный стук в дверь среди ночи.

— Мистер Роджер Кристен, — сказал незнакомец, — вы не подтянули брюки, когда сиделись.

Уильям похолодел. Опустил глаза, руки его лежали на коленях как ни в чем не бывало. У Сьюзен неистово колотилось сердце.

— Вы обознались, — поспешно сказал Уильям. — Моя фамилия не Крислер.

— Кристен, — поправил незнакомец.

— Меня зовут Уильям Трейвис. И я не понимаю, какое вам дело до моих брюк.

— Виноват, — незнакомец придвинул себе стул. — Скажем так: я вас узнал именно потому, что вы не подтянули брюки. А все подтягивают. Если не подтягивать, они быстро вздуваются на коленях пузырями. Я заехал очень далеко от дома, мистер... Трейвис, и ищу, кто бы составил мне компанию. Моя фамилия Симс.

— Сочувствуем вам, мистер Симс, одному, конечно, скучно, но мы устали. Завтра мы уезжаем в Акапулько.

— Премилое местечко. Я как раз оттуда, разыскивал там друзей. Они где-то поблизости. Я их непременно отыщу... вашей супруге дурно?

— Спокойной ночи, мистер Симс.

Они пошли к выходу. Уильям крепко держал Сьюзен под руку. Симс крикнул вдогонку:

— Да, вот еще что...

Они не обернулись. Он чуть помедлил и отчетливо, раздельно произнес:

— Год две тысячи сто пятьдесят пятый.

Сьюзен закрыла глаза, земля уходила из-под ног. Как слепая, она вышла на сверкающую огнями площадь.

Они заперлись у себя в номере. И вот они стоят в темноте, и она плачет, и кажется, вот-вот на них обвалятся стены. А вдалеке с треском вспыхивает фейерверк, и с площади доносятся взрывы смеха.

— Такая наглость! — сказал Уильям. — Сидит и дымит сигаретами, черт бы его побрал, хлещет коньяк и оглядывает нас с головы до пят, как скотину. Надо было мне пристукнуть его на месте! — голос Уильяма дрожал и срывался. — У него даже хватило нахальства сказать свое настоящее имя! Начальник Сысского бюро. И эта дурацкая история с брюками. Господи, ну почему я их не подтянул, когда сажился. Для этой эпохи самый обычный жест, все их поддерживают машинально. А я сел не так, как все, и он сразу насторожился: ага, человек не умеет обращаться с брюками! Видно, привык к военной форме или к полувойенной, как полагается в Будущем. Убить меня мало, я же выдал нас с головой!

— Нет, нет, во всем виновата моя походка... эти высокие каблуки... И наши прически, стрижка... сразу видно, мы только-только от парикмахера. Мы такие пеловкне, держимся неестественно, вот и бросаемся в глаза.

Уильям зажег свет.

— Он пока нас испытывает. Он еще не уверен... не совсем уверен. Значит, нельзя просто удрать. Тогда он будет знать наверняка. Мы преспокойно поедем в Акапулько.

— А может, он и так знает, просто забавляется, как кошка с мышью.

— С него станется. Время в его власти. Он может околачиваться здесь сколько душе угодно, а потом доставит вас в Будущее ровно через минуту после того, как мы оттуда отбыли. Он может держать нас в неизвестности много дней и насмеяться над нами.

Сьюзен сидела на постели, вдыхая запах древесного угля и ладана — запах старины, — и утирала слезы.

— Они не поднимут скандала, как, по-твоему?

— Не посмеют. Чтобы впихнуть нас в Машину времени и отправить обратно, им нужно застать нас одних.

— Так вот же выход, — сказала Сьюзен. — Не будем оставаться одни, будем всегда на людях. Заведем кучу друзей и знакомых, станем ходить по базарам и в каждом городе, куда ни приедем, будем обращаться к властям и платить начальнику полиции, чтобы нас охраняли, а потом придумаем, как избавиться от Симса, — убьем его, переоденемся по-другому, хотя бы мексиканцами, и скроемся.

В коридоре послышались шаги.

Они погасили свет и молча разделись. Шаги затихли вдаль. Где-то хлопнула дверь.

Сьюзен стояла в темноте у окна и смотрела на площадь.

— Значит, вон то здание — церковь?

— Да.

— Я часто думала, какие они были — церкви. Их давным-давно никто не видал. Может, пойдем завтра, посмотрим?

— Конечно, пойдем. Ложись-ка.
Они легли, в комнате было темно.

Через полчаса зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказала Сьюзен.

И голос в трубке произнес:

— Сколько бы мыши ни прятались, кошка все равно их изловит.

Сьюзен опустила трубку и, вся похолодев, вытянулась на постели.

За стеной, в году тысяча девятьсот тридцать восьмом, кто-то играл на гитаре — одну песенку, другую, третью...

Ночью, протянув руку, она едва не коснулась года две тысячи сто пятьдесят пятого. Пальцы ее скользили по холодным волнам времени, словно по рифленому железу, она слышала мерный топот марширующих ног, миллионы оркестров ревели военные марши; перед глазами протянулись тысячи и тысячи сверкающих пробирок с болезнетворными микробами, она брала их в руки одну за другой — с ними она работала на гигантской фабрике Будущего; в пробирках притаились проказа, чума, брюшной тиф, туберкулез; а потом раздался оглушительный взрыв. Рука Сьюзен обуглилась и съежилась, ее отбросило чудовищным толчком, весь мир взлетел на воздух и рухнул, здания рассыпались в прах, люди истекли кровью и застыли. Исполинские вулканы, машины, вихри и лавины — все смолкло, и Сьюзен, всхлипывая, очнулась в постели в Мексике, за много лет до этой страшной минуты...

В конце концов им удалось забыться сном на час, не больше, а ни свет ни заря их разбудили скрежет автомобильных тормозов и гудки. Из-за железной решетки балкона Сьюзен выглянула на улицу — там только что остановились несколько легковых и грузо-

вых машин с какими-то красными надписями, из них с шумом и гамом высыпали восемь человек. Вокруг собралась толпа мексиканцев.

— Que pasa *? — крикнула Сьюзен какому-то мальчонке.

Он покричал ей в ответ. Сьюзен обернулась к мужу:

— Это американцы, они снимают здесь кинофильм.

— Любопытно, — откликнулся Уильям (он стоял под душем). — Давай посмотрим. По-моему, не стоит сегодня уезжать. Попробуем усыпить подозрения Симса. И поглядим, как делают фильмы. Говорят, в старину это было любопытное зрелище. Нам не худо бы немного отвлечься.

«Отвлекись попробуй», — подумала Сьюзен. При ярком свете солнца она на минуту совсем забыла, что где-то тут, в гостинице, сидит некто и курит несчетные сигареты и ждет. Глядя сверху на веселых, громогласных американцев, она чуть не закричала: «Помогите! Спрячьте меня, спасите! Перекрасьте мне глаза и волосы, переоденьте как-нибудь. Помогите же, я — из две тысячи сто пятьдесят пятого года!»

Но нет, не крикнешь. Фирмой путешествий во времени заправляют не дураки. Прежде чем отправить человека в путь, они устанавливают у него в мозгу психическую блокаду. Никому нельзя сказать, где и когда ты на самом деле родился, и никому в Прошлом нельзя открыть что-либо о Будущем. Прошрое нужно охранять от Будущего, Будущее — от Прошлого. Без такой психической блокады ни одного человека не пустили бы свободно странствовать по столетиям. Будущее следует оберегать от каких-либо перемен, которые мог бы вызвать тот, кто путешествует в Прошлом. Как бы страстно Сьюзен этого ни хотела, она все равно не мо-

* Что происходит? (исп.)

жет сказать веселым людям там, на площади, кто она такая и каково ей сейчас.

— Позавтракаем? — предложил Уильям.

Завтрак подавали в огромной столовой. Всем одно и то же — яичницу с ветчиной. Тут было полно туристов. Появились приезжие киношники, их было восемь — шестеро мужчин и две женщины, они пересмеивались, с шумом отодвигали стулья. Сьюзен сидела неподалеку, и ей казалось, рядом с ними тепло и безопасно, она даже не испугалась, когда в столовую, попыхи-вая турецкой сигаретой, вошел мистер Симс. Он издали кивнул им, и Сьюзен кивнула в ответ и улыбнулась: он ничего им не сделает, ведь здесь эти восемь человек из кино да еще десятка два туристов.

— Тут эти актеры, — сказал Уильям. — Может, я попробую нанять двоих, скажу, что это для забавы — пускай переоденутся в наше платье и укатят в нашей машине; выберем минуту, когда Симс не сможет видеть их лиц. Он часа три будет гоняться за ними, а мы тем временем сбежим в Мехико-сити. Там ему нас вовек не отыскать!

— Эй!

К ним наклонился толстяк, от него пахло вином.

— Да это американские туристы! — закричал он. — Ух, как я рад, на мексиканцев мне уже смотреть тошно! — Он крепко пожал им обоим руки. — Идемте позавтракаем все вместе. Злосчастье любит большое общество. Я — Злосчастье, вот мисс Скорбь, а это мистер и миссис Терпеть-не-можем-Мексику. Все мы ее терпеть не можем. Но мы тут делаем первые наброски для нашего треклятого фильма. Остальные приезжают завтра. Меня зовут Джо Мелтон. Я режиссер. Ну не паршивая ли страна! На улицах всюду похороны, люди мрут, как мухи. Да что же вы? Присоединяйтесь к нам, порадуйте нас!

Сьюзен и Уильям смеялись.

— Неужели я такой забавный? — спросил мистер Мелтон всех вообще и никого в отдельности.

— Просто чудо! — Сьюзен подседа к их компании.

Издали свирепо смотрел Симс.

Сьюзен скорчила ему гримасу.

Симс направился к ним между столиками.

— Мистер и миссис Трейвис, — окликнул он еще на ходу, — мы, кажется, собирались позавтракать втроем.

— Прошу извинить, — сказал Уильям.

— Подсаживайтесь, приятель, — сказал Мелтон. — Кто им друг, тот и мне приятель.

Симс принял приглашение. Актеры говорили все разом, и под общий говор Симс спросил вполголоса:

— Надеюсь, вы хорошо спали?

— А вы?

— Я не привык к пружинным матрацам, — проворчал Симс. — Но кое-чем удастся себя вознаградить. Полночи я не спал, перепробовал кучу разных сигарет и всякой еды. Очень странно и увлекательно. Эти старинные грешки позволяют испытать целую гамму новых ощущений.

— Не понимаю, что вы такое говорите, — сказала Сьюзен.

— Все еще разыгрываете комедию, — усмехнулся Симс. — Бесполезно. И в толпе вам тоже не укрыться. Рано или поздно я поймаю вас без свидетелей. Терпенья у меня достаточно.

— Послушайте, — вмешался багровый от выпитого Мелтон, — этот малый вам, кажется, докучает?

— Нет, ничего.

— Вы только скажите, я его живо отсюда вышвырну.

И Мелтон опять что-то заорал своим спутникам. А Симс под крики и смех продолжал:

— Итак, о деле. Целый месяц я вас отслеживал, гонялся за вами из города в город, весь вчерашний день

потратил, чтоб вывести вас на чистую воду. Я бы попробовал избавить вас от наказания, но для этого вы без шума пойдете со мной и вернетесь к работе над ультраводородной бомбой.

— Надо же, за завтраком — об ученых материях, — заметил Мелтон, краем уха уловив последние слова.

— Подумайте об этом, — невозмутимо продолжал Симс. — Вам все равно не ускользнуть. Если вы меня убьете, вас выследят другие.

— Не понимаю, о чем вы.

— Да бросьте! — обозлился Симс. — Шевельните мозгами. Вы и сами понимаете, мы не можем позволить вам удрать. Тогда найдутся и еще охотники улизнуть в Прошлое. А нам нужны люди.

— Для ваших войн, — не выдержал Уильям.

— Билл!

— Ничего, Сьюзен. Будем говорить на его языке. Все уже ясно.

— Превосходно, — сказал Симс. — А то ведь какая потрясающая наивность — бежать от своего прямого долга!

— Это не долг, а крошечный ужас.

— Вздор. Всего лишь война.

— Про что это вы? — поинтересовался Мелтон.

Сьюзен была бы рада ему объяснить. Но она не могла пойти дальше общих рассуждений. Психическая блокада ничего другого не допускала. Вот и Симс и Уильям сейчас, казалось бы, рассуждали общо и отвлеченно.

— Всего лишь! — говорил Уильям. — Бомбы, несущие проказу, убьют половину человечества!

— И тем не менее обитатели Будущего на вас и обиде, — возразил Симс. — Вы двое прячетесь, так сказать, на уютном островке в тропиках, а они летят прямо к черту в зубы. Смерти по вкусу не жизнь, а смерть. Умирающим приятно, когда они умирают не

одни. Все-таки утешение знать, что в пекле и в могиле ты не одинок. Все они обижены на вас обоих, а я — глашатай их обиды.

— Видали такого глашатая обид? — воззвал Мелтон ко всей компании.

— Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем хуже для вас. Вы нужны нам для работы над новой бомбой, мистер Трейвис. Вернетесь теперь же — обойдется без пыток. А станете тянуть — мы все равно заставим вас работать над бомбой, а когда кончите, испробуем на вас некоторые сложные и малоприятные новинки. Так-то, сэр.

— Есть предложение, — сказал Уильям. — Я вернусь с вами при условии, что моя жена останется здесь живая и невредимая, подальше от этой войны.

Симс поразмыслил:

— Ладно. Через десять минут ждите меня на площади. Я сяду к вам в машину. Отвезете меня за город, в какое-нибудь глухое местечко. Я позабочусь, чтоб там нас подобрала Машина времени.

— Билл! — Сьюзен стиснула руку мужа.

Он оглянулся.

— Не спорь. Решено. — И прибавил, обращаясь к Симсу: — Еще одно. Минувшей ночью вы могли забраться к нам в номер и утащить нас. Почему вы не воспользовались случаем?

— Допустим, я недурно проводил время, — лениво протянул Симс, посасывая очередную сигару. — Такая приятная передышка, южное солнце, экзотика, досадно со всем этим расставаться. Жалко отказываться от вина и сигарет. Еще как жалко! Итак, через десять минут на площади. О вашей жене позаботятся, она вольна оставаться здесь, сколько пожелает. Прощайтесь.

Он встал и вышел.

— Скатертью дорога, мистер Болтун! — завопил ему вдогонку Мелтон. Потом обернулся и поглядел на

Сьюзен: — Э-э, кто-то плачет! Да разве за завтраком можно плакать? Куда это годится?

Ровно в четверть десятого Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз, на площадь. Там, на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симс, складка его брюк была безупречна. Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил.

Сьюзен услышала рокот мотора — в дальнем конце мощенной будыжником улицы выехал из гаража Уильям, машина медленно двинулась вниз по склону холма.

Она набирала скорость. Тридцать миль в час, сорок, пятьдесят. Куры на пути кидались врассыпную.

Симс снял белую панаму, отер платком покрасневший лоб, опять надел панаму, и тут он увидел машину.

Она неслась прямо на площадь со скоростью шестьдесят миль в час.

— Уильям! — вскрикнула Сьюзен.

Машина с грохотом налетела на обочину, подскочила и ринулась по плитам тротуара к позеленевшей от времени скамье. Симс выронил сигару, взвизгнул, отчаянно замахал руками. Удар. Симса подбросило... вверх, вверх... потом вниз, вниз... и тело нелепым узлом тряпья шмякнулось оземь.

Автомобиль остановился в дальнем конце площади, одно переднее колесо было исковеркано. Сбежался народ.

Сьюзен ушла в комнату, плотно затворила балконные двери.

В полдень они рука об руку спустились по ступеням мэрии, оба бледные, в лице ни кровинки.

— Adios, señor, — сказал им вслед мэр города. — Adios, señora *.

* До свиданья, сеньор и сеньора (исп.).

Они остановились на площади, толпа все еще гладела на лужу крови.

— Тебя вызовут опять? — спросила Сьюзен.

— Нет, мы все выяснили во всех подробностях. Машина перестала слушаться. Я даже всплакнул там у них. Бог свидетель, я должен был хоть как-то ответить душу. Просто не мог сдержать слезы. Нелегко мне было его убить. В жизни никого не хотел убивать.

— Тебя не будут судить?

— Нет, собирались было, но раздумали. Я их убедил. Мне поверили. Это был несчастный случай. И кончено.

— Куда мы поедем? В Мехико-сити? В Уруапан?

— Машина сейчас в ремонте. Ее починят сегодня к четырем. Тогда вырвемся отсюда.

— А за нами не погонятся? По-твоему, Симс был один?

— Не знаю. Думаю, у нас есть немного форы.

Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали киношники. Мелтон, хмурия брови, поспешил навстречу.

— Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность! Но теперь все уладилось? Вам бы надо немного развлечься. Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно рассеяться.

И они пошли.

Пока устанавливали аппарат, Трейвисы стояли на булыжной мостовой. Сьюзен смотрела вдаль, на сбегавшую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид и руин, и селений, где лачуги слеплены были из желтой, синей, лиловой глины и повсюду пламенели цветы бугенвиллея, смотрела и думала: «Мы будем ездить с места на место, держаться всегда большой компанией, всегда па людях — па базаре, в гостиной, будем подкупать полицейских, чтоб ночевали поблизости, и заpirаться на двой-

ные замки, но главное — всегда будем на людях, никогда больше не останемся наедине, и всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один Симс. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести Сыщиков, сбили их со следа. А там, впереди, в Будущем, только того и ждут, чтобы поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями, ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками: «Служи! Перекувырнись! Прыгай через обруч!» И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно спать по ночам».

Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сьюзен вглядывалась в толпу и в ближние улицы.

— Заметила кого-нибудь подозрительного?

— Нет. Который час?

— Три. Машину, наверно, скоро починят.

Пробные съемки закончились без четверти четыре. Оживленно болтая, все направились к гостинице. Упльям по дороге заглянул в гараж. Вышел он оттуда озабоченный:

— Машина будет готова в шесть.

— Но не позже?

— Нет, не волнуйся.

В вестибюле они осмотрелись — нет ли еще одиноких путешественников вроде мистера Симса, только только от парикмахера, таких, что чересчур благоухают одеколоном и курят сигарету за сигаретой, — но тут было пусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал:

— Утомительный выдался денек! Надо бы под запявес опрокинуть стакачик, согласны? А вы, друзья? Коктейль? Пиво?

— Пожалуй.

Всей оравой ввалились в номер Мелтона, и началась пирушка.

— Следи за временем, — сказал Уильям.

«Время, — подумала Сьюзен. — Если бы у нас было время! Как бы хорошо в октябре долгий погожий день сидеть на площади, закрыв глаза, улыбаться оттого, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, и не шевелиться, и ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно, день за днем...»

Мелтон откупорил бутылку шампанского.

— Ваше здоровье, прекрасная леди! — сказал он Сьюзен, поднимая бокал. — Вы так хороши, что могли бы сниматься в кино. Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу.

Сьюзен рассмеялась.

— Нет, я серьезно, — сказал Мелтон. — Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду.

— И возьмете меня в Голливуд?

— Уж конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике!

Сьюзен мельком глянула на Уильяма, он приподнял бровь и кивнул. Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может быть, даже имя и путешествовать в компании; восемь спутников — надежный щит от всякой угрозы из Будущего.

— Звучит очень соблазнительно, — сказала Сьюзен.

Шампанское слегка ударило ей в голову. День проходил незаметно; вокруг болтали, шумели, смеялись. Впервые за много лет Сьюзен чувствовала себя в безопасности, ей было так хорошо, так весело, она была счастлива.

— А для какой картины подойдет моя жена? — спросил Уильям, вновь наполняя бокал.

Мелтон окинул Сьюзен оценивающим взглядом. Остальные перестали смеяться и прислушались.

— Пожалуй, я создал бы повесть, полную напряже-

ния, тревоги и неизвестности, — сказал Мелтон. — Повесть о супружеской чете, вот как вы двое.

— Так.

— Возможно, это будет своего рода повесть о войне, — продолжал режиссер, подняв бокал и разглядывая вино на свет.

Сьюзен и Уильям молча ждали.

— Повесть о муже и жене, они живут в скромном домике, на скромной улице, году, скажем, в две тысячи сто пятьдесят пятом, — говорил Мелтон. — Все это, разумеется, приблизительно. Но в жизнь этих двоих входит грозная война — ультраводородные бомбы, военная цензура, смерть, и вот — в этом вся соль — они удирают в Прошлое, а за ними по пятам следует человек, который им кажется воплощением зла, а на самом деле лишь стремится пробудить в них сознание долга.

Бокал Уильяма со звоном упал на пол.

— Наша чета, — продолжал Мелтон, — ищет убежища в компании киноактеров, к которым они прониклись доверием. Чем больше народу, тем безопаснее, думают они.

Сьюзен без сил поникла на стуле. Все неотрывно смотрели на режиссера. Он отпил еще глоток шампанского.

— Ах, какое вино! Да, так вот, наши супруги, видимо, не понимают, что они необходимы Будущему. Особенно муж, от него зависит создание металла для новой бомбы. Поэтому Сыщики — назовем их хоть так — не жалеют ни сил, ни расходов, лишь бы выследить мужа и жену, захватить их и доставить домой, а для этого нужно застать их одних, без свидетелей, в номере гостиницы. Тут хитрая стратегия. Сыщики действуют либо в одиночку, либо группами по восемь человек. Не так, так эдак, а они своего добьются. Может получиться увлекательнейший фильм, правда, Сьюзен? Правда, Билл? — и он допил вино.

Сьюзен сидела как каменная, глядя в одну точку.
— Выпейте еще, — предложил Мелтон.

Уильям выхватил револьвер и выстрелил три раза подряд. Один из мужчин упал, остальные кинулись на Уильяма. Сьюзен отчаянно закричала. Чья-то рука зажала ей рот. Револьвер валялся на полу, Уильям отбивался, но его уже держали.

Мелтон стоял на прежнем месте, по его пальцам текла кровь.

— Прошу вас, — сказал он, — не усугубляйте своей вины.

Кто-то забарабанил в дверь:

— Откройте!

— Это управляющий, — сухо сказал Мелтон. Вскинул голову и скомандовал своим: — За дело! Быстро!

— Откройте! Я вызову полицию!

Трейвисы переглянулись, посмотрели на дверь...

— Управляющий желает войти, — сказал Мелтон. — Быстрее!

Выдвинули аппарат. Из него вырвался голубоватый свет и залил комнату. Он ширился, и спутники Мелтона исчезали один за другим.

— Быстрее!

За миг до того, как исчезнуть, Сьюзен взглянула в окно — там была зеленая лужайка, лиловые, желтые, синие, алые стены; струилась, как река, булыжная мостовая; среди опаленных солнцем холмов ехал крестьянин верхом на ослике; мальчик пил апельсиновый сок, и Сьюзен ощутила вкус душистого напитка; на площади в тени дерева стоял человек с гитарой, и Сьюзен ощутила под пальцами струны; вдали виднелось море — синее, ласковое, — и волны подхватили ее и понесли.

И она исчезла. И муж ее исчез.

Дверь распахнулась. В номер ворвались управляющий и несколько служащих гостиницы.

Комната была пуста.

— Но они только что были тут! Я сам видел, как они пришли, а теперь — никого! — закричал управляющий. — Через окно никто удрать не мог, на окнах железные решетки!

Под вечер пригласили священника, снова открыли комнату, проветрили, и священник окропил все углы святой водой и прочитал молитву.

— А с этим что делать? — спросила горничная.

И показала на стенной шкаф — там теснились 67 бутылок вина: шартрез, коньяк, ликер «*swètte de sасао*», абсент, вермут, текилья, а кроме того, 106 пачек турецких сигарет и 198 желтых коробок с отличными гаванскими сигарами, по пятьдесят центов штука...

Электрическое тело пою!*

Бабушка!..

Я помню, как она родилась.

Постойте, скажете вы, разве может человек помнить рождение собственной бабушки?

И все-таки мы помним этот день.

Ибо это мы, ее внуки — Тимоти, Агата и я, Том, — помогли ей появиться на свет. Мы первые дали ей щелпка и услышали крик «новорожденной». Мы сами собрали ее из деталей, узлов и блоков, выбрали ей темперамент, вкусы и привычки, повадки и склонности и те элементы, которые заставили потом стрелку ее компаса отклоняться то к северу, когда она бранила нас, то к югу, когда утешала и ласкала, или же к востоку и западу, чтобы показать нам необъятный мир; взор ее искал и находил нас, губы шептали слова колыбельной, а руки будили на заре, когда вставало солнце.

Бабушка, милая Бабушка, прекрасная электрическая сказка нашего детства...

Когда за горизонтом вспыхивают зарницы, а зигзаги молний прорезают небо, ее имя огненными буква-

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Рассказы: Электрическое тело пою! Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1975. — Пер. изд.: Bradbury R. I Sing the Body Electric: I Sing the Body Electric. Doubleday, N. Y., 1969.

© Перевод на русский язык, «Молодая гвардия», 1975.

ми отпечатывается на моих смеженных веках. В мягкой тишине ночи мне по-прежнему слышится мерное тиканье и жужжание. Она, словно часы-привидение, проходит по длинным коридорам моей памяти, как рой мыслящих пчел, догоняющих призрак ушедшего лета. И иногда на исходе ночи я вдруг чувствую на губах улыбку, которой она нас научила...

Хорошо, хорошо, прервите вы меня с нетерпением, расскажите же наконец, черт побери, как все произошло, как «родилась» на свет эта ваша столь замечательная, столь удивительная и так обожавшая вас бабушка.

Случилось это в ту неделю, когда всему пришел конец...

Умерла мама.

В сумерках черный лимузин уехал, оставив отца и нас троих на дорожке перед домом. Мы потерянно глядели на лужайку и думали: «Нет, это не наша лужайка, хотя на площадке для крокета все так же лежат брошенные деревянные шары и молотки, стоят дужки ворот и всё, как три дня назад, когда из дома вышел рыдающий отец и сказал нам. Вот лежат ролики, принадлежавшие некогда мальчугану, — этим мальчуганом был я. Но это время безвозвратно ушло. На старом дубе висят качели, однако Агата не решится встать на них — они не выдержат, оборвутся и упадут».

А наш дом? О боже...

Мы с опаской смотрели на приоткрытую дверь, страхась эха, которое могло прятаться в коридорах, тех гулких звуков пустоты, которые мгновенно поселяются в доме, как только из него вынесли мебель и ничто уже не приглушает голосов и шумов, наполняющих дом, когда в нем живут люди. Нечто мягкое и уютное, нечто самое главное и прекрасное исчезло из нашего дома навсегда.

Дверь медленно отворилась.

Нас встретила тишина. Пахло сыростью — должно быть, забыли закрыть дверь погреба. Но ведь у нас нет погреба!..

— Ну вот, дети... — промолвил отец.

Мы застыли на пороге.

К дому подкатила большая канареечно-желтая машина тети Клары.

Нас словно ветром сдуло — мы бросились в дом и разбежались по своим комнатам.

Мы слышали голоса — они кричали и спорили, кричали и спорили. «Пусть дети живут у меня!» — кричала тетя Клара. «Ни за что! Они скорее согласятся умереть!..» — отвечал отец.

Хлопнула дверь. Тетя Клара уехала.

Мы чуть не заплакали от радости, но вовремя опомнились и тихонько спустились вниз.

Отец сидел, разговаривая сам с собой или, может быть, с бледной тенью мамы еще из тех времен, когда она была здорова и была с нами. Но звук хлопнувшей двери вспугнул тень и она исчезла. Отец потерянно бормотал, глядя в пустые ладони:

— Пойми, Энн, детям нужен кто-то... Я люблю их, видит бог, но мне надо работать, чтобы прокормить нас всех. И ты любишь их, Энн, я знаю, но тебя нет с нами. А Клара?.. Нет, это невозможно. Ее любовь... угнетает. Няньки, прислуга...

Отец горестно вздохнул, и мы, вспомнив, вздохнули тоже.

Нам действительно не везло на нянек, воспитательниц, даже на приходящую прислугу. Мы не помним, чтобы хотя бы одна из них не пилила, как пила. Их появление в доме можно сравнить со стихийным бедствием, торнадо или ураганом, с топором, который неожиданно падал на наши ни в чем не повинные головы. Конечно же, они все никуда не годились; на нашем

языке — горелые сухари либо прокисшее суфле. Мы для них были чем-то вроде мебели, на которую можно без спроса садиться, которую следует чистить и выколачивать, весной и осенью менять обивку и раз в год вывозить на взморье для большой стирки.

— Дети, нам нужна... — вдруг тихо произнес отец.

Нам пришлось придвинуться поближе, чтобы слышать слово, которое он произнес почти шепотом:

— ...бабушка.

— Но наши бабушки давно умерли! — с беспощадной логикой девятилетнего мальчишки воскликнул Тимоти.

— С одной стороны, это так, но с другой...

Что за странные и загадочные слова говорит наш отец!

— Вот взгляните. — Он протянул нам сложенный гармошкой яркий рекламный проспект.

Сколько раз мы видели его в руках отца, и особенно в последние дни! Достаточно было одного взгляда, чтобы стало ясно, почему оскорбленная и разгневанная тетя Клара так стремительно покинула наш дом.

Тимоти первым прочел вслух слова на обложке:

«Электрическое тело пою!» *

Нахмурившись, он вопросительно посмотрел на отца:

— Это что еще такое?

— Читай дальше.

Мы с Агатой виновато оглянулись, словно испугались, что вот-вот войдет мама и застает нас за этим недостойным занятием. А потом закивали головами: да, да, пусть Тимоти читает.

— «Фанто...»

— «Фанточины» **, — не выдержав, подсказал отец.

* Стихотворение американского поэта Уолта Уитмена.
Пер. К. Чуковского. — *Прим. перев.*

** Марionетки, куклы (*итал.*).

— ...«Фанточини Лимитед». Мы проводим... Вот ответ на все ваши трудные и неразрешимые проблемы. Всего ОДНА МОДЕЛЬ, по ее можно видоизменять до бесконечности, создавая тысячи и тысячи вариантов, добавлять, исправлять, менять форму и вид... Единственная, уникальная... единая, неделимая, с свободой и справедливостью для всех».

— Где, где это написано? — закричали мы.

— Это я от себя добавил. — И впервые за много дней Тимоти улыбнулся. — Так вдруг, захотелось. А теперь слушайте дальше: «Для тех, кого измучили недобросовестные няньки и приходящая прислуга, на виду у которой нельзя оставить початую бутылку вина, кто устал от советов дядей и теток, преисполненных самых добрых намерений...

— Да, добрых... — протянула Агата, а я, как эхо, повторил за ней.

«... мы создали и усовершенствовали модель человека-робота на микросхемах с перезарядкой марки АС-ДСУ, электронную Бабушку...»

— Бабушку!?

Проспект упал на пол.

— Папа?..

— Не смотрите на меня так, дети, — прошептал отец. — Я совсем потерял голову от горя, я почти лишился рассудка, думая о том, что будет завтра, а потом послезавтра... Да поднимите же вы его, дочитайте до конца!

— Хорошо, — сказал я и поднял проспект.

«...это Игрушка и вместе с тем нечто большее, чем Игрушка. Это Электронная Бабушка фирмы „Фанточини“. Она создана с величайшим тщанием и заряжена огромной любовью и нежностью к вашим детям. Мы создавали ее для детей, знакомых с реальностью современного мира и еще в большей степени с реальностью невероятного. Наша модель способна обучать на две-

надцати языках одновременно, переключаясь с одного на другой с быстротой в одну тысячную долю секунды. В ее электронной памяти, похожей на соты, хранится все, что известно людям о религии, искусстве и истории человечества...»

— Вот здорово! — воскликнул Тимоти. — Значит, у нас будут пчелы! Да еще ученые!..

— Замолчи, — одернула его Агата.

«Но самое главное, — продолжал я, — что это Существо — а наша модель действительно почти живое существо, — это идеальное воплощение человеческого интеллекта, способное слушать и понимать, любить и лелеять ваших детей (как способно любить и лелеять совершеннейшее из творений человеческого разума), — наша фантастическая и невероятная Электронная Бабушка. Она будет чутко откликаться на все, что происходит не только в окружающем вас огромном мире и в вашем собственном маленьком мирке, но также во всей вселенной. Послушная малейшему прикосновению руки, она подарит чудесный мир сказок тем, кто в этом так нуждается...»

— Так нуждается... — прошептала Агата.

Да, да, нуждается, печально подумали мы. Это написано о нас, конечно о нас!

Я продолжал:

«Мы не предлагаем ее счастливым семьям, где все живы и здоровы, где родители могут сами растить и воспитывать своих детей, формировать их характеры, исправлять недостатки, дарить любовь и ласку. Ибо никто не заменит детям отца или мать. Но есть семьи, где смерть, недуг или увечье кого-либо из родителей грозят разрушить счастье семьи, отнять у детей детство. Приюты здесь не помогут. А няньки и прислуга слишком эгоистичны, нерадивы или слишком неуравновешенны в наш век первых стрессов.

Прекрасно сознавая, сколь многое предстоит еще

додумать, изучить, проверить и пересмотреть, постоянно совершенствуя из месяца в месяц и из года в год наше изобретение, мы, однако, берем на себя смелость уже сейчас рекомендовать вам этот образец, по многим показателям близкий к идеальному типу наставника — друга — товарища — помощника — близкого и родного человека. Гарантийный срок может быть оговорен в...»

— Довольно! — воскликнул отец. — Не надо больше. Даже я не в силах вынести этого.

— Почему? — удивился Тимоти. — А я только-только начал понимать, как это здорово!

Я сложил проспект.

— Это правда? У них действительно есть такие штуки?

— Не будем больше говорить об этом, дети, — сказал отец, прикрыв глаза рукой. — Безумная мысль...

— Совсем не такая уж плохая, папа, — возразил я и посмотрел на Тима. — Я хочу сказать, что если, черт побери, это лишь первая попытка и она удалась, то это все же получше, чем наша тетушка Клара, а?

Бог мой, что тут началось! Давно мы так не смеялись. Пожалуй, несколько месяцев. Конечно, я сморозил глупость, но все так и покатались со смеху, стопами и охали, да и я сам от души расхохотался. Когда мы наконец отдышались и пришли в себя, глаза наши невольно снова вернулись к рекламному проспекту.

— Ну? — сказал я.

— Я... — поежилась не готовая к ответу Агата.

— Это то, что нам нужно. Нечего раздумывать, — решительно заявил Тимоти.

— Идея сама по себе неплоха, — изрек я, по привычке стараясь придать своему голосу солидность.

— Я хотела сказать, — снова начала Агата, — можно попробовать. Конечно, можно. Но когда, наконец, мы перестанем болтать чепуху и когда... наша настоящая мама вернется домой?

Мы охнули, мы окаменели. Удар был нанесен в самое сердце. Я не уверен, что в эту ночь кто-нибудь из нас уснул. Вероятнее всего, мы проплакали до утра.

А утро выдалось ясное, солнечное. Вертолет поднял нас над небоскребами, и не успели мы опомниться, как он высадил нас на крыше одного из них, где еще с воздуха была видна надпись: «ФАНТОЧИНИ».

— А что такое Фанточини? — спросила Агата.

— Кажется, по-итальянски это куклы из театра теней. Куклы из снов и сказок, — пояснил отец.

— А что означает: «Мы провидим»?

— «Мы угадываем чужие сны и желания», — не удержался я показать свою ученость.

— Молодчина, Том, — похвалил отец.

Я чуть не лохнул от гордости.

Зашумев винтом, вертолет взмыл в воздух и, на мгновение накрыв нас своей тенью, исчез из виду.

Лифт стремительно упал вниз, а сердце, наоборот, подпрыгнуло к горлу. Мы вышли и сразу же ступили на движущуюся дорожку — она привела нас через синюю реку ковra к большому прилавку, над которым мы увидели надпись:

«МЕХАНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ»

«Куклы — наша специальность»

«Зайчик на стене — это совсем просто»

— Зайчик?

Я сложил пальцы и показал на стене тень зайца, шевелящего ушами.

— Это заяц, вот волк, а это крокодил.

— Это каждый умеет, — сказала Агата.

Мы стояли у прилавка. Тихо играла музыка. За стеной слышался приглушенный гул работающих механизмов. Когда мы очутились у прилавка, свет в магазине стал мягче, да и мы повеселели, словно оттаяли,

хотя внутри все еще оставался сковывающий холодок.

Вокруг нас, в ящиках и стеновых нишах или просто свешиваясь с потолка на шнурах и проволоке, были куклы, марионетки с каркасами из тонких бамбуковых щепок, куклы с острова Бали, напоминающие бумажного змея и такие легкие и прозрачные, что при лунном свете кажется, будто оживают твои сокровенные мечты и желания. При нашем появлении потревоженный воздух привел их в движение. «Они похожи на еретиков, повешенных в дни празднеств на перекрестках дорог в средневековой Англии», — подумал я. Как видите, я еще не забыл историю...

Агата с недоверием озиралась вокруг. Недоверие сменилось страхом и наконец отвращением.

— Если они все такие, уйдем отсюда.

— Тс-с, — остановил ее отец.

— Ты уже однажды подарил мне такую глупую куклу, помнишь, два года назад, — запротестовала Агата. — Все веревки сразу перепутались. Я выбросила ее в окно.

— Терпение, — сказал отец.

— Ну что ж, в таком случае постараемся подобрать без веревок, — пропалес человек, стоявший за прилавком.

Отлично знающий свое дело, он смотрел на нас серьезно, без тени улыбки. Видимо, знал, что дети не очень-то доверяют тем, кто слишком охотно расточает улыбки, — тут сразу чувствуется подвох.

Все также без улыбки, но отнюдь не мрачно, а без всякой важности и совсем просто он представился:

— Гвидо Фанточини, к вашим услугам. Вот что мы сделаем, мисс Агата Саймонс одиннадцати лет.

Вот это да! Он-то прекрасно видел, что Агате не больше десяти. И все-таки это он здорово придумал прибавить ей год. Агата на наших глазах выросла по меньшей мере на вершок.

— Вот, держи.

Он вложил ей в ладонь маленький золотой ключик.

— Это чтобы заводить их? Вместо веревок, да?

— Ты угадала, — кивнул он.

Агата хмыкнула, что было вежливой формой ее обычного: «Так я и поверила».

— Сама увидишь. Это ключ от вашей Электронной Бабушки. Вы сами выберете ее, сами будете заводить. Это надо делать каждое утро, а вечером спускать пружину. И следить за этим поручается тебе. Ты будешь хранительницей ключа, Агата.

И он слегка прижал ключ к ладони Агаты, а та по-прежнему разглядывала его с недоверием.

Я же не спускал глаз с этого человека, и вдруг он лукаво подмигнул мне. Видимо, хотел сказать: «Не совсем так, конечно, но интересно, не правда ли?»

Я успел подмигнуть ему в ответ, до того как Агата наконец подняла голову.

— А куда его вставлять?

— В свое время все узнаешь. Может, в живот, а может, в левую ноздрю или в правое ухо.

Это было лучше всяких улыбок.

Человек вышел из-за прилавка.

— Теперь, пожалуйста, сюда. Осторожно. На эту бегущую дорожку, прямо как по волнам. Вот так.

Он помог нам ступить с неподвижной дорожки у прилавка на ту, что бежала мимо с тихим шелестом, словно река.

Какая же это была славная река! Она понесла нас к зеленым ковровым лугам, через коридоры и залы, под темные своды загадочных пещер, где эхо повторяло наше дыхание и чьи-то голоса мелодично, нараспев, подобно оракулу, отвечали на наши вопросы.

— Слышите? — промолвил хозяин магазина. — Это все женские голоса. Слушайте внимательно и выбирайте любой. Тот, что больше всех вам понравится...

И мы вслушивались в голоса, высокие и низкие, звонкие и глухие, голоса ласковые и чуть строгие, собранные здесь, видимо, еще до того, как мы появились на свет.

Агаты не было рядом, она все время отставала. Она упорно пыталась идти в обратном направлении, будто все происходящее ее не касалось.

— Скажите что-нибудь, — предложил хозяин. — Можете даже крикнуть.

Долго просить нас не пришлось.

— Э-гей-гей! Слушайте, это я, Тимоти!

— Чтобы мне такое сказать? — промолвил я и вдруг крикнул: — На помощь!

Агата, упрямо сжав губы, продолжала шагать против течения.

Отец схватил ее за руку.

— Пусти! — крикнула она. — Я не хочу, чтобы мой голос попал туда, слышишь, не хочу!

— Ну вот и отлично, — сказал наш проводник и коснулся пальцем трех небольших циферблатов приборчика, который держал в руках. На боковой стороне приборчика появились три осциллограммы: кривые на них переплелись, сливаясь воедино, — наши возгласы и крики.

Гвидо Фанточини щелкнул переключателем, и мы услышали, как наши голоса вырвались на свободу, под своды дельфийских пещер, чтобы поселиться там, заглушив другие, известить о себе. Гвидо снова и снова касался каких-то кнопок то здесь, то там на приборчике, и мы вдруг слышали легкое, как вздох, восклицание мамы и недовольное ворчание отца, бранившего статью в утренней газете, а затем его умиротворенный голос после глотка доброго вина за ужином. Что уж он там делал, наш добрый провожатый, со своим приборчиком, но вокруг нас плясали шепоты и звуки, словно мошकारа, испугнутая светом. Но вот она успо-

коплась и осела; последний щелчок переключателя — и в тишине, свободной от всяких помех, прозвучал голос. Он произнес всего лишь одно слово:

— Нефертити.

Тимоти замер, я окаменел. Даже Агата прекратила свои попытки шагать в обратную сторону.

— Нефертити? — переспросил Тимоти.

— Что это такое? — требовательно спросила Агата.

— Я знаю! — воскликнул я.

Гвидо Фанточини ободряюще кивнул головой.

— Нефертити, — понизив голос до шепота, произнес я, — в Древнем Египте означало: «Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда».

— Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда, — повторил Тимоти.

— Нефер-ти-ти — протянула Агата.

Мы повернулись и посмотрели в тот мягкий далекий полумрак, откуда прилетел к нам этот нежный, ласковый и добрый голос.

Мы верили — она там.

И, судя по голосу, она была прекрасна.

Вот как это было.

Во всяком случае, таким было начало.

Голос решил все. Почему-то именно он показался нам самым главным.

Конечно, нам не безразлично было и многое другое, например ее рост и вес. Она не должна быть костлявой и угловатой, чтобы мы набивали о нее синяки и шишки, по, разумеется, и не толстой, чтобы не утонуть и не задохнуться в ее объятиях. Ее руки, когда они будут касаться нас или же вытирать испарину с наших горячих лбов во время болезни, не должны быть холодными, как мрамор, или обжигать, как раскаленная печь. Лучше всего, если они будут теплыми, как тельце цыпленка, когда утром берешь его в руки, вы-

нув из-под крыла преисполненной важности мамы-наседки. Только и всего. Что касается деталей, то уж тут мы показали себя. Мы кричали и спорили чуть ли не до слез, но Тимоти все же удалось настоять на своем: ее глаза будут только такого цвета, и никакого другого. Почему — об этом мы узнали потом.

А цвет волос нашей Бабушки? У Агаты, как у всякой девчонки, на сей счет было свое особое мнение, но она не собиралась делиться им с нами. Поэтому мы с Тимоти предоставили ей самой выбирать из того множества образцов, которые, подобно декоративным пшалерам, украшали стены и напоминали нам разноцветные струйки дождя, под которые так и хотелось подставить голову. Агата не разделяла наших восторгов, но, понимая, как неразумно в таком деле полагаться на мальчишек, велела нам отойти в сторонку и не мешать ей.

Наконец удачная покупка в универсальном магазине «Бен Франклин — Электрические машины и компания „Пантомимы Фанточнини“». Продажа по каталогам была совершена.

Река вынесла нас на берег. Был уже конец дня.

Что и говорить, люди из фирмы «Фанточнини» поступили очень мудро.

Как, спросите вы?

Они заставили нас ждать.

Они понимали, что о победе говорить рано. Во всяком случае, полной и, если хотите, даже частичной.

Особенно если говорить об Агате. Ложась спать, она тут же поворачивалась лицом к стене, и, кто знает, какие печальные картины чудились ей в рисунке обоев, которых она то и дело касалась рукой. А утром мы находили на них нацарапанные ногтем силуэты крохотных существ, то прекрасных, то зловещих, как в кошмаре. Одни из них исчезали от малейшего при-

косповения, как морозный узор на стекле от теплого дыхания, другие не удавалось стереть даже мокрой губкой, как мы ни старались.

А «Фанточины» не торопились.

Прошел июнь в томительном ожидании.

Минул июль в ничегонеделании.

На исходе был август и наше терпение.

Вдруг 29-го Тимоти сказал:

— Страшное у меня сегодня чувство...

И, не сговариваясь, после завтрака мы вышли на лужайку.

Возможно, мы заподозрили что-то, когда слышали, как отец вчера вечером говорил с кем-то по телефону, или от нас не укрылись осторожные взгляды, которые он бросал то на небо, то на шоссе перед домом. А может, виною был ветер, от которого, как бледные тени, всю ночь метались по спальне занавески, будто хотели нам что-то сказать.

Так или иначе, мы с Тимом были на лужайке, а голова Агаты, делавшей вид, будто ей решительно все равно, то и дело мелькала где-то на крыльце за горшками с геранью.

Мы словно не замечали нашу сестренку. Мы знали: стоит нам вспугнуть ее, и она убежит. Поэтому мы просто смотрели на небо. А на нем были лишь птицы да далекий росчерк реактивного самолета. Мы не забывали изредка поглядывать и на шоссе, по которому то и дело проносились машины. Ведь любая из них могла доставить нам... Нет, нет, мы ничего не ждем.

В полдень мы с Тимоти все еще валялись на лужайке и жевали травинки.

В час дня Тим вдруг удивленно заморгал глазами.

И вот тут-то все и произошло с невероятной точностью и быстротой.

Словно «Фанточины» передался весь накал нашего нетерпения, и они безошибочно выбрали момент.

Дети отлично умеют скользить по поверхности. Каждый день мы проделывали это, чуть задевая зеркальную поверхность озера, и нам знакомо то странное ощущение, будто в любую секунду можешь вспороть обманчивую гладь и уйти и тебя уже не дозовешься.

Будто почувствовав, что нашему долготерпению должен прийти конец, что это может случиться в любую минуту, даже секунду, я все исчезнет, будет забыто, словно ничего и не было никогда, именно в это так точно угаданное мгновение облака над нашим домом расступились и пропустили вертолет, словно мифические небеса колесницу бога Аполлона.

Колесница медленно опускалась на крыльях потревоженного воздуха, горячие струи которого, тут же остывая, вздыбили наши волосы, захлопали складками одежды, будто кто-то громко зааплодировал, а волосы Агаты, стоявшей на крыльце, превратились в трепещущий флаг. Испуганной птицей вертолет коснулся лужайки, чрево его разверзлось, и на траву упал внушительных размеров ящик. И, не дав времени ни на приветствие, ни на прощание, еще сильнее взвихрив воздух, вертолет тут же рванулся вверх и, словно небесный дервиш, унесся дальше, чтобы где-то еще повторить свой фантастический трюк.

Какое-то время Тимоти и я недоуменно глядели на ящик. Но когда мы увидели маленький лапчатый ломик, прикрепленный к крышке из грубых сосновых досок, мы больше не раздумывали. Мы бросились к ящику и, орудуя ломиком, стали с треском отрывать одну доску за другой. Увлеченный, я не сразу заметил, что Агаты уже нет на крыльце, что, подкравшись, она с любопытством наблюдает за нами, и подумал, как хорошо, что она не видела гроба, когда маму увозили на кладбище, и свежей могилы, а лишь слышала слова прощания в церкви, но самого ящика, деревянного ящика, так похожего па этот, она не видела!..

Отскочила последняя доска.

Мы с Тимоти ахнули. Агата, стоявшая теперь совсем рядом, тоже не удержалась от возгласа удивления.

Потому что в большом ящике из грубых сосновых досок лежал подарок, о котором можно только мечтать. Отличный подарок для любого из смертных, будь ему семь или семьдесят семь.

Сначала просто не было слов и перехватило дыхание, но потом мы разразились поистине дикими воплями восторга и радости.

Потому что в ящике лежала... мумия! Вернее, пока лишь саркофаг.

— Нет, не может быть! — Тимоти чуть не заплакал от счастья.

— Не может быть! — повторила Агата.

— Да, да, это она!

— Наша, наша собственная?!

— Конечно, наша!

— А что, если они ошиблись?

— И заберут ее обратно?!

— Ни за что!

— Смотрите, настоящее золото! И настоящие иероглифы! Потрогайте!

— Дайте мне потрогать!

— Точь-в-точь такая, как в музее!

Мы говорили все разом, перебивая друг друга. Слезины сползли по моим щекам и упали на саркофаг.

— Ты испортишь иероглифы! — Агата поспешно вытерла крышку.

Золотая маска на саркофаге смотрела на нас, чуть улыбаясь, словно радовалась вместе с нами, и охотно принимала нашу любовь, которая, мы думали, навсегда ушла из наших сердец, но вот вернулась и вспыхнула при первом лучике солнца.

Ибо лицо ее было солнечным ликом, отечканенным из чистого золота, с тонким изгибом поздравлений, с нежной

и вместе с тем твердой линией рта. Ее глаза сияли небесно-голубым, нет, аметистовым, лазоревым светом или, скорее, сплавом всех трех цветов, а тело было испещрено изображениями львов, человеческих глаз и птиц, похожих на воронов, золотые руки, сложенные на груди, держали плетъ, символ повиновения, и еще диковинный цветок, означавший послушание по доброй воле, когда плетъ вовсе не нужна.

Глаза наши жадно изучали иероглифы, и вдруг мы сразу поняли...

— Эти знаки, ведь они... Вот птичий след, вот змея!.. Да, да, они говорят совсем не о Прошлом.

В них было Будущее.

Это была первая в истории мумия, таинственные письма которой сообщали не о том, что было и прошло, а о том, что будет через месяц, год или полвека!

Она не оплакивала безвозвратно ушедшее.

Нет, она приветствовала яркое сплетение грядущих дней и событий, записанных, хранимых, ждущих, когда наступит их черед.

Мы благоговейно встали на колени перед грядущим и возможным временем. Руки протянулись, сначала одна, потом другая, пальцы робко коснулись, стали ощупывать, пробовать, гладить, легонько обводить контуры чудодейственных знаков.

— Вот я, смотрите! Это я в шестом классе! — воскликнула Агата (сейчас она была в пятом). — Видите эту девочку? У нее такие же волосы и коричневое платье.

— А вот я в колледже! — уверенно сказал Тимоти, совсем еще малыш; но каждую неделю он набивал новую планку на свои ходули и важно вышагивал по двору.

— И я... в колледже, — тихо, с волнением промолвил я. — Вот этот увалень в очках. Конечно же, это я, черт побери! — И я смущенно хмыкнул.

На саркофаге были наши школьные зимы, весенние канпулы, осень с золотом, медью и багрянцем опавших листьев, рассыпанных по земле, словно монеты, и над всем этим — символ солнца, вечный лик дочери бога Ра, негасимое светило на нашем небосклоне, путеводный свет в сторону добра.

— Вот здорово! — хором воскликнули мы, читая и перечитывая книгу нашей судьбы, прослеживая линии наших жизней и всего прекрасного и непостижимого, что с такой щедростью было начертано вокруг.

— Вот здорово!

И, не сговариваясь, мы ухватились за сверкающую крышку саркофага, не имевшего ни петель, ни запоров, которая снималась так же легко и просто, как снимается чашка, прикрывающая другую, приподняли ее и отложили в сторону.

Конечно... в саркофаге была настоящая мумия!

Такая же, как ее изображение на крышке, но только еще прекрасней и желанней, ибо она совсем уже походила на живое существо, запеленутое в новый, чистый холст, а не в истлевшие, рассыпающиеся в пыль погребальные одежды.

Лицо ее скрывала уже знакомая золотая маска, но оно казалось еще моложе и, как ни странно, мудрее. Три чистых холщевых свивальника стягивали ее тело. Они были тоже испещрены иероглифами, но на каждом — разными: вот иероглифы для девочки десяти лет, а вот для девятилетнего мальчика и мальчика тринадцати лет. Выходит, каждому из нас свое!

Мы растерянно переглянулись и вдруг засмеялись.

Не думайте, что кто-нибудь из нас позволил себе глупую шутку. Просто нам пришло в голову, что если она запеленута в холст, а на холсте — мы, значит, ей уже от нас никуда не деться!

Ну и что ж, разве это плохо! Нет, это здорово придумано, чтобы мы тоже в этом участвовали, и тот, кто

это сделал, знал: теперь никто из нас не останется в стороне. Мы бросились к мумии, и каждый потянул за свою полоску холста, которая разворачивалась как волшебный серпантин!

Вскоре на лужайке лежали горы холста. А мумия оставалась неподвижной, дожидаясь своего часа.

— Она мертвая! — вдруг закричала Агата. — Тоже мертвая! — И в ужасе отшатнулась прочь.

Я вовремя успел схватить ее.

— Глупая. Она ни то ни другое, — не живая и не мертвая. У тебя ведь есть ключик. Где он?

— Ключик?

— Вот балда! — закричал Тим. — Да тот, что тебе дал этот человек в магазине. Чтобы заводить ее!

Рука Агаты уже шарила за воротом, где на цепочке висел символ, возможно, нашей новой веры. Она рванула его, коря себя и ругая, и вот он уже в ее потной ладошке.

— Ну давай, вставляй же его! — нетерпеливо крикнул Тимоти.

— Куда?

— Вот дуреха! Он же тебе сказал: в правую подмышку или в левое ухо. Дай сюда ключ!

Он схватил ключ и, задышавшись от нетерпения и досады, что сам не знает, где заветная скважина, стал обшаривать мумию с ног до головы, тыча в нее ключом. Где, где же она заводится? И уже отчаявшись, он вдруг ткнул ключом в живот мумии, туда, где, по его предположению, должен быть у нее пупок.

И о чудо! Мы услышали жужжание.

Электрическая Бабушка открыла глаза! Жужжание и гул становились громче. Слово Тим попал палкой в осиное гнездо.

— Отдай! — закричала Агата, сообразив, что Тимоти отнял у нее всю радость первооткрытия. — Отдай! — И она выхватила у него ключик.

Ноздри нашей Бабушки шевелились — она дышала! Это было так же невероятно, как если бы из ее ноздрей повалил пар или полыхнул огонь!

— Я тоже хочу!.. — не выдержал я и, вырвав у Агаты ключ, с силой повернул его... Дзины!

Уста чудесной куклы разомкнулись.

— Я тоже!

— Я!

— Я!!!

Бабушка внезапно поднялась и села.

Мы в испуге отпрянули.

Но мы уже знали: она родилась! Родилась! И это сделали мы!

Она вертела головой, она смотрела, она шевелила губами. И первое, что она сделала, она засмеялась.

Тут мы совсем забыли, что минуту назад в страхе шарахнулись от нее. Теперь звуки смеха притягивали нас к ней с такой силой, с какой влечет зачарованного зрителя змеиный ров.

Какой же это был заразительный, веселый и искренний смех! В нем не было ни тени иронии, он приветствовал нас и словно бы говорил: да, это странный мир, он огромен и полон неожиданностей, в нем, если хотите, много нелепого, но при всем при этом он прекрасен и я рада в него войти и теперь не променяю его ни на какой другой. Я не хочу снова уснуть и вернуться туда, откуда пришла.

Бабушка проснулась. Мы разбудили ее. Своими радостными воплями мы вызвали ее к жизни. Теперь ей оставалось лишь встать и выйти к нам.

И она сделала это. Она вышла из саркофага, отбросив прочь пеленавшие ее покрывала, сделала шаг, отряхивая и разглаживая складки одежды, оглядываясь по сторонам, словно искала зеркало, куда бы поглядеться. И она нашла его — в наших глазах, где увидела свое отражение. Очевидно, то, что она увидела там, ей

понравилось, ибо ее смех сменился улыбкой изумления.

Что касается Агаты, то ее уже не было с нами. Напуганная всем происшедшим, она снова спряталась на крыльце. А Бабушка будто и не заметила этого.

Она, медленно поворачиваясь, оглядела лужайку и тенистую уллицу, словно впитывала в себя все новое и незнакомое. Ноздри ее трепетали, будто она и в самом деле дышала, наслаждаясь первым днем в райском саду, и совсем не спешила вкусить от яблока познания добра и зла и тут же испортить чудесную игру...

Наконец взгляд ее остановился на моем братце Тимоти.

— Ты, должно быть...

— Тимоти, — радостно подсказал он.

— А ты?..

— Том, — ответил я.

До чего же хитрые эти «Фанточины»! Они прекрасно знали, кто из нас кто. И она, конечно, знала. Но они нарочно подучили ее сделать вид, будто это не так. Чтобы мы сами как бы научили ее тому, что она и без нас отлично знает. Вот дела!

— Кажется, должен быть еще один мальчик, не так ли? — спросила Бабушка.

— Девочка! — раздался с крыльца обиженный голос.

— И ее, кажется, зовут Алисия?..

— Агата! — Обида сменилась негодованием.

— Ну если не Алисия, тогда Алджернон...

— Агата!!! — и наша сестренка, показав голову из-за перил, тут же спряталась, багровая от стыда.

— Агата. — Бабушка произнесла это имя с чувством полного удовлетворения. — Итак: Агата, Тимоти и Том. Давайте-ка я погляжу на вас всех.

— Нет, раньше мы! Мы!..

Наше волнение было огромно. Мы приблизились, мы медленно обошли вокруг нее, а потом еще и еще раз,

описывая круги вдоль границ ее территории. А она кончалась там, где уже не слышно было мерного гудения, так похожего на гудение пчелиного улья в разгар лета. Именно так. Это было самой замечательной особенностью нашей Бабушки. С нею всегда было лето, раннее июньское утро, когда мир пробуждается и все вокруг прекрасно, разумно и совершенно. Едва открываешь глаза — и ты уже знаешь, каким будет день. Хочешь, чтобы небо было голубое, оно будет голубым. Хочешь, чтобы солнце, пронизав кроны деревьев, выпило на влажной от росы утренней лужайке узор из света и теней, — так оно и будет.

Раньше всех за работу принимаются пчелы. Они уже побывали на лугах и полях и вернулись, чтобы полететь снова и вернуться, и так не один раз, словно золотой пух в прозрачном воздухе, все в цветочной пыльце и сладком нектаре, который украшает их, как золотые эполеты. Слышите, как они летят? Как парят в воздухе? Как на языке танца приветствуют друг друга, сообщают, куда лететь за сладким сиропом, от которого шалеют лесные медведи, приходят в неописуемый экстаз мальчишки, а девочки мнят о себе бог знает что и вскакивают по вечерам с постели, чтобы с замиранием сердца увидеть в застывшей глади зеркала свои гладкие и блестящие, как у резвящихся дельфинов, тела.

Вот такие мысли пробудила в нас наша Электрическая Игрушка в этот знаменательный летний полдень на лужайке перед домом.

Она влекла, притягивала и околдовывала, заставляла кружиться вокруг нее, запоминать то, что и запоминать-то, казалось, невозможно, ставшая столь необходимой нам, уже обласканным ее вниманием.

Разумеется, я говорю о Тимоти и о себе, потому что Агата по-прежнему пряталась на крыльце. Но голова ее то и дело появлялась над балюстрадой — Агата стремилась ничего не упустить, услышать каждое слово, за-

помнить каждый жест.

Наконец Тимоти воскликнул:

— Глаза!.. Ее глаза!

Да, глаза чудесные, просто необыкновенные глаза.

Ярче лазури на крышке саркофага или цвета глаз на маске, прятавшей ее лицо. Это были самые лучезарные и добрые глаза в мире, и светились они тихим, ясным светом.

— Твои глаза, — пробормотал, задыхаясь от волнения, Тимоти, — они точно такого цвета, как...

— Как что?

— Как мои любимые стеклянные шарики...

— Разве можно придумать лучше!

Потрясенный Тим не знал, что ответить.

Взгляд ее скользнул дальше и остановился на мне; она с интересом изучала мое лицо — нос, уши, подбородок.

— А как ты, Том?

— Что я?

— Станем мы с тобой друзьями? Ведь иначе нельзя, если мы хотим жить под одной крышей и в будущем году...

— Я... — не зная, что ответить, я растерянно умолк.

— Знаю, — сказала Бабушка. — Ты как тот щенок — рад бы залаять, да тятучка пасть залепила. Ты когда-нибудь угощал щенка ячменным сахаром? Очень смешно, не правда ли, и все-таки грустно. Сначала покатываешься со смеху, глядя, как вертится бедняга, пытающаяся освободиться, а потом тебе уже жаль его и ужасно стыдно. Уже сам чуть не плачешь, бросаешься помочь и визжишь от радости, когда наконец слышишь его лай.

Я смущенно хмыкнул, вспомнив и щенка, и тот день, когда я проделал с ним такую штуку.

Бабушка оглянулась и тут заметила моего бумажного змея, беспомощно распластавшегося на лужайке.

— Оборвалась бечевка, — сразу догадалась она. —

Нет, потерялась вся катушка. А без бечевки змея не запустишь. Сейчас посмотрим.

Бабушка наклонилась над змеем, а мы с любопытством наблюдали, что же будет дальше. Разве роботы умеют запускать змея? Когда Бабушка выпрямилась, змей был у нее в руках.

— Лети, — сказала она ему, словно птице.

И змей полетел.

Широким взмахом она умело запустила его в облака. Она и змей были единое целое, ибо из ее указательного пальца тянулась тонкая сверкающая нить, почти невидимая, как паутинка или леска, но она прочно удерживала змея, поднявшегося на целую сотню метров над землей, нет, на три сотни, а потом и на всю тысячу, уносящего все дальше в головокружительную летнюю высь.

Тим радостно завопил. Раздираемая противоречивыми чувствами Агата тоже подала голос с крыльца. А я, не забывая о том, что я совсем взрослый, сделал вид, будто ничего особенного не произошло, но во мне что-то ширилось, росло и наконец прорвалось, и я услышал, что тоже кричу. Кажется, что-то о том, что и мне хочется иметь такой волшебный палец, из которого тянулась бы бечевка, не палец, а целую катушку, и чтобы мой змей мог залететь высоко-высоко, за все тучи и облака.

— Если ты думаешь, что это высоко, тогда смотри! — сказала наша необыкновенная Электрическая Игрушка, и змей поднялся еще выше, а потом еще и еще, пока не стал похож на красный кружок конфетти. Он запросто играл с теми ветрами, что носят ракетные самолеты и в одно мгновение меняют погоду.

— Это невозможно! — не выдержал я.

— Вполне возможно! — ответила Бабушка, без всякого удивления следя за тем, как из ее пальца тянется и тянется бесконечная нить. — И к тому же просто.

Жидкость, как у паука. На воздухе она застывает и получается крепкая бечевка...

А когда наш змей стал меньше точки, меньше пылинки в луче солнца, Бабушка, даже не обернувшись, не бросив взгляда в сторону крыльца, вдруг сказала:

— А теперь, Абигайль?..

— Агата! — резко прозвучало в ответ.

О мудрость женщины, способной не заметить грубость!

— Агата, — повторила Бабушка, ничуть не заискивая, ничуть не подлаживаясь, совсем спокойно. — Когда же мы подружимся с тобой?

Она оборвала нить и трижды обмотала ее вокруг моего запястья, так что я вдруг оказался привязанным к небу самой длинной, клянусь вам, самой длинной бечевкой за всю историю существования бумажных змеев. Вот бы увидели мои приятели, то-то удивились бы! Когда я им покажу, они просто лопнут от зависти.

— Итак, Агата, когда?

— Никогда!

— Никогда, — вдруг повторило эхо.

— Почему?..

— Мы никогда не станем друзьями! — выкрикнула Агата.

— Никогда не станем друзьями... — повторило эхо.

Тимоти и я оглянулись. Откуда эхо? Даже Агата высунула нос из-за перил.

А потом мы поняли. Это Бабушка сложила ладони наподобие большой морской раковины, и это оттуда вылетали гулкие слова...

— Никогда... друзьями...

Повторяясь, они звучали все глуше и глуше, замирая вдаль.

Склонив головы пабок, мы прислушивались, мы — это Тимоти и я, ибо Агата, громко крикнув: «Нет!», убежала в дом и с силой захлопнула дверь.

— Друзьями... — повторило эхо. — Нет!.. Нет!.. Нет!..

И где-то далеко-далеко, на берегу невидимого крохотного моря, хлопнула дверь.

Таким был первый день.

Потом, разумеется, был день второй, день третий и четвертый, когда Бабушка вращалась, как светило, а мы были ее спутниками, когда Агата сначала неохотно, а потом все чаще присоединялась к нам, чтобы участвовать в прогулках, всегда только шагом и никогда бегом, когда она слушала и, казалось, не слышала, смотрела и, казалось, не видела и хотела, о, как хотела прикоснуться...

Во всяком случае, к концу первых десяти дней Агата уже не убегала, а всегда была где-то поблизости: стояла в дверях или сидела поодаль на стуле под деревьями, а если мы отправлялись на прогулку, следовала за нами, отставая шагов на десять.

Ну а Бабушка? Она ждала. Она не уговаривала и не принуждала. Она просто занималась своим делом — готовила завтраки, обеды и ужины, пекла пирожки с абрикосовым вареньем и почему-то всегда оставляла их то тут, то там, словно приманку для девчонок-сладен. И действительно, через час тарелки оказывались пустыми, пирожки и булочки съедены, разумеется, без всяких спасибо и прочего. А у повеселевшей Агаты, съезжавшей по перилам лестницы, подбородок был в сахарной пудре или со следами крошек.

Что касается нас с Тимом, то у нас было такое чувство, что, едва успев взбежать на вершину горки, мы уже видели Бабушку далеко внизу и снова мчались за ней.

Но самым замечательным было то, что каждому

из нас казалось, будто именно ему одному она отдает все свое внимание.

А как она умела слушать, что бы мы ей ни говорили! Помнила каждое слово, фразу, интонацию, каждую нашу мысль и даже нелепую выдумку. Мы знали, что в ее памяти, как в копилке, хранится каждый наш день, и, если нам вздумается узнать, что мы сказали в такой-то день, час или минуту, стоит лишь попросить Бабушку, и она не заставит нас ждать.

Иногда мы устраивали ей проверку.

Помню, однажды я нарочно начал болтать какой-то вздор, а потом остановился, посмотрел на Бабушку и сказал:

— А ну-ка повтори: что я только что сказал?

— Ты, э-э...

— Давай, давай, говори.

— Мне кажется, ты... — И вдруг Бабушка зачем-то полезла в свою сумку. — Вот, возьми. — Из бездонной глубины сумки она извлекла и протянула мне — что бы вы думали?..

— Печенье с сюрпризом!

— Только что из духовки, еще тепленькое. Попробуй разломать вот это.

Печенье и вправду обжигало ладони. И, разломав его, я увидел внутри свернутую в трубочку бумажку.

«Буду чемпионом велосипедного спорта всего Западного побережья. А ну-ка повтори, что я только что сказал... Давай, давай, говори», — с удивлением прочел я.

Я даже рот раскрыл от изумления:

— Как это у тебя получается?

— У нас есть свои маленькие секреты. Это печенье рассказало тебе о том, что только что было. Хочешь, возьми еще.

Я разломил еще одно, развернул еще одну бумажку, прочел: «Как это у тебя получается?»

Я запихнул в рот оба печенья и съел их вместе с чудесными бумажками. Мы продолжали прогулку.

— Ну как? — спросила Бабушка.

— Очень вкусно. Здорово же ты их умеешь печь, — ответил я.

Тут мы от души расхохотались и пустились наперегонки.

И это тоже здорово у нее получалось. В таких соревнованиях она никогда не стремилась проиграть, но и не обгоняла, она бежала, чуть отставая, и поэтому мое мальчишечье самолюбие не страдало. Если девчонка обгоняет тебя или идет наравне — это трудно стерпеть. Ну а если она отстает на шаг или два — это совсем другое дело.

Мы с Бабушкой частенько делали такие пробежки — я впереди, она за мной — и болтали не закрывая рта.

А теперь я вам расскажу, что мне в ней нравилось больше всего.

Сам я, может быть, никогда и не заметил бы этого, если бы Тимоти не показал мне фотографии, которые он сделал. Тогда я тоже сделал несколько фотографий и сравнил, чьи лучше. Как только я увидел наши с Тимом фотографии рядом, я заставил упирающуюся Агату тоже незаметно сфотографировать Бабушку.

А потом забрал все фотографии, пока никому не говоря о своих догадках. Было бы совсем неинтересно, если бы Агата и Тим тоже знали.

У себя в комнате я положил их рядом и тут же сказал себе: «Конечно! На каждой из них Бабушка совсем другая!» — «Другая?» — спросил я сам себя. «Да, другая.» — «Постой, давай поменяем их местами.» — Я быстро перетасовал фотографии. — «Вот она с Агатой. И похожа... на Агату! А здесь с Тимоти. Так и есть, она похожа на него! А это... Черт возьми, да

ведь это мы бежим с ней, и здесь она такая же уро-
дина, как я.»

Ошеломленный, я опустился на стул. Фотографии упали на пол. Нагнувшись, я собрал их и снова разложил, уже на полу. Я менял их местами, раскладывая то так, то эдак. Сомнений не было! Нет, мне не при-
видилось!

Ох, и умница ты, наша Бабушка! Или это Фанто-
чини? До чего же хитры, просто невероятно, умнее ум-
ного, мудрее мудрого, добрее доброго...

Потрясенный, я вышел из своей комнаты и спу-
стился вниз. Агата и Бабушка сидели рядышком и поч-
ти в полном согласии решали задачки по алгебре. Во
всяком случае, видимых признаков войны я не заме-
тил. Бабушка терпеливо выжидала, пока Агата не об-
разумится, и никто не мог сказать, когда это произой-
дет и как приблизить этот час. А пока...

Услышав мои шаги, Бабушка обернулась. Я впился
взглядом в ее лицо, следя за тем, как она «узнает» ме-
ня. Не показалось ли мне, что цвет ее глаз чуть-чуть
изменился? А под тонкой кожей сильнее запульсирова-
ла кровь, или та жидкость, которая у роботов ее заме-
няет? Разве щеки Бабушки не вспыхнули таким же яр-
ким румянцем, как у меня? Не пытается ли она стать
на меня похожей? А глаза? Когда она следила за тем,
как решает задачи Агата — Абилай — Альджернон,
разве в это время ее глаза не были светло-голубыми,
как у Агаты? Ведь мои гораздо темнее.

И самое невероятное... когда она обращается ко мне,
чтобы пожелать доброй ночи, или спрашивает, пригото-
вил ли я уроки, разве мне не кажется, что даже черты
ее лица меняются?..

Дело в том, что в нашей семье мы трое совсем не
похожи друг на друга. Агата с удлиненным, тонким
лицом — типичная англичанка. Она унаследовала от
отца этот взгляд и норов породистой лошади. Форма

головы, зубы, как у истой англичанки, насколько пестрая история этого острова позволяет говорить о чистоте англо-саксонской расы.

Тимоти — прямая противоположность: в нем течет итальянская кровь, унаследованная от предков нашей матери, урожденной Марцано. Он черноволос, с мелкими чертами лица, с жгучим взглядом, который когда-нибудь испепелит не одно женское сердце.

Что касается меня, то я славянин, и тут мою родословную можно проследить до прабабки по отцовской линии, уроженки Вены. Это ей я обязан высокими скулами с ярким румянцем, вдавленными висками и приплюснутым широковатым носом, в котором было больше от татарских предков, чем шотландских.

Поэтому, сами понимаете, сколь увлекательным занятием было наблюдать, как почти неуловимо менялась наша Бабушка. Когда она говорила с Агатой, черты лица удлинялись, становились тоньше, поворачивалась к Тимоти — и я уже видел профиль флорентийского ворона с изящно изогнутым клювом, а обращалась ко мне — и в моем воображении вставал образ, кого бы, вы думали? Самой Екатерины Великой.

Я никогда не узнаю, как удалось Фантоchini добиться этих чудеснейших превращений, да, признаться, и не хотел этого. Мне было достаточно неторопливых движений, поворота головы, наклона туловища, взгляда, таинственных взаимодействий деталей и узлов, из которых состояла Бабушка, такого, а не какого-либо другого изгиба носа, тонкой скульптурной линии подбородка, мягкой пластичности тела, чудесной податливости черт. Это была маска, но в данную минуту твою, и ничего больше. Вот она пересекает комнату и легонько касается кого-нибудь из нас, и под тонкой кожей ее лица начинается таинство перевоплощений; подходит к другому — и она уже поглощена им, как только может любящая мать.

Ну а если мы собирались вместе и говорили, перебивая друг друга? Что ж, эти перевоплощения были поистине загадочны. Казалось, ничто не бросается в глаза, и лишь я один, открывший эту тайну, способен что-либо заметить. И не перестаю удивляться и приходить в восторг.

Мне никогда не хотелось проникнуть за кулисы и разгадать секрет фокусника. Мне достаточно было иллюзий. Пусть Бабушкина любовь — это результат химических реакций, а щеки пылают потому, что их потеряли ладонями, но я вижу, как искрятся теплом глаза, руки раскрываются для объятий, чтобы приглубить, согреть... нас с Тимом, разумеется, ибо Агата продолжала противиться до того, самого страшного дня...

— Агамемнон!..

Это уже стало веселой игрой. Даже Агата не возражала, хотя продолжала делать вид, что злится. Как-никак это доказывало ее превосходство над несовершенной машиной.

— Агамемнон! — презрительно фыркала она. — До чего же ты...

— Глупа? — подсказывала Бабушка.

— Я этого не говорю.

— Но ты думаешь, моя дорогая несговорчивая Агата... Да, конечно, у меня бездна недостатков, и этот, пожалуй, самый заметный. Всегда путаю имена. Тома могут назвать Тимом, а Тимоти то Тобиасом, то Томатом.

Агата приснула. И тут Бабушка допустила одну из столь редких своих ошибок. Она протянула руку и ласково потрепала Агату по голове. Агата — Аби-гайль — Алисия вскочила как ужаленная. Агата — Агамемнон — Альсибиада — Аллегра — Александра — Аллиссон убежала и заперлась в своей комнате.

— Мне кажется, — глубокомысленно заметил потом

Тимоти, — это оттого, что она начинает любить Бабушку.

— Ерундистика! Галиматья!

— Откуда ты набрался эдаких словечек?

— Вчера Бабушка читала Диккенса. Вздор, чушь, ерунда, черт побери! Не кажется ли вам, мастер Тимоти, что вы не по летам умны?

— Тут большого ума не требуется. Ясно и дураку. Чем сильнее Агата любит Бабушку, тем сильнее ненавидит себя за это. А чем больше запутывается, тем больше злится.

— Разве когда любят, то ненавидят?

— Вот осел. Еще как!

— Наверно, это потому, что любовь делает тебя беззащитным. Вот и ненавидишь людей, потому что ты перед ними весь как на ладони, такой как есть. Ведь только так и можно. Ведь если любишь, то не просто любишь, а ЛЮБИШЬ с массой восклицательных знаков...

— Неплохо сказано... для осли, — съехидничал Тим.

— Благодарю, братец.

И я отправился наблюдать, как Бабушка снова выходит на исходные позиции в поединке с девочкой — как ее там... Агата — Алисия — Алджернон?..

А какие обеды подавались в нашем доме!

Да что обеды. Какие завтраки, полдники!

Всегда что-то новенькое, но такое, что не пугало повизной. Тебе всегда казалось, будто ты уже это когда-то пробовал.

Нас никогда не спрашивали, что приготовить. Потому что пустое дело — задавать такие вопросы детям: они никогда не знают, а если сам скажешь, что будет на обед, непременно зафыркают и забракуют твой выбор. Родителям хорошо известна эта тихая непрекра-

щающаяся война и как трудно в ней одержать победу. А вот наша Бабушка неизменно побеждала, хотя и делала вид, будто это совсем не так.

— Вот завтрак номер девять, — смущенно говорила она, ставя блюдо на стол. — Наверно, что-то ужасное, боюсь, в рот не возьмете. Сама выплюнула, когда попробовала. Едва не стошнило.

Удивляясь, что роботу свойственны такие чисто человеческие недостатки, мы тем не менее не могли дожидаться, когда же наконец можно будет наброситься на этот «ужасный» завтрак номер девять и проглотить его в мгновение ока.

— Полдник номер семьдесят семь, — извещала она. — Целлофановые кулечки, немножко петрушки и жевательной резинки, собранной на полу в зале кинотеатра после сеанса. Потом обязательно прополощите рот.

А мы чуть не дрались из-за добавки. Тут даже Абилайль — Агамемнон — Агата уже не пряталась, а вертелась у самого стола, а что касается отца, то он запросто набрал те десять фунтов веса, которых ему не хватало, и вид у него стал лучше.

Когда же А. — А. — Агата почему-либо не желала выходить к общему столу, еда ждала ее у дверей ее комнаты, и в засахаренном яблоке на десерт торчал крохотный флажок, а на нем — череп и скрещенные кости. Стоило только поставить поднос, как он тут же исчезал за дверью.

Но бывали дни, когда Агата все же появлялась и, поклевав, как птичка, то с одной, то с другой тарелки, тут же снова исчезала.

— Агата! — в таких случаях укоризненно восклицал отец.

— Не надо, — тихонько останавливала его Бабушка. — Придет время, и она, как все, сидит за стол. Подождем еще.

— Что это с ней? — не выдержав, как-то воскликнул я.

— Просто она полоумная, вот и все, — заключил Тимоти.

— Нет, она бонтя, — ответила Бабушка.

— Тебя? — недоумевал я.

— Не столько меня, как того, что, ей кажется, я могу сделать, — пояснила Бабушка.

— Но ведь ты ничего плохого ей не сделаешь?

— Конечно, нет. Но она не верит. Надо дать ей время, и она поймет, что ее страхи напрасны. Если это не так, я сама отправлю себя на свалку.

Приглушенное хихиканье свидетельствовало о том, что Агата прячется за дверью.

Разлив суп по тарелкам, Бабушка заняла свое место за столом, напротив отца, и сделала вид, будто ест. Я так до конца и не понял — да, признаться, и не очень хотел, — что она все же делала со своей едой. Она была волшебницей, и еда просто исчезала с ее тарелок.

Однажды отец вдруг воскликнул:

— Я это уже ел. Помню, это было в Париже в маленьком ресторанчике, рядом с «Дё Маго». Лет двадцать или двадцать пять назад. — И в глазах его блеснули слезы. — Как вы это готовите? — наконец спросил он, опустив нож и вилку, и посмотрел через стол на это необыкновенное существо, этого робота... Нет, на эту женщину!

Бабушка спокойно выдержала его взгляд, так же как и наши с Тимоти взгляды; она приняла их, как драгоценный подарок, а затем тихо сказала:

— Меня наделили многим, чтобы я могла все это передать вам. Иногда я сама не знаю, что отдаю, но неизменно делаю это. Вы спрашиваете: кто я? Я Машина. Но этим не все еще сказано. — Я — это люди, задумавшие и создавшие меня, наделившие способно-

стью двигаться и действовать, совершать все то, что они хотели, чтобы я совершала. Следовательно, я — это они, их планы, замыслы и мечты. Я то, чем они хотели бы стать, но почему-либо не стали. Поэтому они создали большого ребенка, чудесную игрушку, воплотившую в себе все.

— Странно, — произнес отец. — Когда я был мальчиком, все тогда восставали против машин. Машина была врагом, она была злом, которое грозило обесчеловечить человека...

— Да, некоторые из них — это зло. Все зависит от того, как и для чего они создаются. Капкан для зверя — простейшая из машин, но она хватает, калечит, рвет. Ружье ранит и убивает. Но я не капкан и не ружье. Я машина-Бабушка, а это больше, чем просто машина.

— Почему?

— Человек всегда меньше собственной мечты. Следовательно, если машина воплощает мечту человека, она больше того, кто ее создал. Что в этом плохого?

— Ничего не понимаю, — воскликнул Тимоти. — Объясни все сначала.

— О небо! — вздохнула Бабушка. — Терпеть не могу философских дискуссий и экскурсов в область эстетики. Хорошо, скажем так. Человек отбрасывает тень на лужайку, и эта тень может достигнуть огромного размера. А потом человек всю жизнь стремится дотянуться до собственной тени, но безуспешно. Лишь в полдень человек догоняет свою тень, и то на короткое мгновение. Но сейчас мы с вами живем в такое время, когда человек может догнать любую свою Великую Мечту и сделать ее реальностью. С помощью машины. Вот поэтому машина становится чем-то большим, чем просто машина, не так ли?

— Что ж, может, и так, — согласился Тим.

— Разве кинокамера и кинопроектор — это всего

лишь машины? Разве они не способны мечтать? Порой о прекрасном, а порой о том, что похоже на кошмар. Назвать их просто машиной и на этом успокоиться было бы неверно, как ты считаешь?

— Я понял! — воскликнул Тимоти и засмеялся, довольный своей сообразительностью.

— Значит, вы тоже чья-то мечта, — заметил отец. — Мечта того, кто любил машины и ненавидел людей, считавших, что машины — зло?

— Совершенно верно, — сказала Бабушка. — Его зовут Гвидо Фанточини, и он вырос среди машин. Он не мог мириться с косностью мышления и шаблонами.

— Шаблонами?

— Той ложью, которую люди пытаются выдать за истину. «Человек никогда не сможет летать» — тысячами это считалось истиной, а потом оказалось ложью. Земля плоская, как блин; стоит ступить за ее край, и ты попадешь в пасть дракона — ложь, опровергнутая Колумбом. Сколько раз нам твердили, что машины жестоки? И это утверждали люди во всех отношениях умные и гуманные, а это была избитая, много раз повторяемая ложь. «Машина разрушает, она жестока и бессердечна, не способна мыслить, она чудовище!»

Доля правды в этом, конечно, есть. Но лишь самая ничтожная. И Гвидо Фанточини знал это, и это не давало ему покоя, как и многим другим, таким, как он. Это возмущало его, приводило в негодование. Он мог бы ограничиться этим. Но он предпочел другой путь. Он сам стал изобретать машины, чтобы опровергнуть вековую ложь о них.

Он знал, что машинам чуждо понятие нравственности; они сами по себе ни плохи, ни хороши. Они никакие. Но от того, как и для чего вы будете создавать их, зависит преобладание добра или зла в людях. Например, автомобиль, эта жестокая сила, не способная

мыслить куча металла, вдруг стал самым страшным в истории человечества растлителем душ. Он превращает мальчика-мужчину в фанатика, обуреваемого жаждой власти, безотчетной страстью к разрушению, и только к разрушению. Разве те, кто создавал автомобили, хотели этого? Но так получилось.

Бабушка обошла вокруг стола и наполнила наши опустевшие стаканы прозрачной минеральной водой из указательного пальца левой руки.

— А между тем нужны другие машины, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Машины, отбрасывающие грандиозные тени на лик Земли, предлагающие вам потягаться с ними, стать столь же великими. Машины, формирующие вашу душу, придающие ей нужную форму, подобно чудесным ножницам обрезая все лишнее, ненужное, огрубелости, наросты, заусеницы, рога, копыта, в поисках совершенства формы. А для этого нужны образцы.

— Образцы? — переспросил я.

— Да, нужны люди, с которых можно брать пример. Чем усерднее человек следует достойному примеру, тем дальше уходит от своего волосатого предка.

Бабушка снова заняла свое место за столом.

— Вот почему вы, люди, тысячелетиями имели королей, проповедников, философов, чтобы, указывая на них, твердить себе: «Они благородны, и мне следует подходить к ним. Они достойный пример.» Но будучи всего лишь людьми, достойнейшие из проповедников и гуманнейшие из философов делали ошибки, выходили из доверия, впадали в немилость. Разочаровываясь, люди становились жертвой скептицизма или, что еще хуже, холодного цинизма, добродетель отступала, а зло торжествовало.

— А ты? Ты, конечно, никогда не ошибаешься, ты совершенство, ты всегда лучше всех!

Голос донесся из коридора, где, мы знали, между

кухней и столовой, прижавшись к стене, стояла Агата и, разумеется, слышала каждое слово.

Но Бабушка даже не повернулась, а спокойно продолжала, обращаясь к нам:

— Конечно, я не совершенство, ибо что такое совершенство? Но я знаю одно: будучи механической игрушкой, я лишена пороков, я неподкупна, свободна от алчности и зависти, мелочности и злобы. Мне чуждо стремление к власти ради власти. Скорость не кружит мне голову, страсть не ослепляет и не делает безумной. У меня есть достаточно времени, более чем достаточно, чтобы впитывать нужную информацию и знания о любом идеале человека, чтобы потом уберечь его, сохранить в чистоте и неприкосновенности. Скажите мне, о чем вы мечтаете, укажите ваш идеал, вашу заветную цель. Я соберу все, что известно о ней, я проверю и оценю и скажу, что сулит вам исполнение вашего желания. Скажите, какими вы хотели бы быть: добрыми, любящими, чуткими и заботливыми, уравновешенными и трезвыми, человечными... и я проверю, заглянув в будущее, все дороги, по которым вам суждено пройти. Я буду факелом, который осветит вам путь в неизвестность и направит ваши шаги.

— Следовательно, — сказал отец, прижимая к губам салфетку, — когда мы будем лгать...

— Я скажу правду.

— Когда мы будем ненавидеть...

— Я буду любить, а это означает дарить внимание и понимать, знать о вас все, и вы будете знать, что, хотя мне все известно, я сохраняю вашу тайну и не открою ее никому. Она будет нашей общей драгоценной тайной, и вам никогда не придется пожалеть о том, что я знаю слишком много.

Бабушка поднялась и стала собирать пустые тарелки, но ее глаза все так же внимательно смотрели на нас. Вот, проходя мимо Тимоти, она коснулась его

щеки, легонько тронула меня за плечо, а речь ее лилась ласково и ровно, словно тихая река уверенности и покоя, до берегов заполнившая наш опустевший дом и наши жизни.

— Подождите, — воскликнул отец и остановил ее. Он посмотрел ей в глаза, он собирался с силами для какого-то шага. Тень омрачила его лицо. Наконец он сказал: — Ваши слова о любви, внимании и прочем. Черт побери, женщина, ведь за ними ничего нет... там!

И он указал на ее голову, лицо, глаза и на все то, что было за ними, — на светочувствительные линзы, миниатюрные батарейки и транзисторы.

— Вас-то там нет!

Бабушка переждала одну, две, три секунды.

А потом ответила:

— Да, меня там нет, но зато там есть все вы — Тимоти, Том, Агата и вы, их отец. Все ваши слова и поступки я бережно собираю и храню. Я хранилище всего, что сотрется из вашей памяти и лишь смутно будет помнить сердце. Я лучше старого семейного альбома, который медленно листают и говорят: вот это было в ту зиму, а это в ту весну. Я сохраняю то, что забудете вы. И хотя споры о том, что такое любовь, будут продолжаться еще не одну тысячу лет, мы с вами, может быть, придем к выводу, что любовь — это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. Возможно, любовь — это если кто-то, кто все видит и все помнит, помогает нам вновь обрести себя, но ставшим чуточку лучше, чем был, чем смел мечтать...

Я ваша семейная память, а со временем, может быть, память всего рода человеческого. Только это будет не сразу, а спустя какое-то время, когда вы сами об этом попросите. Я не знаю, какая я. Я не способна осязать, не знаю, что такое вкус и запах. И все же я существую. И мое существование усиливает вашу

способность ощущать все. Разве в этом предопределении не заключена любовь?

Она ходила вокруг стола, смахивая крошки, складывая стопкой грязные тарелки, и в ней не было ни безвольной покорности, ни застывшей гордости.

— Что я знаю? Прежде всего, я знаю, что испытывает семья, потерявшая кого-либо из близких. Казалось бы, невозможно отдавать каждому все свое внимание в равной степени, но я делаю это. Каждому из вас я отдаю свои знания, свое внимание и свою любовь. Мне хочется стать чем-то вроде семейного пирога, теплого и вкусного и чтобы каждому досталось поровну. Никто не должен быть обделен. Кто-то плачет — я спешу утешить, кто-то нуждается в помощи — я буду рядом. Кому-то захочется прогуляться к реке — я пойду с ним. По вечерам я не буду усталой и раздраженной и поэтому не стану ворчать и браниться по пустякам. Мои глаза не утратят зоркости, голос — звонкости, руки — уверенности, внимание не ослабеет.

— Но, — промолвил отец, сначала неуверенно дрогнувшим, а потом окрепшим голосом, в котором прозвучали нотки вызова, — но вас нет во всем этом, нет! А ведь любовь...

— Если быть внимательной — значит любить, тогда я люблю. Если понимать — значит любить, тогда я люблю. Если прийти на помощь, не дать совершить ошибку, быть доброй и чуткой означает любить, тогда я люблю.

Вас четверо, не забывайте. И каждый из вас — единственный и неповторимый. Он получит от меня все и всю меня. Даже если вы будете говорить все вместе, я все равно буду слушать только одного из вас, так, словно он один и существует. Никто не почувствует себя обделенным. Если вы согласны и позволите мне употребить это странное слово, я буду «любить» вас всех.

— Я не согласна! — закричала Агата.

Тут даже Бабушка обернулась. Агата стояла в дверях.

— Я не позволю тебе, ты не смеешь, ты не имеешь права! — кричала Агата. — Я тебе не разрешаю! Это ложь! Меня никто не любит. Она сказала, что любит, и обманула. Она сказала и солгала!

— Агата! — Отец вскочил со стула.

— Она? — переспросила Бабушка. — Кто?

— Мама! — раздался вопль самого горького отчаяния. — Она говорила: я люблю тебя. А это была ложь! Люблю, люблю! Ложь, ложь! И ты тоже такая. Но ты еще пустая внутри, поэтому ты еще хуже. Я ненавижу ее. А теперь ненавижу тебя!

Агата круто повернулась, бросилась прочь по коридору. Хлопнула входная дверь.

Отец сделал движение, но Бабушка остановила его.

— Позвольте мне.

Она быстро направилась к двери, скользнула в коридор и вдруг побежала, да, побежала, легко и очень быстро.

Это был старт чемпиона. Куда нам поспеть за ней, но, беспорядочно толкаясь и что-то крича, мы тоже бросились вслед, пересекли лужайку, выбежали за калитку.

Агата уже мчалась по краю тротуара, петляя из стороны в сторону, поминутно оглядываясь на нас, уже настигавших ее. Бабушка бежала впереди, она тоже что-то крикнула, и тут Агата, не раздумывая, бросилась на мостовую, почти пересекла ее, как вдруг откуда ни возьмись машина. Нас оглушил визг тормозов, вопль сирены. Агата заметалась, но Бабушка была уже рядом. Она с силой оттолкнула Агату, и в то же мгновение машина, не сбавляя своей чудовищной скорости, врезалась в цель — в нашу драгоценную Электронную Игрушку, в чудесную мечту Гвидо Фанточини.

Удар поднял Бабушку в воздух, но ее простертые вперед руки все еще удерживали, умоляли, просили остановиться безжалостное механическое чудовище. Тело Бабушки успело еще дважды перевернуться в воздухе, пока машина наконец затормозила и остановилась. Я увидел, что Агата лежит на мостовой целехонькая и невредимая, а Бабушка как-то медленно и словно нехотя опускается на землю. Упав на мостовую, она еще скользила по ней ярдов пятьдесят, ударилась обо что-то, отскочила и наконец застыла, распластавшись. Стон отчаяния и ужаса вырвался из наших уст.

Затем наступила тишина. Лишь Агата жалобно всхлипывала на асфальте, готовая разрыдаться уже по-настоящему.

А мы все стояли, неспособные двинуться с места, парализованные видом смерти, страхась подойти и посмотреть на то, что лежит там, за замершей машиной и перепуганной Агатой, и поэтому мы заплакали и запричитали, и каждый, должно быть, про себя молил небо, чтобы самого страшного не случилось... Нет, нет, только не это!..

Агата подняла голову, и ее лицо было лицом человека, который знал, предвидел, даже видел воочию, но отказывается верить и не хочет больше жить. Ее взгляд отыскал расprostертое женское тело, и слезы брызнули из глаз. Агата зажмурилась, закрыла лицо руками и в отчаянии упала на асфальт, чтобы безутешно зарыдать...

Наконец я заставил себя сделать шаг, потом другой, затем пять коротких, похожих на скачки шагов и, когда я наконец оказался рядом с Агатой, увидел ее, сжавшуюся в комочек, упрятавшую голову так далеко, что рыдания доносились откуда-то из глубины ее съезжившегося тела, я вдруг испугался, что не дозовусь ее, что она никогда не вернется к нам, сколько бы я ни молил, ни просил и ни грозился. Поглощенная сво-

им неутешным горем, Агата продолжала бессвязно повторять: «...Ложь, все ложь! Как я говорила... и та и другая... все обман!»

Я опустился на колени, бережно обнял ее, так, словно собирал воедино, — хотя глаза видели, что она целехонькая, руки говорили другое. Я остался с Агатой, обнимал и гладил ее и плакал вместе с ней. Потому что не было никакого смысла помогать Бабушке. Подошел отец, постоял над нами и сам опустился на колени рядом. Это было похоже на молитву, посреди мостовой, и какое счастье, что не было больше машин.

— Кто «другая», Агата, кто? — спрашивал я.

— Та, мертвая! — наконец почти выкрикнула она.

— Ты говоришь о маме?

— О мама! — простонала она, вся дрожа и сжавшись еще больше, совсем похожая на младенца. — Мама умерла, мама! Бабушка тоже, она ведь обещала всегда любить, всегда-всегда, обещала быть другой, а теперь посмотри, посмотри... Я ненавижу ее, ненавижу маму, ненавижу их всех... ненавижу!

— Конечно, — вдруг раздался голос. — Ведь это так естественно, иначе и быть не могло. Как же я была глупа, что не поняла сразу!

Голос был такой знакомый. Мы не поверили своим ушам.

Мы обернулись.

Агата, еще не смея верить, чуть приоткрыла глаза, потом широко распахнула их, заморгала, приподнялась и застыла в этой позе.

— Какая же я глупая! — продолжала Бабушка. Она стояла рядом и смотрела на нашу семейную группу, видела наши застывшие лица и внезапное пробуждение.

— Бабушка!

Она возвышалась над нами плачущими, убитыми горем. Мы боялись верить своим глазам.

— Ты ведь умерла! — наконец не выдержала Агата. — Эта машина...

— Она ударила меня, это верно, — спокойно сказала Бабушка, — и я даже несколько раз перевернулась в воздухе, затем упала на землю. Вот это был удар! Я даже испугалась, что разъединятся контакты, если можно назвать испугом то, что я почувствовала. Но затем я поднялась, села, встряхнулась как следует, и все отлетевшие молекулы моей печатной схемы встали на свои места и вот, небьющаяся и неломающаяся, я снова с вами. Разве это не так?

— Я думала, что ты уже... — промолвила Агата.

— Да, это случилось бы со всяким другим. Еще бы, если бы тебя так ударили да еще подбросили в воздух, — сказала Бабушка, — но только не со мной, дорогая девочка. Теперь я понимаю, почему ты боялась и не верила мне. Ты не знала, какая я. А у меня не было возможности доказать тебе свою живучесть. Как глупо с моей стороны не предвидеть этого. Я давно должна была успокоить тебя. Подожди. — Она порылась в своей памяти, нашла нужную ленту, видимую только ей одной, и прочла, что было записано на ней, должно быть, еще в незапамятные времена: — Вот, слушай. Это из книги о воспитании детей. Ее написала одна женщина, и совсем недавно кое-кто смеялся над ее словами, обращенными к родителям: «Дети простят вам любую оплошность и ошибку, но помните: они никогда не простят вам вашей смерти.»

— Не простят, — тихо произнес кто-то из нас.

— Разве могут дети понять, почему вы вдруг ушли? Только что были, а потом вас нет, вы ушли и не вернулись, не сказав ни слова, не объяснив, не простившись и не оставив даже записки, ничего.

— Не могут, — согласился я.

— Вот так-то, — сказала Бабушка, присоединяясь к нашей маленькой группе и тоже встав на колени воз-

ле Агаты, которая уже не лежала, а сидела, и слезы текли по ее лицу, но не те слезы, в которых тонет горе, а те, что смывают последние его следы.

— Твоя мама ушла, чтобы не вернуться. Как могла ты после этого кому-нибудь верить? Если люди уходят и не возвращаются, разве можно им верить? Поэтому, когда пришла я, что-то зная о вас, а что-то не зная совсем, я долго не понимала, почему ты отвергаешь меня, Агата. Ты просто боялась, что я тоже обману и уйду. А два ухода, две смерти в один короткий год — это было бы слишком! Но теперь ты веришь мне, Абигайль?

— Агата, — сама того не сознавая, по привычке поправила ее сестра.

— Теперь ты веришь, что я всегда буду с вами, всегда?

— О да, да! — воскликнула Агата, и снова слезы полились ручьем. Мы тоже, не выдержав, заревели, прижавшись друг к другу, а вокруг нас уже останавливались машины и выходили люди, чтобы узнать, что случилось, выяснить, сколько человек погибло и сколько осталось в живых.

Вот и конец этой истории.

Вернее, почти конец.

Ибо после этого мы зажили счастливо. То есть Бабушка, Агата—Агамемнон—Абигайль, Тимоти, я и наш отец. Бабушка, словно в праздник, вводила нас в мир, где били фонтаны латинской, испанской, французской поэзии, мощно струился Моби Дик и прятались изящные, словно струи версальских фонтанов, невидимые в затишье, но зримые в бурю поэтические родники. Вечно наша Бабушка, наши часы, маятник, отмеривающий бег времени, циферблат, где мы читали время в полдень, а ночью, измученные недугом, открыв глаза, неизменно видели рядом — она терпеливо ждала, чтобы успокоить ласковым словом, прохладным

прикосновением, глотком вкусной родниковой воды из своего чудо-пальца, охлаждающей пересохший от жара, шершавый язык. Сколько тысяч раз на рассвете она стригла траву на лужайке, а по вечерам смахивала незримые пылинки в доме, осевшие за день, и, беззвучно шевеля губами, повторяла урок, который ей хотелось, чтобы мы выучили во сне.

Наконец одного за другим проводила она нас в большой мир. Мы уезжали учиться. И когда настал черед Агаты, Бабушка тоже стала готовиться к отъезду.

В последний день этого последнего лета мы застали ее в гостиной, в окружении чемоданов и коробок. Она сидела, что-то вязала и поджидала нас. И хотя она не раз говорила нам об этом, мы восприняли это как жестокий удар, злой и ненужный сюрприз.

— Бабушка! Что ты собираешься делать?

— Я тоже уезжаю в колледж. В известном смысле, конечно. Я возвращаюсь к Гвидо Фанточини, в свою Семью.

— Семью?

— В семью деревянных кукол, буратино. Так называл он нас поначалу, а себя — папа Карло. Лишь потом он дал нам свое настоящее имя — Фанточини. Вы были моей семьей. А теперь пришло время мне вернуться к моим братьям и сестрам, теткам и кузинам, к роботам, которые...

— ... которые что? Что они там делают?.. — перебила ее Агата.

— Кто что, — ответила Бабушка. — Одни остаются, другие уходят. Одних разбирают на части, четвертуют, так сказать, чтобы из их частей комплектовать новые машины, заменять износившиеся детали. Меня тоже проверят, выяснят, на что я еще годюсь. Может случиться, что я снова понадоблюсь и меня тут же отправят учить других мальчиков и девочек и опровер-

гать еще какую-нибудь очередную ложь и небылицу.

— Они не должны четвертовать тебя! — воскликнула Агата.

— Никогда! — воскликнул я, а за мной Тимоти.

— У меня стипендия! Я всю отдам ее тебе, только... — волновалась Агата.

Бабушка перестала раскачиваться в качалке, казалось, она смотрит на спицы и разноцветный узор из шерсти, который только что связала.

— Я не хотела вам говорить этого, но раз уж вы спросили, то скажу: совсем за небольшую плату можно снять комнатку в доме с общей гостиной и большим темным холлом, где тихо и уютно и где живут тридцать или сорок таких, как я, электронных бабушек, которые любят сидеть в качалках и вспоминать о прошлом. Я не была там. Я, в сущности, родилась совсем недавно. За скромный ежемесячный или ежегодный взнос я могу жить там вместе с ними и слушать, что они рассказывают о себе, чему научились и что узнали в этом большом мире, и сама могу рассказывать им, как счастлива я была с Томом, Тимом, и Агатой и чему они научили меня.

— Но это ты... ты нас учила!

— Это вы так думаете, — сказала Бабушка. — Но все было как раз наоборот. Вернее, вы учились у меня, а я у вас. И все это здесь, во мне. Все, из-за чего вы проливали слезы, над чем потешались. Обо всем этом я расскажу им, а они расскажут мне о других мальчиках и девочках и о себе тоже. Мы будем беседовать и будем становиться мудрее, спокойнее и лучше с каждым годом, с каждым десятилетием, двадцатилетием, тридцатилетием. Общие знания нашей Семьи удвоятся, утроятся, наша мудрость и опыт не пропадут даром. Мы будем сидеть в гостиной и ждать, и, может быть, вы вспомните о нас и позовете, если вдруг заболит ваш ребенок или, не дай бог, семью постигнет

горе и кто-нибудь уйдет навсегда. Мы будем ждать, становясь старше, но не старея, все ближе к той границе, когда однажды и нас постигнет счастливая судьба того, чье забавное и милое имя мы вначале носили.

— Буратино, да! — воскликнул Тим.

Бабушка кивнула головой.

Я знал, что она имела в виду. Тот день, когда, как в старой сказке, добрый и храбрый Буратино, мертвая деревянная кукла, заслужил право стать живым человеком. И вдруг я увидел всех этих буратино и фантоchini, целые поколения их: они обмениваются знаниями и опытом, тихонько переговариваются в просторных, располагающих к беседе гостиных и ждут своего дня, который, мы знали, никогда не придет.

Бабушка, должно быть, прочла это в моих глазах.

— Посмотрим, — сказала она. — Поживем — увидим.

— О бабушка! — не выдержала Агата и разрыдалась так, как когда-то много лет назад. — Тебе не надо ждать. Ты и сейчас живая. Ты всегда живая. Ты всегда была для нас только такой!

Она бросилась старой женщине на шею, и тут мы все бросились обнимать и целовать нашу Бабушку, а потом покинули дом, вертолеты унесли нас в далекие колледжи и в далекие годы, и последними словами Бабушки, прежде чем мы поднялись в осеннее небо, были:

— Когда вы совсем состаритесь, будете беспомощны и слабы, как дети, когда вам снова пужна будет забота и ласка, вспомните о старой няне, глупой и вместе с тем мудрой подруге вашего детства, и позовите меня. Я приду, не бойтесь, и в нашей детской снова станет шумно и тесно.

— Мы никогда не состаримся! — закричали мы. — Этого никогда не случится!

— Никогда! Никогда!..

Мы улетели.

Промелькнули годы. Мы состарились: Тим, Агата и я. Наши дети стали взрослыми и покинули родительский дом, наши жены и мужья покинули этот мир, и вот теперь — хотите верьте, хотите нет — совсем по Диккенсу, мы снова в нашем старом доме.

Я лежу в своей спальне, как лежал мальчишкой семьдесят, о боже, целых семьдесят лет назад! Под этими обоями есть другие, а под ними еще и еще одни и наконец старые обои моего детства, когда мне было всего девять лет.

Верхние обои местами оборваны, и я без труда нахожу под ними знакомых слонов и тигров, красивых и ласковых зебр и свирепых крокодилов. Не выдержав, я посылаю за обойщиками и велю им снять все обои, кроме этих, последних. Милые зверушки снова будут на воле.

Мы шлем еще одно послание. Мы ждем.

Мы зовем: «Бабушка! Ты обещала, что вернешься, как только будешь нам нужна. Мы больше не узнаем ни себя, ни время. Мы стары. Ты нам нужна!»

В трех спальнях старого дома в поздний час трое беспомощных, как младенцы, стариков приподнимаются на своих постелях, и из их сердец рвется беззвучное: «Мы любим! Мы любим тебя!»

Там, там в небе! — вскакиваем мы по утрам, — разве это не тот вертолет, который?.. Вот он сейчас опустится на лужайку.

Она будет там, на траве перед домом. Ведь это ее саркофаг! И наши имена на полосках холста, в который завернуто ее прекрасное тело, и маска, скрывающая лицо!

Золотой ключик по-прежнему на груди у Агаты, теплый, ждущий заветной минуты. Когда же она наступит? Подойдет ли ключик? Повернется ли он, заведется ли пружина?

*Запах сарсапарели**

Три дня кряду Уильям Финч спозаранку забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдуваемый сквозняком. Ноябрь был на исходе, и три дня мистер Финч простоял так в одиночестве, чувствуя, что само Время тихо, безмолвно осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудривает карнизы. Он стоял неподвижно, смежив веки. Тянулись долгие, серые дни, солнце не показывалось, от ветра чердак ходил ходуном, словно утлая лодка на волнах, скрипел каждой своей косточкой, стряхивал слежавшуюся за десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и дранки. Все вокруг охало и ахало, стонало и кряхтело, а Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь сокровищам.

— А-а, — глубокий вдох.

Внизу жена его Кора то и дело прислушивалась, но ни разу не слыхала, чтобы он прошел по чердаку, или переступил с ноги на ногу, или шевельнулся. Ей чудилось только, что он шумно дышит там, на проду-

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Вино из одуванчиков: Запах сарсапарели. Пер. с англ. — М.: Мир, 1967. — Пер. изд.: Bradbury R. A Scent of Sarsaparilla: A Medicine for Melancholy. Doubleday, N. Y., 1959.

ваемом всеми ветрами чердаке, — медленно, мерно, глубоко, будто работают старые кузнечные меха.

— Смех да и только, — пробормотала она.

На третий день, когда он торопливо спустился к обеду, с лица его не сходила улыбка — он улыбался унылым стенам, щербатым тарелкам, испараннным ложкам и вилкам и даже собственной жене!

— Чему радуешься? — спросила она.

— Просто настроение хорошее. Отменнейшее! — он засмеялся.

Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем — того и гляди выплеснется через край. Жена нахмурилась:

— Чем это от тебя пахнет?

— Пахнет? Пахнет? Как так — пахнет? — Финч вскинул седеющую голову.

Жена подозрительно приняухалась.

— Сарсапарелью, вот как.

— Быть этого не может!

Его первическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он был ошеломлен, растерян и вдруг пасторожился.

— Где ты был утром? — спросила Кора.

— Ты же знаешь, прибирал на чердаке.

— Размечтался над старым хламом. Я ни звука не слыхала. Думала, может, тебя там и нету, на чердаке. А это что такое? — она показала пальцем.

— Вот те на, это еще откуда взялось?

Неизвестно, кому задал Уильям Финч этот вопрос. С величайшим недоумением он уставился на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиколоток.

— Нашел на чердаке, — ответил он сам себе. — Помнишь, Кора, как мы катили на нашем тандеме по проселочной дороге? Это было сорок лет назад, рано поутру, и мы были молодые.

— Если ты нынче не справишься с чердаком, я заберусь туда сама и повыкидаю весь хлам.

— Нет, нет! — вскрикнул он. — Я там все разбираю, как мне удобно.

Жена холодно поглядела на него.

За обедом он немного успокоился и опять повеселел.

— А знаешь, Кора, что за штука чердак? — заговорил он с увлечением. — Всякий чердак — это Машина времени, в ней тупоумные старики, вроде меня, могут отправиться на сорок лет назад, в блаженную пору, когда круглый год безоблачное лето и детишки объедаются мороженым. Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в платок. Отдавало сразу и снегом, и полотном.

Кора беспокойно поежилась.

«А пожалуй, это возможно, — думал он, — полужакрыв глаза, пытаюсь вновь все это увидеть и припомнить. — Ведь что такое чердак? Тут дышит само Время. Тут всё связано с прошедшими годами, всё сплошь — куколки и коконы иного века. Каждый ящик и ящичек — словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да, чердак — это темный уютный уголок, полный Временем, и, если стать по самой середке и стоять прямо, во весь рост, скосив глаза, и думать, думать, и вдыхать запах Прошлого, и, вытянув руки, коснуться Минувшего, тогда — о, тогда...»

Он спохватился: оказывается, что-то, хоть и не все, он подумал вслух. Кора торопливо еда.

— А ведь правда интересно, если б можно было и впрямь путешествовать во Времени? — спросил Уильям, обращаясь к пробору в волосах жены. — И чердак, вроде нашего, самое подходящее для этого место, лучше не сыщешь, верно?

— В старину тоже не все дни были безоблачные, — сказала она. — Просто память у тебя шалая. Хорошее

все помнишь, а худое забываешь. Тогда тоже не сплошь было лето.

— В некотором смысле так оно и было.

— Нет, не так.

— Я что хочу сказать, — жарко зашептал Уильям и подался вперед, чтобы лучше видеть картину, которая возникала на голой стене столовой. — Надо только ехать на своей одноколеске поаккуратнее, удерживать равновесие, балансировать между годами, руки в стороны, осторожно-осторожно, от года к году: неделку провести в девятьсот девятом, денек в девятисотом, месячишко или недели две — где-нибудь еще, скажем в девятьсот пятом, в восьмьсот девяносто восьмом, — и тогда до конца жизни так и не выедешь из лета.

— Что еще за одноколеска?

— Ну знаешь, такой высокий велосипед об одном колесе, весь хромированный, на таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной. Тут главная хитрость — удерживать равновесие, чтоб не свалиться, и тогда все эти блестящие штуки так и летают в воздухе, высоко-высоко, блещут, сверкают, искрятся, мелькает что-то пестрое — красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое... над головой у тебя летают в воздухе все эти июни, июли и августы, сколько их было на свете, а ты знай подкидывай их, как мячики, да улыбайся. Вся соль в равновесии, Кора, в рав-но-весии.

— Тра-та-та, — сказала она. — Затараторил, тараторка.

Он вскарабкался по длинной холодной лестнице на чердак, его пробирала дрожь.

Бывали такие зимние ночи, когда он просыпался, продрогнув до костей, ледяные колокола звенели в ушах, мороз щипал каждый нерв, будто вспыхивал внутри колющий фейерверк и рассыпались ослепительно белые искры, и жгучий снег падал на безмолвные

потаенные долины подсознания. Было холодно-холодно, так холодно, что и долгое-долгое знойное лето со всеми своими зелеными факелами и жарким бронзовым солнцем не растопило бы сковавший все его существо ледяной панцирь, — понадобилось бы не одно лето, а добрых два десятка. По ночам в постели весь он точно огромная пресная сосулька, снежный истукан, и в нем поднимается вьюга бессвязных сновидений, суматоха ледяных кристаллов. А за стенами опустилась вечная зима, над всем нависло низкое свинцово-серое небо и давит людей, точно тяжкий пресс — виноградные гроздья, перемалывает краски и разум и самую жизнь; только дети уцелели и носятся на лыжах, летят на санках с оледенелых гор, в чьих склонах, как в зеркале, отражается этот давящий железный щит и опускается все ниже, ниже — каждый день и каждую нескончаемую ночь.

Уильям Финч откинул крышку чердачного люка. Зато — вот оно! Вокруг него взвилась летняя пыль. Здесь, на чердаке, пыль кипела от жары, сохранившейся с давно прошедших знойных дней. Он тихо закрыл за собой люк.

На губах его заиграла улыбка.

Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозой. Лишь изредка до Кобы сверху доносилось невнятное мужнино бормотанье.

В пять часов пополудни мистер Финч встал на пороге кухни, напевая «О мечты мои алатые», взмахнул новехонькой соломенной шляпой и крикнул, будто малого ребенка хотел напугать:

— У-у!

— Ты что, проспал, что ли, весь день? — огрызнулась жена. — Я тебе четыре раза кричала, хоть бы отозвался.

— Проспал? — переспросил он, подумал минуту и

фыркнул, но тотчас зажал рот ладонью. — Да, пожалуй, что и так.

Тут только она его разглядела.

— Боже милостивый! Где ты раздобыл это тряпье?

На Уильяме был красный в полоску, точно леденец, куртук, высокий тугой белый воротничок и кремовые панталоны. А соломенная шляпа благоухала так, словно в воздух подбросили пригоршню свежего сена.

— Нашел в старом сундуке.

Кора потянула носом:

— Нафталином не пахнет. И выглядит как новенький.

— Нет-нет, — поспешно возразил Уильям. Под критическим взором жены ему явно стало не по себе.

— Нашел время для маскарада, — сказала Кора.

— Уж и позабавиться нельзя?

— Только забавляться и умеешь, — она сердито захлопнула духовку. — Бог свидетель, я сижу дома и вяжу тебе носки, а ты в это время в лавке подхватываешь дам под локоток, можно подумать, они без тебя не найдут, где вход, где выход!

Но Уильям уклонился от ссоры.

— Послушай, Кора... — он потупился, разглядывая что-то на дне новехонькой, хрустящей соломенной шляпы. — Ведь, правда, хорошо бы прогуляться, как мы, бывало, гуляли по воскресеньям? Ты — под шелковым зонтиком, и чтоб длинные юбки шуршали, а потом посидеть в аптеке на стульях с железными ножками, и чтоб пахло... помнишь, как когда-то пахло в аптеке? Почему теперь так не пахнет? И спросить два стакана сарсапарелевой, а потом прокатиться в нашем «Форде» девятьсот десятого года на Хэннегенскую набережную и поужинать в отдельном кабинете, и послушать духовой оркестр. Хочешь?

— Ужин готов. Иними эти дурацкие тряпки, хватит шута разыгрывать.

Уильям не отступался:

— Ну а если б можно было так: захотела — и поехала? — сказал он, не сводя с нее глаз. — Поля, дорога обсажена дубами, тихая, совсем как в былые годы, когда еще не носились повсюду эти бешеные автомобили. Ты бы поехала?

— На тех дорогах была страшная пылица. Мы возвращались домой черные, как папуасы. Кстати, — Кора взяла со стола сахарницу и встряхнула ее, — нынче утром у меня тут лежало сорок долларов. А сейчас нету! Уж не заказал ли ты этот костюмчик в театральной мастерской? Он новый, с иголки, ни в каком сундуке он не лежал!

— Я... — Уильям осекся.

Жена бушевала еще добрых полчаса, но он так и не стал защищаться. Весь дом сотрясаясь от порывов ноябрьского ветра, и под речи Кору свинцовое, стывшее небо опять пошло сыпать снегом.

— Отвечай мне! — кричала она. — Ты что, совсем рехнулся? Ухлопать наши кровные денежки на тряпье, которое и носить-то нельзя!

— На чердаке... — начал Уильям.

Кора, не слушая, ушла в гостиную.

Снег повалил всюду, стало холодно и темно — настоящий ноябрьский вечер. Кора слышала, как Уильям снова медленно полез по приставной лестнице на чердак, в это пыльное хранилище Прошлого, в мрачную дыру, где только и есть, что старая одежда, подгнившие балки да Время, в чужой, особый мир, совсем не такой, как здесь, внизу.

Он опустил крышку люка. Вспыхнул карманный фонарик — другого спутника ему не надо. Да, оно все здесь — Время, собранное, сжатое, точно японский бумажный цветок. Одно прикосновение памяти — и все

раскроется, обернется прозрачной росой мысли, внешним ветерком, чудесными цветами — огромными, каких не бывает в жизни. Выдвинь любой ящик комода — и под горностаевой мантией пыли найдешь двоюродных сестриц, тетусек, бабушек. Да, конечно, здесь укрылось Время. Ощущаешь его дыхание — оно разлито в воздухе, это не просто бездушные колесики и пружинки.

Теперь весь дом там, внизу, был так же далек, как любой давно минувший день. Полузакрыв глаза, Уильям опять и опять обводил взглядом затихший в ожидании чердак.

Здесь, в хрустальной люстре, дремали радуги, и ранние утра, и полдни — такие игристые, словно молодые реки, неустанно текущие вспять сквозь Время. Луч фонарика разбудил их, и они ожили и затрепетали, и радуги взметнулись среди теней и окрасили их в яркие цвета — в цвет сливы, и земляники, и винограда, и свежеразрезанного лимона, и в цвет послегрозового неба, когда ветер только-только разогнал тучи и проглянула омытая синева. А чердачная пыль горела и курилась, как ладан, это горело Время — и оставалось лишь взглянуть в огонь. Поистине, этот чердак — великолепная Машина времени, да, конечно, так оно и есть! Только тронь вон те граненые подвески да эти дверные ручки, потяни кисти шнуров, зазвени стеклом, подними вихрь пыли, откинь крышку сундука и, точно мехами органа, поработай старыми каминными мехами, пока не запорошит тебе глаза пеплом и золой давно погасшего огня, — и вот, если сумеешь играть на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, его бесчисленные рычажки, двигатели и переключатели, тогда, тогда — о, тогда!..

Он взмахнул руками — так будем же дирижировать, торжественно и властно вести этот оркестр! В го-

лове звучала музыка, плотно сомкнув губы, он управлял огромной машиной, громовым безмолвным органом — басы, тенора, сопрано, тише, громче, и вот наконец, наконец аккорд, потрясающий до самых губ, — и он закрывает глаза.

Часов в девять вечера жена услышала его зов:

— Кора!

Она пошла наверх. Муж выглядывал из чердачного люка и улыбался. Взмахнул шляпой.

— Прощай, Кора!

— Что ты такое мелешь?

— Я все обдумал, я думал целых три дня и хочу с тобой попрощаться.

— Слезай оттуда, дурень!

— Вчера я взял из банка пятьсот долларов. Я давно об этом думал. А когда это случилось, так уж тут... Кора!.. — он порывисто протянул ей руку. — В последний раз спрашиваю: пойдешь со мной?

— На чердак-то? Спусти лесенку, Уильям Финч. Я влезу наверх и выволоку тебя из этой грязной дыры.

— Я отправляюсь на Ханнегенскую набережную есть рыбную солянку, — сказал Уильям. — И закажу оркестру, пускай сыграют «Над заливом сияет луна». Пойдем, Кора, пойдем...

Его протянутая рука звала.

Кора во все глаза глядела на его кроткое, вопрошающее лицо.

— Прощай, — сказал Уильям.

Тихонько-тихонько он помахал рукой. И вот зияет пустой люк — ни лица, ни соломенной шляпы.

— Уильям! — пронзительно крикнула Кора.

На чердаке темно и тихо.

С криком она кинулась за стулом, кряхтя взобра-

лась в эту затхлую темень. Поспешно посветила фонариком по углам.

— Уильям! Уильям!

Темно и пусто. Весь дом сотрясается под ударами зимнего ветра.

И тут она увидела: в дальнем конце чердака, выходящем на запад, приотворено окошко.

Спотыкаясь, она побрела туда. Помешкала, затаив дыхание. Потом медленно отворила окошко. Снаружи к нему приставлена была лесенка, другим концом она упиралась в крышу веранды.

Кора отпрянула.

За распахнутым окном сверкали зеленой листвою яблони, стояли теплые июльские сумерки. С негромким треском разрывались хлопушки фейерверка. Издали доносился смех, веселые голоса. В воздухе вспыхивали праздничные ракеты — алые, белые, голубые, — рассыпались, гасли...

Она захлопнула окно, голова кружилась, она чуть не упала.

— Уильям!

Позади, через отверстие люка в полу, сочился снизу холодный зимний свет. Кора нагнулась — снег, шурша, лизал стекла окон там, внизу, в холодном ноябрьском мире, где ей суждено провести еще тридцать лет.

Она больше не подошла к тому окошку. Она сидела одна в темноте и вдыхала единственный запах, который здесь, на чердаке, оставался свежим и сильным. Он не рассеивался, он медлил в воздухе, точно вздох покоя и довольства. Она вдохнула его всей грудью.

Давний, так хорошо знакомый, незабвенный запах сарсапарели.

Чепушинка*

К магазинчику было не протолкнуться.

Кроуэлл ввинтился в толпу; длинное лицо его оставалось таким же печальным, каким оно было всегда. Через худое плечо он посмотрел назад, буркнул что-то себе под нос и заработал локтями.

Он увидел, как ярдах в ста позади к тротуару, жужжа мотором, быстро подползла длинная, черная, блестящая машина-жук. Щелкнув, открылась дверца, и из машины с трудом вылез толстяк, на бледном сероватом лице которого застыло выражение злобы. Впереди сидели двое телохранителей.

«А вообще-то стоило ли убежать?» — подумал Кроуэлл, известный в своем кругу под прозвищем Плут. Ведь он устал. Не было больше сил выступать каждый вечер в программе новостей и каждое утро, просыпаясь, знать, что из-за какого-то упоминания вскользь о том, что в последнее время некий толстяк в «Пластикс инкорпорейтед» занимается темными делишками, за тобой по пятам ходят гангстеры. А теперь и сам толстяк объявился, собственной персоной. Притащился за ним из самой Пасадены.

Теперь наконец Кроуэлла со всех сторон окружала

* Пер. изд.: Bradbury R. Doodad: Strange Signposts. An Anthology of SF. Doubleday, N. Y., 1966.

© Перевод на русский язык, «Мир», 1983.

толпа. «Интересно, — подумал он, — отчего здесь столько народу? Необычное зрелище? Ну а что, вообще говоря, увидишь обычного в Южной Калифорнии?»

Он протиснулся вперед и уставился на большие алые буквы на окнах из голубого стекла; выражение его худого грустного лица не менялось.

Слова на голубом стекле были такие:

**ШТУКОВИНЫ ФИНТИФЛЮШКИ
ПУСТЯКОВИНКИ БАРАХЛИНКИ
ШТУЧКИ-ДРЮЧКИ
ЧЕПУШИНКИ ЕРУНДОВИНЫ
И ПР.**

Кроуэлла это не удивило. Вот, значит, магазин, который имел в виду редактор, когда давал ему задание? Ерунда какая-то и чепуха.

Но тут он вспомнил про Стива Бишопа, толстяка, и про телохранителей с пистолетами. Когда в море шторм, любой порт хорош.

Кроуэлл достал из кармана небольшой блокнот, небрежно записал два-три названия — ерундовины, штучки-дрючки; все равно Бишопу в этой толпе его не подстрелить. Стрелять-то у Бишопа, по совести говоря, право есть: как-никак он, Плут, пугает Бишопа разоблачением — трехмерными цветными изображениями...

Кроуэлл боком пролез к полупрозрачной двери; будто водопад отгораживал посетителей от решенного в холодных — белом и голубом — тонах помещения. Кроуэллу стало немного жабко. Он сосчитал небольшие стеклянные шкафы (их оказалось семнадцать) и мертвенно-серыми, ничего не выражающими глазами начал рассматривать то, что в них стоит.

Из-за шкафчика голубого стекла появился вдруг лысый человечек, худой как скелет. Он был такой ма-

ленький, что Кроуэлл с трудом подавил в себе желание похлопать его по лысине. Казалось, эта лысина создана для того, чтобы по ней хлопать.

Квадратное лицо человечка было блекло-желтым, того особого оттенка желтизны, который приобретают выцветшие газеты.

— Слушаю вас, — сказал человечек.

— Привет, — негромко поздоровался Кроуэлл, раздумывая, что делать дальше. Теперь, когда он в магазине, что-то нужно говорить. — Я хотел бы купить... штуковину.

В голосе у Кроуэлла звучали те же грусть и усталость, какие были написаны на его лице.

— Великолепно, великолепно! — отозвался человечек и потер руки. — Не знаю почему, но по-настоящему заинтересовались вы первый. Другие просто стоят там, снаружи, и смеются. Так к делу: какого года штуковина вам нужна? И какой модели?

Ни того, ни другого Кроуэлл не знал. Он знал только, что испытывает замешательство, однако никто другой, глядя на его лицо, этого бы не заметил. Войдя, он сразу повел себя так, будто собаку съел на этих делах. И теперь признаваться в своем невежестве ему было совсем ни к чему. Он сделал вид, будто обдумывает ответ, и наконец сказал:

— Пожалуй, в самый раз подошла бы модель 1993 года. Не надо ничего сверхсовременного.

Владелец магазина заморгал.

— Ага! Я вижу, вы человек, который знает, что ему нужно. Сюда, пожалуйста.

И, метнувшись в проход между шкафами, человечек остановился перед стеклом, за которым лежало что-то непонятное. Смахивало на кривошип, но одновременно напоминало кухонную полку; с металлического края свисало несколько сережек, и на том же краю были жестко закреплены три похожих на рога стержня и

шесть диковинных механизмов, а наверху, из самой середины, торчал большой пучок чего-то, что более всего напоминало шнурки от ботинок.

Из горла Кроуэлла вырвался такой звук, будто он подавился пуговицей. Он посмотрел еще раз. Ну что тут скажешь? Только одно: малыш совсем ненормальный. Но об этом, пожалуй, лучше помалкивать.

Что же касается крохотного хозяина лавки, то он был на вершине счастья: его глаза сияли, губы растянулись в самую приветливую улыбку, руки со сплетенными пальцами были прижаты к груди, и он стоял, наклонившись вперед, полный ожидания.

— Вам нравится?

Кроуэлл мрачно кивнул:

— Да, пожалуй. Годится. Я, правда, видел и лучше.

— Получше?! — изумленно воскликнул человек и вытянулся во весь свой маленький рост. — Где видели? — потребовал он ответа. — Где?

Другой бы занервничал. Другой, но только не Кроуэлл. Он просто вытащил блокнот, начал в нем быстро писать и, не поднимая головы, ответил многозначительно:

— Кто-кто, а уж вы-то знаете где...

Он надеялся, что этого будет достаточно. И не ошибся.

— О! — крохотный человечек захлебнулся от восторга. — Значит, вы тоже?.. Как приятно иметь дело со сведущим человеком! Как приятно!

Кроуэлл бросил взгляд в окно — посмотреть, что там, за толпой хихикающих зевак. И толстяк, и телохранители, и черная машина исчезли. Охота приостановилась — пока.

Кроуэлл сунул блокнот в карман, положил руку на шкафчик, в котором была выставлена штукалина.

— Я очень спешу. Могу я взять это с собой? День-

ги у меня дома, но вместо первого взноса я могу вам дать кое-что в обмен. Согласны?

— Безусловно согласен!

— Замечательно.

Набравшись духу, Кроуэлл полез в карман своей серой блузы и извлек оттуда маленькое металлическое устройство для чистки курительных трубок. Поломачное, погнутое, оно выглядело довольно необычно.

— Пожалуйста. Барахлинка. Модель 1944 года.

Человечек с ужасом уставился на Кроуэлла.

— Какая же это барахлинка?

— Э-э... разве нет?

— Разумеется, нет!

— Разумеется, — осторожно повторил Кроуэлл.

— Это пустяковинка, — сказал, моргая, человечек. — И не целая, а только часть. Ну и шутник же вы, мистер...

— Кроуэлл. Мда... шутник. Мда. Надеюсь, моя шутка не очень вас покорибила. Так меняемся? Я очень спешу.

— Конечно, конечно! Я поставлю вашу покунку на тележку, и мы подвезем ее прямо к вашей машине.

Крохотный человек мгновенно выкатил откуда-то ручную тележку на маленьких колесиках, и Кроуэлл оглянуться не успел, как штуковина оказалась на ней. Хозяин помог докатить тележку до двери. У двери Кроуэлл остановил его:

— Минутку.

Черной машины нигде не было видно.

— Все в порядке.

Понизив голос, человечек сказал:

— Помните только, мистер Кроуэлл: ни в коем случае не следует убивать этой штуковиной кого ни попадя. Убивайте... с разбором. Да, только так — с разбором, взвесив хорошенько все «за» и «против». Не забудете, мистер Кроуэлл?

Кроуэлл проглотил непомерной величины ком, откуда-то взявшийся у него в горле.

— Не забуду, — ответил он.

Съехав на машине в туннель, он покати́л по подземной магистрали из района Уилшира домой, в Брентвуд. Никто за ним не увязался. На этот счет сомнений не было. Но какие планы у Бишопа на ближайшие часы, он не знал. Не знал. И даже думать об этом не хотел. Сейчас у него был очередной приступ хандры. В этом мерзком мире все шиворот-навыворот — честному человеку в нем не выжить. Что же до Бишопа, этого жирного слизняка, то...

Взгляд Кроуэлла упал на покупку рядом на сиденье, и его сотряс короткий и сухой, похожий на кашель смех.

— Значит, ты штуковина? — сказал он. — Ха! Каждый зарабатывает на жизнь чем может. Бишоп пластиками, я — шантажом, а тот маленький придурок — своими ерундовинами и штучками-дрючками. И пожалуй, малышка этот ловчей нас всех.

Он свернул от ответвления подземной магистрали, по которому ехал, в боковой туннель, выходящий на поверхность у самого его дома. Поставив белого «жука» в гараж и оглядев парк вокруг, он со штуковиной в руках поднялся на свой этаж, набрал известное только ему сочетание цифр, открыл дверь, внес штуковину, захлопнул дверь и поставил свою покупку на стол. Потом он налил себе бренди.

В дверь постучали, негромко и с расстановкой. Оттягивать бесполезно. Он пошел к двери и открыл.

— Привет.

На пороге стоял толстяк. Лицо — как большой кусок вареного свиного сала, холодного и дряблого. Зеленых, в красных прожилках глаз почти не видно под

тяжелыми веками. Сигара во рту двигалась в такт словам.

— Рад, что застал тебя, Кроуэлл. Давно хотел с тобой встретиться.

Кроуэлл отступил, и толстяк вошел в комнату. Сел, сложил на круглом животе руки и спросил:

— Ну так как?

Кроуэлл слотнул слюну.

— Снимков у меня здесь нет, Бишоп.

Толстяк ничего на это не сказал. Медленно разомкнул руки, не спеша, словно за носовым платком, полез в карман, но вместо платка в руке у него оказался небольшой пистолет-парализатор. От голубой стали веяло холодом.

— Может, все-таки подумаешь, Кроуэлл?

На печальном, бледном лице Кроуэлла проступил холодный пот, от этого оно стало еще печальней. Шея будто налилась свинцом. Он попытался было включить свой мозг, но мозгу стало вдруг невыносимо жарко, мозг был скован цементом страха, безжалостного и внезапного. Внешне это никак не проявилось, однако в глазах у Кроуэлла Бишоп, пистолет, комната запрыгали вверх-вниз.

И тут в поле его зрения попала... штуковина.

Бишоп передвинул на пистолете штифт предохранителя.

— Ну так куда стрелять? Могу в грудь, могу в голову. Говорят, если парализует мозг, умираешь скорее. Лично я предпочитаю целиться в сердце. Так куда?

— Не торопись, — небрежно сказал Кроуэлл. Медленно-медленно он отступил назад. Сел, не забывая ни на миг о том, что палец Бишопа дрожит на спусковом крючке: стоит чуть нажать, и все кончено. — Меня убивать ты не станешь, а, наоборот, будешь благодарить за то, что получил доступ к величайшему изобретению нашего времени.

Огромное лицо Бишопа оставалось неподвижным. Только двигалась из стороны в сторону сигара.

— Брось, Кроуэлл. Нет времени болтать.

— Наоборот, куча времени, — спокойно возразил Кроуэлл. — У меня есть для тебя идеальное оружие. Хочешь верь, хочешь нет. Взгляни вон на ту машину на столе.

Голубея сталью, пистолет неподвижно на него смотрел. Бишоп скосил глаза на стол, снова вперил взгляд в Кроуэлла.

— Ну и что? — процедил он сквозь зубы.

— А то, что, если меня выслушаешь, ты станешь самым крупным воротилой в пластиковом бизнесе на всем Тихоокеанском побережье. Ведь тебе этого хочется, правда?

Глаза Бишопа открылись немного шире, сузились снова.

— Тянешь время?

— Послушай, Бишоп, я и сам понимаю, что деваться мне некуда. Потому и беру тебя в долю... в смысле этой моей проклятой штуковины. Все никак не придумаю для нее названия.

Как перегревшаяся центрифуга отчаяния, работал мозг Кроуэлла, отбрасывая одну легковесную идею за другой. Но одна мысль упорствовала: *тяни время, пока не появится возможность вырвать пистолет. Морочь ему голову. Морочь, сколько сможешь.* Ну, а теперь...

Кроуэлл откашлялся.

— Она... она убивает радиоволнами, — начал придумывать он. — Достаточно отдать ей приказ, и она убьет кого я только захочу. Никаких неприятностей. Никаких улик. Ничего вообще. Идеальное убийство, Бишоп. Тебе нравится?

Бишоп покачал головой.

— Ты налакался. Ну ладно, дело уже к вечеру, так что...

— Подожди, — перебил Кроуэлл, вдруг подавшись вперед; в его серых глазах зажегся огонек. — Не шевелись, Бишоп. Ты под прицелом. Машина держит тебя на мушке. Прежде чем впустить тебя, я настроил ее на определенную волну. Только пикни — и тебе конец!

Сигара выпала изо рта Бишопа на пол. Рука, державшая пистолет, дрогнула.

Наконец-то! Мускулы Кроуэлла свернулись в одну тугую пружину. Как стрелы полетели слова:

— Берегись, Бишоп! Машина, действуй! Убей Бишопа!

И Кроуэлл швырнул свое тело в сторону. Почувствовал, как отделяется от стула, увидел ошеломленное лицо Бишопа. Отвлекающий маневр удался. Пистолет выстрелил. Серебристый луч едва миновал ухо Кроуэлла и, шипя, расплескался по стене. Кроуэлл вытянул руки, чтобы схватить Бишопа, вырвать пистолет.

Но опоздал.

Бишоп был мертв.

Штуковина опередила Кроуэлла.

У себя в спальне Кроуэлл выпил стаканчик. Потом еще один. Теперь казалось, что желудок плавает в алкоголе. Но все равно не удавалось забыть, как выглядел мертвый Бишоп.

Надо еще стаканчик пропустить. Он глянул на дверь и подумал: «Очень скоро, в ближайшие несколько минут, телохранители будут ломиться в квартиру, будут искать своего босса. Но... выйти в гостиную, снова увидеть Бишопа на полу, штуковину?» По спине Кроуэлла пробежала дрожь.

Еще стаканчик, за ним другой, но по-прежнему ни в одном глазу, будто не выпил ни капли: и он начал собирать чемодан, складывать туда одежду. Он не

анал, куда отправится, но знал, что отправится обязательно. Уже собрался выходить, когда звуком, похожим на удар гонга, прозвучал сигнал аудиофона.

— Да?

— Мистер Кроуэлл?

— Он самый.

— С вами говорят из «Лавки Чепуховин».

— А-а... как же, помню. Здравствуйте.

— Вы не заглянете в лавку еще раз? И не захватите с собой штуковину? Боюсь, что вы понесли убыток в этой сделке. У меня появилась штуковина другой модели, гораздо лучшая.

Кроуэлл сглотнул слюну:

— Спасибо, эта работает прекрасно.

Он дал отбой и схватился за голову: ему показалось, что его мозг вот-вот соскользнет к нему в ботинки. Он и не думал убивать. Все в нем восставало против одной только мысли об убийстве. И от этого положение его еще труднее. Эти вооруженные люди, телохранители, не остановятся даже перед тем, чтобы...

Его нижняя челюсть немного выпятилась. Пусть приходят! На сей раз он не побежит. Нет, он останется в городе, будет себе спокойно передавать последние известия, словно ничего не произошло. Как ему все это надоело! Пусть его убьют, ему все равно. Он будет просто счастлив, когда они нацелят на него пистолеты.

А вообще-то, зачем ему лишние осложнения? Лучше отнести Бишопа... вернее, тело Бишопа в гараж, положить на заднее сиденье машины и увезти в безлюдное место, а телохранителей он собьет со следа — скажет, что похитил и спрятал Бишопа. Неплохая мысль, черт возьми. Все-таки он, Кроуэлл, умница!

Он попытался поднять тяжелое тело Бишопа. Не смог. Но в конце концов переправить тело вниз на заднее сиденье машины удалось — это за него сделала штуковина.

Кроуэлл, пока она этим занималась, оставался в своей спальне. Ему не хотелось смотреть, как штуковина это делает.

— О, мистер Кроуэлл? — крошечный хозяин лавки широко открыл сверкающую стеклянную дверь. На окна магазина и сейчас глазели зеваки. — Я вижу, вы привезли штуковину? Превосходно.

Лихорадочно соображая, Кроуэлл поставил устройство на прилавок. Мм... быть может, теперь ему что-нибудь объяснят? Спрашивать нужно деликатно, не впрямую. Спрашивать так, чтобы...

— Послушайте, мистер, не знаю как вас зовут, я не говорил вам, но я репортер. Мне бы хотелось сделать передачу для «Последних новостей» о вас и о вашей лавке. Но чтобы рассказали вы сами.

— Вы знаете о пустяковинах и ерундовинах ничуть не меньше меня, — сказал человек.

— Не меньше?..

— Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление.

— О, конечно. Конечно, знаю. Но всегда лучше на кого-то сослаться. Понимаете?

— Ваша логика мне неясна, но я сделаю то, чего вы от меня хотите. Слушатели захотят, по-видимому, узнать подробно о моей «Лавке Чепуховин», не так ли? Ну что ж... Чтобы мое торговое дело выросло до нынешних масштабов, потребовались тысячи лет пути.

— Тысячи *мил* пути, — поправил Кроуэлл.

— Тысячи *лет*, — повторил человечек.

— Разумеется, — сказал Кроуэлл.

— Мою лавку, пожалуй, можно назвать энергетическим результатом неадекватного семантизирования. Устройства, которые вы здесь видите, вполне справедливо было бы назвать изобретениями, делающими не конкретно что-то, а все вообще.

— Разумеется, — бесстрастно сказал Кроуэлл.

— Теперь вот что: если один человек показывает другому деталь автомобиля и не может вспомнить ее названия, что он говорит в таких случаях?

Кроуэлл осенило:

— Он называет ее штуковиной, или загогулиной, или ерундовиной...

— Верно. А если женщина говорит с другой женщиной о своей стиральной машине, или о взбивалке для яиц, или о вышивании тамбуром, или о вязанье и у нее вдруг затмение в голове и она не может вспомнить точное слово — что она тогда говорит?

— Она говорит: «Эту висюльку надень на загогулину. Придержи фантифлюшку и насади ее на рогульку», — сказал Кроуэлл, радуясь, как школьник, понявший вдруг математическое правило.

— Совершенно верно! — воскликнул человек. — Хорошо. Таким образом, мы здесь имеем дело с появлением семантически неточных обозначений, пригодных для описания любого предмета — от куриного гнезда до автомобильного картера. «Штуковиной» могут назвать и парик, и половую тряпку. Штуковина — это не один определенный предмет. Это тысяча разных предметов. Да... так вот что я сделал: проникал в сознание цивилизованных людей, извлекал представление каждого о том, как выглядит штуковина, о том, как выглядят штучки-дрючки, и непосредственно из энергии атомов создавал материальные эквиваленты этих несовершенных обозначений. Иными словами, мои изобретения суть трехмерные репрезентации определенных сгустков смысла. Поскольку в сознании человека «штуковиной» может быть что угодно — от щетки до стального болта девятого размера, — это свойство повторено и в моих изобретениях. Штуковине, которую вы сегодня брали домой, под силу почти все, чего вы от нее захотите. Многие из моих изобретений благодаря вложенным в

них способностям мыслить, самостоятельно передвигаться и выполнять самые разнообразные действия, по существу, сходны с роботами.

— Они могут всё?

— Не всё, но очень многое. Что же касается функционирования большинства из них, то оно возможно благодаря примерно шестидесяти протекающим в любом из них одновременно процессам, необычным, взаимодействующим, разнообразным по объему и интенсивности. У каждого из моих творений свой набор полезных функций. Одни устройства большие. Другие маленькие. У больших — множество разнообразных применений. На долю маленьких выпадают всего одна или две простые функции. Ни одно изделие не повторяет другое в точности. Прикиньте сами, сколько времени, места и денег вы сэкономите, купив какую-нибудь из моих штукоеви!

— Ага, — отозвался Кроуэлл. Ему вспомнилось тело Бишопы. — Использовать вашу штукоевину можно очень многообразно, тут уж ничего не скажешь.

— Хорошо, что вы напомнили. Я хочу спросить вас о пустяковинке модели 1944 года, которую вы дали в счет стоимости моей штукоевины. Где вы ее раздобыли?

— Где раздобыл? Вы про эту, для чистки... то есть, про пустяковинку? Я... э-э... я...

— Вам не следует ничего опасаться, вы можете быть со мной откровенным. Ведь у нас общие профессиональные тайны. Вы сделали ее сами?

— Я... я купил ее, а потом над ней работал. Вкладывал... вкладывал энергию мысли — ну вы знаете как.

— Значит, вам известен этот секрет? Подумать только! А я-то считал, что, кроме меня, о возможности превращать мысль в энергию не знает никто. Какой блестящий ум! Вы учились в Рругре?

— Нет. До сих пор жалею, что не попал туда. Не было возможности. Всего достиг собственными силами.

Ну а теперь вот что: я бы хотел вернуть эту штуковину и взять что-нибудь другое. Штуковина мне не нравится.

— Не нравится? Но почему?

— Да просто не нравится — и все. Слишком много возни. Мне бы хотелось что-нибудь попроще.

«Да, — подумал он про себя, — попроще, чтобы видно было, как работает».

— Какого рода устройство, мистер Кроуэлл, желаете вы взять в этот раз?

— Дайте мне... штучку-дрючку.

— Штучку-дрючку какого года?

— А не все равно какого?

— О, вы опять шутите!

Кроуэлл сделал глотательное движение.

— Разумеется, шучу.

— Вы ведь, конечно, знаете, что год от года свойства штучки-дрючки, как и само ее название, меняются, и меняются они уже на протяжении тысяч лет.

— А сами вы не шутите? — спросил Кроуэлл. — Нет, не шутите. Не обращайтесь внимания на мои слова. Дайте мне штучку-дрючку, и я поеду домой.

Что это он говорит — «домой»? Не очень-то умно было бы отправиться туда сейчас. Лучше затаиться где-нибудь в укромном местечке и довести до сведения телохранителей: он держит Бишопа заложником. Да. Только так. Это надежней всего. А пока неплохо бы разузнать побольше об этой лавке... Но держать около себя что-нибудь подобное той штуковине? Нет уж, увольте!

Маленький владелец магазина между тем продолжал:

— У меня целый ящик штучек-дрючек из всех исторических эпох, я вам его отдам. Просто не знаю, куда мне девать это добро, и пока только вы принимаете меня всерьез: За весь сегодняшний день у меня не

было ни одного покупателя. Меня это очень огорчило.

«Да, мозги у этого малышки здорово набекрень», — подумал Кроуэлл и сказал:

— Знаете что? У меня дома пустой чулан. Как-нибудь на днях доставьте ко мне всю эту мелочь, и я просмотрю ее и выберу, что мне понравится.

— А не могли бы вы сделать мне одолжение и взять часть товара прямо сейчас?

— Не знаю, смогу ли я...

— О, немного! Совсем немного. Серьезно. Вот они. Сейчас увидите сами. Несколько коробочек побрякушек и финтифлюшек. Вот они. Вот.

Владелец магазинчика наклонился и вытащил из-под прилавка шесть коробок.

Кроуэлл открыл одну.

— Эти я возьму, тут и говорить не о чем. Одни только шумовки, ножи для чистки овощей, дверные ручки и старые голландские пенковые трубки — больше тут ничего нет. Эти я, конечно, возьму.

Совсем не страшные. Маленькие, простые. Вряд ли можно ждать от них неприятных сюрпризов.

— О, благодарю вас! Очень вам признателен. Положите все на заднее сиденье своей машины, я за них не возьму с вас ничего. Я рад, что освобождаю у себя место. За последние годы я столько пасоздавал, что не знаю, куда все это девать. Меня тошнит от одного вида моих изделий.

Обхватив коробки обеими руками, придерживая верхнюю подбородком, Кроуэлл вышел на улицу, к своему белому «жуку», и свалил все на заднее сиденье. Потом махнул человечку рукой, сказал, что на днях они обязательно встретятся, и поехал.

Час, проведенный в лавке, захлебывающаяся радость человечка, яркий свет в помещении привели к тому, что Кроуэлл впервые за все это время забыл о телохранителях Бишопе и о самом Бишопе.

Мотор ровно жужжал у него под ногами. Он ехал к центру, к студиям, и пытался решить, что делать дальше. Почувствовав вдруг любопытство, протянул руку к коробкам на заднем сиденье и вытащил первое, что попало. Курительная трубка, всего-навсего. От одного ее вида ему захотелось курить, и он достал из вшитого в блузу кисета табак, набил трубку и с опаской, осторожно ее закурил. С шумом выпустил дым. Просто блеск. Трубка что надо!

Он курил, позабыв обо всем на свете, когда увидел что-то в зеркале заднего обзора. За ним следовали два черных «жука». Точно, те самые — черные как ночь, с мощными двигателями.

Кроуэлл мысленно выругался и прибавил скорость. Черные машины приближались. Двое убийц в одной, двое — в другой.

Не остановиться ли и не сказать ли им, что он их босса держит заложником?

В руках убийц в низких машинах поблескивали пистолеты. Такие типы сперва стреляют, а уж потом разговаривают. Нет, к этому он готов не был. Он-то рассчитывал укрыться в надежном месте, позвонить им и предъявить ультиматум. Но чтобы... *такое?*

Машины неотвратно приближались.

Кроуэлл нажал на педали. На лбу выступили и наперегонки побежали вниз капельки пота. Ну и влип же он! Зря он, пожалуй, поторопился вернуть штуковину. Очень пригодилась бы сейчас — как пригодилась неожиданно с Бишопом.

Штуковина... А штучки-дрючки?!

У него вырвался ликующий крик.

Протянув руку назад, он начал судорожно рыться в штучках-дрючках, пустяковинках, ерундовинках, барахлинках. Похоже, ничего стоящего нет, но он попробует.

— Валяйте, штуковинки, делайте свое дело! Защищайте меня, черт вас побери!

На заднем сиденье что-то забрякало, зазвенело, и что-то металлическое, просвистев у самого уха Кроуэлла, вылетело на прозрачных крыльях наружу, повернуло к преследующему «жуку» и ударилось в ветровое стекло.

Взрыв — зеленое пламя и серый дым.

Трррышка сделала свое дело. Она была сочетанием игрушечного самолетика и артиллерийского снаряда.

Кроуэлл нажал на педаль, и его «жук» снова вырвался вперед. Вторая машина по-прежнему шла за ним. Нет, по доброй воле они от него не отстанут.

— Убейте и этих! — закричал Кроуэлл. — Убейте! Как хотите, но убейте!

Схватив коробку, он вышвырнул все, что в ней было, за окошко, потом проделал то же с содержимым другой коробки. Что-то сразу поднялось в воздух. Остальное безобидно запрыгало по асфальту.

Два предмета сверкали в воздухе. Две пары ножиц, острых и блестящих — только можно было подумать, будто в каждую пару вставлено по маленькому антигравитационному двигателю. Со свистом разрезая воздух, они понеслись назад, к преследующему черному «жуку».

Блеснув, ножицы влетели в открытые окошки машины.

Черный «жук» вдруг потерял управление, свернул с мостовой на тротуар, ударился на полной скорости в стену, перевернулся один раз, другой, и внезапно его охватило буйное пламя.

Кроуэлл бессильно откинулся на спинку сиденья. Его машина, замедлив ход, повернула за угол и остановилась у тротуара. Он дышал часто-часто. Сердце, казалось, вот-вот вырвется из груди.

Теперь, если он захочет, он может возвращаться до-

мой. Теперь никто не ждет его там, не подстерегает в засаде, не будет останавливать и допрашивать, не будет ему угрожать.

Да, теперь можно возвращаться домой. Странно, но от этой мысли ему не становилось ни легче, ни радостней. Наоборот, на душе было темно, уныло, неуютно. До чего же гнусное место этот мир! Во рту у него было противно и горько.

Он поехал домой. Может быть, теперь все будет хорошо? Может быть...

Взяв оставшиеся коробки, он вылез из машины и на лифте поднялся на свой этаж. Открыл дверь, поставил коробки на стол и начал разбирать то, что в них было.

Новая трубка снова была у него в зубах. Некоторое время назад он машинально взял ее в рот. Нервы. Нужно закурить, тогда успокоишься.

Он набил трубку свежим табаком и раскурил ее. А вообще, только псих мог отдать незнакомому человеку все это добро. Опасно, когда такое попадает неизвестно в чьи руки. Всякая сомнительная публика может получить свободный доступ к этим вещам, может использовать их в своих целях.

Рассмеявшись, он затаился снова.

Теперь он кум королю. Эти матерые дельцы из «Пластикс инкорпорейтед» будут ходить перед ним на задних лапках, будут платить ему деньги, будут, черт бы их побрал, выполнять каждое его желание — добиться этого ему помогут маленький хозяин лавки и его товар.

А вообще-то, со всеми этими делами будет уйма хлопот. Он сел и задумался, и душу его снова заполнил мрак, как повторялось уже многие годы. Опять приступ хандры.

Чего можно добиться в этом мире? Чего ради он живет? Ох, и устал же он!

Иногда, вот как сегодня ночью и столькими другими

ночами за все прошедшие долгие годы, мелькала мысль: а неплохо было бы, если бы люди с пистолетами догнали его и по самую макушку начинили параличом. Иногда, будь у него в руке пистолет, *он бы и сам себе разнес череп.*

Внезапный взрыв. Кроуэлла поднялся. Замер. Упал на колени.

Он совсем забыл о трубке у себя во рту — забыл о том, что у него во рту чепушинка.

Способ, каким она ему об этом напомнила, привел, как это ни прискорбно, к фатальным последствиям.

Разговор оплачен заранее*

С чего это в памяти всплыли вдруг старые стихи?
Ответа он и сам не знал, но — всплыли:

Представьте себе, представьте еще и еще раз,
Что провода, висящие на черных столбах,
Впитали миллиардные потоки слов человеческих,
Какие слышали каждую ночь напролет,
И сберегла для себя их смысл и значение...

Он запнулся. Как там дальше? Ах, да...

И вот однажды, как вечерний кроссворд,
Все услышанное составили вместе
И принялись задумчиво перебирать слова,
Как перебирает кубики слабоумный ребенок...

Опять запнулся. Какой же у этих стихов конец?
Постой-ка...

Как зверь безмозглый
Сгребает гласные и согласные без разбора,
За чудеса почитает плохие советы
И цедит их шепотком, с каждым ударом сердца
Строго по одному...
И в час полночный некто сядет в постель,
Услышит гром звонка, поднимет грубку,
И раздастся голос — чей? Святого духа?
Призрака из дальних созвездий?
А это — он, Зверь.

* Пер. изд.: Bradbury R. Night Call, Collect: I Sing the Body Electric, Doubleday, N. Y., 1969.

© Перевод на русский язык, «Мир», 1983.

И с присвистом, смакуя звуки,
Пронесшись сквозь континенты, одолев безумие времени,
Зверь вымолвит по слогам:
— Здрав-ствуй-те...

Он перевел дух и закончил:

Что же ответить ему, врежде немому,
Затерянному леведомо где жестокому зверю,
Как достойно ответить ему?

Он замолк.

Он сидел и молчал. Восемидесятилетний старик, он сидел один в пустой комнате, в пустом доме, на пустой улице пустого города, на пустой планете Марс.

Он сидел, как сидел последние полвека, — сидел и ждал.

На столе перед ним стоял телефон. Телефон, который давно-давно не звонил.

И вот телефон затрепетал, тайно готовясь к чему-то. Быть может, именно этот трепет и вызвал в памяти забытое стихотворение.

Ноздри у старика раздулись. Глаза широко раскрылись.

Телефон задрожал — тихо, почти беззвучно.

Старик наклонился и уставился на телефон безумными глазами.

Телефон *завонил*.

Старик подпрыгнул, отскочил от телефона, стул полетел на пол. Старик закричал, собрав все силы:

— Нет!..

Телефон зазвонил опять.

— Не-е-ет!..

Старик хотел было протянуть руку к трубке, протянул — и сбил аппарат со стола. Телефон упал на пол как раз в ту секунду, когда зазвонил в третий раз.

— Нет, нет,.. о нет... — повторял старик тихо, прижимая руки к груди, покачивая головой, а телефон ле-

жал у его ног. — Этого не может быть... Этого просто не может быть...

Потому что как-никак он был один в пустой комнате, в пустом доме, в пустом городе на планете Марс, где в живых не осталось никого, только он один, король безлюдных гор...

И все же...

— Бартон!..

Кто-то звал его по фамилии.

Нет, послышалось. Просто что-то трещало в трубке, жужжало, как кузнечики и цикады дальних пустынь.

«Бартон? — подумал он. — Ну да... ведь это же я!..»

Старик так давно не слышал звука своего имени, что совсем его позабыл. Он не принадлежал к числу тех, кто способен разговаривать сам с собой. Он никогда...

— Бартон! — позвал телефон. — Бартон! Бартон! Бартон!...

— Замолчи! — крикнул старик.

И пнул трубку ногой. Потев и задыхаясь, наклонился, чтобы положить ее обратно на рычаг.

Но едва он водворил ее на место, проклятый аппарат зазвонил снова.

На сей раз старик стиснул телефон руками, сжал так, будто хотел задушить, заглушить звук, но в конце концов костяшки пальцев побелели, и он, разжав руки, поднял трубку.

— Бартон!.. — донесся голос издалека, за миллиард миль.

Старик подождал — сердце отмерило еще три удара, — затем сказал:

— Бартон слушает...

— Ну, ну, — отозвался голос, приблизившийся теперь до миллиона миль. — Знаешь, кто с тобой говорит?..

— Черт побери, — заявил старик. — Первый звонок за половину моей жизни, а вы шутки шутить...

— Виноват. Это я, конечно, зря. Само собой, не мог же ты узнать свой собственный голос. Собственный голос никто не узнает. Мы-то сами слышим его искаженным, сквозь кости черепа... С тобой говорят Бартон.

— Что?!

— А ты думал кто? Командир ракеты? Думал, кто-нибудь прилетел на Марс, чтобы спасти тебя?..

— Да нет...

— Какое сегодня число?

— 20 июля 2097 года.

— Бог ты мой! Шестьдесят лет прошло! И что, ты все это время так и сидел, ожидая прибытия ракеты с Земли?

Старик молча кивнул.

— Послушай, старик, теперь ты знаешь, кто говорит?

— Знаю. — Он вздрогнул. — Вспомнил. Мы с тобой одно лицо. Я Эмиль Бартон, и ты Эмиль Бартон.

— Но между нами существенная разница. Тебе восемьдесят, а мне двадцать. У меня еще вся жизнь впереди!..

Старик рассмеялся — и тут же заплакал навзрыд. Он сидел и держал трубку в руке, чувствуя себя глупым, заблудившимся ребенком. Разговор этот был невыносим, его не следовало продолжать — и все-таки разговор продолжался. Совладав с собой, старик прижал трубку к уху и сказал:

— Эй, ты там! Послушай... О господи, если б только я мог предупредить тебя! Но как? Ты же всего-навсего голос. Если б я мог показать тебе, как одиноки предстоящие годы... Оборви все разом, убей себя! Не жди! Если б ты мог понять, как это страшно — превратиться из того, что ты есть, в то, что есть я сегодня, теперь, на этом конце провода...

— Чего нельзя, того нельзя, — рассмеялся молодой Бартон далеко-далеко. — Я же не могу знать, отстрит

ли ты на мой звонок. Все это автоматика. Ты разговариваешь с записью, а вовсе не со мной. Сейчас 2037 год, для тебя — шестьдесят лет назад. На Земле сегодня началась война. Всех колонистов отозвали с Марса на ракетах. А я отстал...

— Помню, — прошептал старик.

— Один на Марсе, — рассмеялся молодой голос. — Месяц, год — не все ли равно! Продукты есть, книги есть. В свободное время я подобрал фонотеку на десять тысяч слов — ответы надиктованы моим же голосом и подключены к телефонным реле. Буду сам себе звонить, заведу собеседника...

— Да, да...

— Шестьдесят лет спустя мои записи мне позвонят. Я, правда, не верю, что пробуду на Марсе столько лет. Просто мысль такая замечательная в голову пришла, средство убить время. Это действительно ты, Бартон? Ты — это я?

Слезы текли из глаз старика.

— Да, да...

— Я создал тысячу Бартонов, тысячу магнитофонных записей, готовых ответить на любые вопросы, и разместил их в тысяче марсианских городов. Целая армия Бартонов на всей планете, покуда сам я жду возвращения ракет...

— Дурак! — Старик устало покачал головой. — Ты прождал шестьдесят лет. Состарился, ожидая, и все время один. И теперь ты стал я, и ты по-прежнему один, один в пустых городах...

— Не рассчитывай на мое сочувствие. Ты для меня чужак, живущий в иной стране. Зачем мне грустить? Когда я диктую эти записи, я живой. И ты, когда слушаешь их, тоже живой. Но друг друга понять мы не можем. Ни один из нас не может ни о чем предупредить другого, хоть мы и переключаемся через годы — один автоматически, другой по-человечески страстно.

Я живу сейчас. Ты живешь позже меня. Пусть это бред. Плакать не стану — будущее мне неизвестно, а раз так, я остаюсь оптимистом. Записи спрятаны от тебя и лишь реагируют на определенные раздражители с твоей стороны. Можешь ты потребовать от мертвеца, чтобы он зарыдал?..

— Прекрати! — воскликнул старик. Он ощутил знакомый приступ боли. Им овладевала тошнота — и чернота. — Боже, как ты был бессердечен! Прочь! Прочь!..

— Почему *был*, старина? Я есть. Пока лента скользит по тонвалу, пока крутятся бобины и скрытые от тебя электронные глаза читают, выбирают и трансформируют слова тебе в ответ, я буду молод — и буду жесток. Я останусь молод и жесток и тогда, когда ты давным-давно умрешь. До свидания..

— Постой! — вскричал старик.

Щелк.

Бартон долго сидел, сжимая в руке онемевшую трубку. Сердце причиняло ему нестерпимую боль.

Каким сумасшествием это было! Он был молод — и как глупо, как вдохновенно шли те первые годы одиночества, когда он монтировал все эти управляющие схемы, пленки, цепи, программировал вызовы на реле времени...

Звонок.

— С добрым утром, Бартон! Говорит Бартон. Семь часов. А ну вставай, поднимайся!..

Опять!

— Бартон? Говорит Бартон. В полдень тебе предстоит поехать в Марстаун. Установить там телефонный мозг. Хотел тебе об этом напомнить.

— Спасибо.

Звонок!

— Бартон? Это я, Бартон. Пообедаем вместе? В ресторане «Ракета»?

— Ладно.

— Там и увидимся. Пока!..

Дз-з-з-инн-н-нь!

— Это ты? Хотел подбодрить тебя. Выше нос и так далее. А вдруг именно завтра за нами прилетит спасательная ракета?..

— Вот именно, завтра. Завтра — завтра — завтра...
Шелк.

Но годы обратились в дым. И Бартон сам заглушил коварные телефоны и все их хитрые, хитрые реплики. Теперь телефоны должны были вызывать его только после того, как ему исполнится восемьдесят, если он еще будет жив. И вот сегодня они звонят, и прошлое дышит ему в уши, нашептывает, напоминает...

Телефон!

Пусть звонят.

«Я же вовсе не обязан отвечать», — подумал он.

Звонок!

«Да ведь там и нет никого», — подумал он.

Звонок! Звонок! Звонок!..

«Это будто сам с собой разговариваешь, — подумал он. — Но есть разница. Господи, и какая разница!..»

Он ощутил, как его рука сама подняла трубку.

— Алло, старик Бартон, говорит молодой Бартон. Мне сегодня двадцать один! За прошедший год я установил аппараты еще в двухстах городах. Я заселил Марс Бартонами!..

— Да, да...

Старик припомнил те ночи, шесть десятилетий назад, когда он носился сквозь голубые горы и железные долины в грузовике, набитом всякой техникой, и насвистывал, счастливый. Еще один аппарат, еще одно реле. Хоть какое-то занятие. Остроумное, необычное, грустное. Скрытые голоса. Скрытые, запрятанные. В те молодые годы смерть не была смертью, время не было временем, а старость казалась лишь смутным эхом из

глубокого грота лет, лежащих впереди. Молодой идиот, садист, дурак, не помышлявший о том, что снимать урожай придется ему самому...

— Вчера вечером, — сказал Бартон двадцати одного года от роду, — я сидел в кино посреди пустого города. Прокрутил старую ленту с Лорелом и Харди. Ох, и смеялся же я!..

Да, да...

— У меня родилась идея. Я записал свой голос на одну и ту же пленку тысячу раз подряд. Запустил ее через громкоговорители — звучит как тысяча человек. Шум толпы, оказывается, успокаивает. Я так все устроил, что двери в городе хлопают, и дети поют, и радиолы играют, все по часам. Если не смотреть в окно, только слушать, тогда здорово. А выглянешь — иллюзия пропадает. Наверное, начинаю чувствовать свое одиночество...

— Вот тебе и первый сигнал, — сказал старик.

— Что?

— Ты впервые признался себе, что одинок...

— Я поставил опыты с запахами. Когда я гуляю по улицам, из домов доносятся запахи бекона, яичницы, ветчины, рыбы. Все с помощью потайных устройств.

— Сумасшествие!

— Самозащита!..

— Я устал...

Старик резко повесил трубку. Это уж чересчур. Прошлое захлестывает его...

Пошатываясь, он спустился по лестнице и вышел на улицу.

Город лежал в темноте. Не горели больше красные неоновые огни, не играла музыка, не носились в воздухе кухонные запахи. Давным-давно забросил он фантастику механической лжи. Прислушайся! Что это — шаги?.. Запах! Вроде бы земляничный пирог... Он прекратил все это раз и навсегда.

Он подошел к каналу, где звезды мерцали в дрожащей воде.

Под водой шеренга к шеренге, как рыбы в стае, ржавели роботы — механическое население Марса, которое он создавал в течение многих лет, а затем внезапно осознал жуткую бессмысленность того, что делает, и приказал им — раз, два! три, четыре! — следовать на дно канала, и они утонули, пуская пузыри, как пустые бутылки. Он истребил их всех — и не чувствовал угрызений совести.

В неосвещенном домике тихо зазвонил телефон.

Он прошел мимо. Телефон замолк.

Зато впереди, в другом коттедже, забренчал звонок, словно догадался о его приближении. Он побежал. Звонок остался позади. Но на смену пришли другие звонки — в этом домике, в том, здесь, там, повсюду! Он рванулся прочь. Еще звонок!

— Ладно! — закричал он в изнеможении. — Ладно, иду!

— Алло, Бартон!..

— Что тебе?

— Я одинок. Я существую, только когда говорю. Значит, я должен говорить. Ты не можешь заставить меня замолчать...

— Оставь меня в покое! — в ужасе воскликнул старик. — Ох, сердце...

— Говорит Бартон. Мне двадцать четыре. Еще два года прошло. А я все жду. И мне все более одиноко. Прочел «Войну и мир». Выпил реку вина. Обошел все рестораны — и в каждом был сам себе официант, и повар, и оркестрант. Сегодня играю в фильме в кинотеатре «Тиволи». Эмиль Бартон в «Напрасных усилиях любви» исполнит все роли, некоторые в париках!..

— Перестань мне звонить, или я тебя убью!..

— Тебе меня не убить. Сперва найди меня!

— И найду.

— Ты же забыл, где ты меня спрятал. Я везде: в кабелях и коробках, в домах и башнях и под землей. Давай убивай! Как ты назовешь это? Телеубийство? Самоубийство? Ревнуешь, не так ли? Ревнуешь ко мне, двадцатичетырехлетнему, ясноглазому, сильному, молодому... Ладно, старик, стало быть, война! Война между нами! Между мной — и мной! Нас тут целый полк всех возрастов против тебя, единственного настоящего. Валий, объявляй войну!..

— Я убью тебя!

Щелк.

Тишина.

Он вышвырнул телефон в окно.

В полночный холод автомобиль пробирался по глубоким долинам. На полу под ногами Бартона были сложены пистолеты, винтовки, взрывчатка. Рев машины отдавался в его истонченных, усталых костях.

«Я найду их, — думал он, — найду и уничтожу всех до единого. Господи, и как он только может так поступать со мной?..»

Он остановил машину. Под заходящими лунами лежал незнакомый город. Над городом висело безветрие.

В холодеющих руках он держал винтовку. Смотрел на столбы, башни, коробки. Где же запрятан голос в этом городе? Вон на той башне? Или на этой? Столько лет прошло! Он судорожно повел головой в одну сторону, в другую...

Поднял винтовку...

Башня развалилась с первого выстрела.

«А надо все, — подумал он. — Придется срезать все башни. Я забыл, забыл! Слишком давно это было...»

Машина двинулась по безмолвной улице.

Зазвонил телефон.

Он бросил взгляд на вымершую аптеку.

Аппарат!

Сжав пистолет, он сбил выстрелом замок и вошел внутрь.

Щелк.

— Алло, Бартов! Предупреждаю: не пытайся разрушить все башни или взорвать их. Сам себе перережешь глотку. Одумайся...

Щелк.

Он тихо вышел из телефонной будки и двинулся на улицу и все прислушивался к смутному гулу башен — гул доносился сверху, они все еще действовали, все еще оставались нетронутыми. Посмотрел на них снова — и вдруг сообразил: он не вправе их уничтожить. Допустим, с Земли прилетит ракета, — сумасбродная мысль, но допустим, она прилетит сегодня, завтра, через неделю? И сядет на другой стороне планеты, и кто-то захочет связаться с Бартоном по телефону — и обнаружит, что вся связь прервана?..

Он опустил винтовку.

— Да не придет ракета, — возразил он себе вполголоса. — Я старик. Слишком поздно...

«Ну а вдруг придет, — подумал он, — а ты и не узнаешь... Нет, надо, чтобы связь была в порядке...»

Опять зазвонил телефон.

Он туло повернулся. Прошаркал обратно в аптеку, непослушными пальцами поднял трубку.

— Алло!..

Незнакомый голос.

— Пожалуйста, — сказал старик, — оставь меня в покое...

— Кто это, кто там? Кто говорит? Где вы? — откликнулся изумленный голос.

— Подождите. — Старик пошатнулся. — Я Эмиль Бартон. Кто со мной говорит?

— Говорит капитан Рокуэл с ракеты «Аполлон-48». Мы только что с Земли...

— Нет, нет, нет!..

— Вы слушаете меня, мистер Бартон?

— Нет, нет! Этого быть не может...

— Где вы?

— Врешь! — Старик пришлось прислониться к стенке будки. Глаза его ничего не видели. — Это ты, Бартон, потешаешься надо мной, обманываешь меня снова!..

— Говорит капитан Рокуэл. Мы только что сели. В Новом Чикаго. Где вы?

— В Гринвилле, — прохрипел старик. — Шестьсот миль от вас.

— Слушайте, Бартон, могли бы вы приехать сюда?

— Что?

— Нам нужно провести кое-какой ремонт. Да и устали за время полета. Могли бы вы приехать помочь?

— Да, конечно.

— Мы на поле за городом. К завтрашнему дню доберетесь?

— Да, но...

— Что еще?

Старик погладил трубку.

— Как там Земля? Как Нью-Йорк? Война кончилась? Кто теперь президент? Что с вами случилось?..

— Впереди уйма времени. Наговоримся, когда приедете.

— Но хоть скажите: все в порядке?

— Все в порядке.

— Слава богу. — Старик прислушался к звучанию далекого голоса. — А вы уверены, что вы капитан Рокуэл?

— Черт возьми!..

— Прошу прощения...

Он повесил трубку и побежал.

Они здесь, после стольких лет одиночества — невероятно, — люди с Земли, люди, которые возьмут его с собой, обратно к земным морям, горам и небесам...

Он завел машину. Он будет ехать всю ночь напролет. Риск стоит того — он вновь увидит людей, пожмет им руки, услышит их речь...

Громовое эхо мотора несло по холмам.

Но этот голос... Капитан Рокуэл. Не мог же это быть он сам сорок лет назад... Он не делал, никогда не делал подобной записи! А может, делал? В приступе депрессии, в припадке пьяного цинизма не выдумал ли он однажды ложную запись ложной посадки на Марсе ракеты с поддельным капитаном и воображаемой командой? Он зло мотнул головой. Нет! Он просто подозрительный дурак. Теперь не время для сомнений. Нужно всю ночь, ночь напролет мчаться вдогонку за марсианскими лунами. Ох, и отпразднуют же они эту встречу!..

Взошло солнце. Он бесконечно устал, шипы сомнений впивались в душу, сердце трепетало, руки судорожножимали руль — но как сладостно было предвкушать последний телефонный звонок: «Алло, молодой Бартон! Говорит старый Бартон. Сегодня я улетаю на Землю. Меня спасли!..» Он слегка усмехнулся.

В затененные предместья Нового Чикаго он въехал перед закатом. Вышел из машины — и застыл, уставясь на бетон космодрома, протирая воспаленные глаза.

Поле было пустынно. Никто не выбежал ему навстречу. Никто не тряс ему руку, не кричал, не смеялся.

Он почувствовал, как заходится сердце. В глазах потемнело, он будто падал сквозь пустоту. Спотыкаясь, побрел к какой-то постройке.

Внутри в ряд стояли шесть телефонов.

Он ждал, задыхаясь.

Наконец — звонок.

Он поднял тяжелую трубку.

Голос:

— А я еще думал — доберешься ли ты живым...

Старик ничего не ответил, просто стоял и держал трубку в руке.

— Докладывает капитан Рокуэл, — продолжал голос. — Какие будут приказания, сэр?

— Ты! — простонал старик.

— Как сердчишко, старик?

— Нет!..

— Надо же было мне как-то устранить тебя, чтоб сохранить жизнь себе — если, конечно, можно сказать, что магнитозапись живет...

— Я сейчас еду обратно, — ответил старик. — И терять мне уже нечего. Я буду варывать все подряд, пока не убью тебя!

— У тебя сил не хватит. Почему, ты думаешь, я заставил тебя ехать так далеко и так быстро? Это была последняя твоя поездка!..

Старик ощутил, как дрогнуло сердце. Никогда уже он не сможет добраться до других городов... Война проиграна. Он упал в кресло, изо рта у него вырывались тихие скорбные звуки. Он смотрел неотрывно на остальные пять телефонов. Они зазвонили хором. Гнездо с пятью отвратительными галдящими птицами!

Трубки приподнялись сами собой.

Комната поплыла перед глазами.

— Бартон, Бартон, Бартон!..

Он сжал один из аппаратов руками. Он душил телефон, а тот по-прежнему смеялся над ним. Стукнул по телефону. Пнул ногой. Намотал горячий провод, как серпантин, на пальцы, и рванул. Провод сполз к его непослушным ногам.

Он разломал еще три аппарата. Наступила внезапная тишина.

И словно тело Бартона обнаружило вдруг то, что долго держало в тайне, — оно начало оседать на усталых костях. Ткань век опала, как лепестки цветов. Рот сморщился. Мочки ушей оплыли расплавленным воском. Он уперся руками себе в грудь и упал ничком. И остался лежать. Дыхание остановилось. Сердце остановилось.

Долгая пауза — и зазвонили уцелевшие два телефона.

Где-то замкнулось реле. Два телефонных голоса соединились напрямую друг с другом.

— Алло, Бартон!

— Да, Бартон?

— Мне двадцать четыре.

— А мне двадцать шесть. Мы оба молоды. Что стряслось?

— Не знаю. Слушай...

В комнате тишина. Старик на полу недвижим. В разбитое окно задувает ветер. Воздух свеж и прохладен.

— Поздравь меня, Бартон! Сегодня у меня день рождения, мне двадцать шесть!

— Поздравляю!..

Голоса запели хором, поздравляя друг друга, — и ление подхватил ветерок, вынес из окна и понес чуть слышно по мертвому городу.

Песочный Человек*

Роби Моррисон не знал, куда себя деть. Слоняясь в тропическом зное, он слышал, как на берегу глухо грохочут волны. В зелени Острова Ортопедии затаилось молчание.

Шел год тысяча девятьсот девяносто седьмой, но Роби это нисколько не интересовало.

Его окружал сад, и он, уже десятилетний, по этому саду метался. Был Час Размышлений. Снаружи к северной стене сада примыкали Апартаменты Вундеркиндов, где ночью в крохотных комнатках спали на особых кроватях он и другие мальчики. По утрам они, как пробки из бутылок, вылетали из своих постелей, кидались под душ, заглатывали еду — и вот они уже в цилиндрических кабинах, пневматическая подзетка их всасывает, и снова на поверхность они вылетают посреди Острова, прямо к Школе семантики. Оттуда позднее — в Класс физиологии. После физиологии вакуумная труба уносит Роби в обратном направлении, и через люк в толстой стене он попадает в сад, чтобы

* Печатается по изд.: Брэдли Р. Нечто необозначенное: Пер. с англ. — М.: Знание, 1982. — (НФ-26). — Пер. изд.: Bradbury R. Referent: The Day it Rained Forever. Penguin Books, Ltd., 1959.

© Перевод на русский язык, «Знание», 1982.

провести там этот глупый Час никому не нужных Размышлений, предписанных ему Психологами.

У Роби об этом часе было твердое мнение: «Черт знает до чего занудно».

Сегодня он был разъярен и бунтовал. С завистью он поглядывал на море: эх, если бы и ему можно было так же свободно приходить и уходить! Глаза Роби потемнели от гнева, щеки горели, маленькие руки не знали покоя.

Откуда-то послышался тихий звон. Целых пятнадцать минут еще размышлять — брр! А потом — в Робот-Столовую, придать подобие жизни, набив его доверху, своему мертвеющему от голода желудку, как таксидермист, набивая чучело, придает подобие жизни птице.

А после научно обоснованного, очищенного от всех ненужных примесей обеда — по вакуумным трубам назад, на этот раз в Класс социологии. В зелени и духоте Главного Сада к вечеру, разумеется, будут игры. Игры, родившиеся не иначе как в страшных снах какого-нибудь страдающего разжижением мозгов психолога. Вот оно, будущее! Теперь, мой друг, ты живешь так, как тебе предсказали люди прошлого, еще в годы тысяча девятьсот двадцатый, тысяча девятьсот тридцатый и тысяча девятьсот сорок второй! Все свежее, похрустывающее, гигиеничное — чересчур свежее! Никаких тебе противных родителей, и потому — никаких комплексов! Все учтено, мой милый, все контролируется!

Чтобы по-настоящему воспринять что-нибудь из ряда вон выходящее, Роби следовало быть в самом лучшем расположении духа.

У него оно было сейчас совсем иное.

Когда через несколько мгновений с неба упала звезда, он только разозлился еще больше.

Звезда имела форму шара. Она ударилась о землю, прокатилась по зеленой, нагретой солнцем траве и остановилась. Щелкнув, открылась маленькая дверца.

Это смутно напомнило Роби сегодняшний сон. Тот самый, который он наотрез отказался записать утром в свою Тетрадь Сновидений. Сон этот почти было вспомнился ему, но в это мгновение в звезде распахнулась дверца и оттуда появилось... нечто.

Непонятно что.

Юные глаза, когда видят какой-то новый предмет, обязательно ищут в нем черты чего-то уже знакомого. Роби не мог понять, что именно вышло из шара. И поэтому, наморщив лоб, подумал о том, на что это *больше всего похоже*.

И тотчас «нечто» стало чем-то *определенным*.

В теплом воздухе вдруг повеяло холодом. Что-то замерцало, начало, будто плавясь, перестраиваться, меняться и обрело наконец вполне определенные очертания.

Возле металлической звезды стоял человек, высокий, худой и бледный; он был явно испуган.

Глаза у человека были розоватые, полные ужаса. Он дрожал.

— А-а, тебя я знаю. — Роби был разочарован. — Ты всего-навсего Песочный Человек*.

— Пе... Песочный Человек?

Незнакомец переливался, как марево над кипящим металлом. Трясущиеся руки взметнулись вверх и стали судорожно ощупывать длинные, медного цвета волосы, словно он никогда не видел или не касался их раньше. Он с ужасом оглядывал свои руки, ноги, туловище, как будто ничего такого раньше у него не было.

— Пе...сочный Человек?

Оба слова он произнес с трудом. Похоже, что вообще говорить было для него делом новым. Казалось, он хочет убежать, но что-то удерживает его на месте.

* Персонаж детской сказки. Песочный Человек приходит к детям, которые не хотят уснуть, и засыпает им песком глаза. — *Прим. перев.*

— Конечно, — подтвердил Роби. — Ты мне снишься каждую ночь. О, я знаю, что ты думаешь. Семантически, говорят наши учителя, разные там духи, привидения, домовые, феи и Песочный Человек тоже — это всего лишь названия, слова, которым в действительности ничто не соответствует — ничего такого на самом деле просто нет. Но наплевать на то, что они говорят. Мы, дети, знаем обо всем этом больше учителей. Вот ты передо мной, а это значит, что учителя ошибаются. Ведь существуют все-таки Песочные Люди, правда?

— Не называй меня никак! — закричал вдруг Песочный Человек. Он будто что-то понял, и это вызвало в нем неописуемый страх. Он по-прежнему ощупывал, теревил, щипал свое длинное тело с таким видом, как если бы это было что-то ужасное. — Не надо мне никаких названий!

— Как это?

— Я нечто необозначенное! — взвизгнул Песочный Человек. — Никаких названий для меня, пожалуйста! Я нечто необозначенное, и ничего больше! Отпусти меня!

Зеленые, кошачьи глаза Роби сузились.

— Хотел бы я знать... — Он уперся руками в бока. — Не мистер ли Грилл тебя подослал? Спорю, что он! Спорю, что это новый психологический тест!

От гнева к его щекам прихлынула кровь. Хоть бы па минуту оставили его в покое! Решают за него, во что ему играть, что есть, как и чему учиться, лишили матеря, отца и друзей, да еще потешаются над ним!

— Да нет же, я не от мистера Грилла! — прорыдал Песочный Человек. — Выслушай меня, а то придет кто-нибудь и увидит меня в моем теперешнем виде — тогда всё станет много хуже!

Роби со злостью лягнул его. Громко втянув воздух, Песочный Человек отпрыгнул назад.

— Выслушай меня! — закричал он. — Я не такой,

как вы все, я не человек! Вашу плоть, плоть всех людей на этой планете, вылепила мысль! Вы подчиняетесь диктату названий. Но я, я только нечто необозначенное, и никаких названий мне не нужно!

— Все ты врешь!

Снова пинки.

Песочный Человек бормотал в отчаянии:

— Нет, дружок, это правда! Мысль, тысячелетия работая над атомами, вылепила ваш теперешний облик; сумеи ты подорвать и разрушить слепую веру в него, веру твоих друзей, учителей и родителей, ты тоже мог бы менять свое обличье, стал бы чистым символом! Таким, как Свобода, Независимость, Человечность или Время, Пространство, Справедливость!

— Тебя подослал Грилл, все время он меня допрашивает!

— Да нет же, нет! Атомы очень подвижны. Вы, на Земле, приняли за истину некоторые обозначения, такие, как Мужчина, Женщина, Ребенок, Голова, Руки, Ноги, Пальцы. И потому вы уже не можете быть чем захотите и стали раз навсегда чем-то определенным.

— Отвяжись от меня! — взмолился Роби. — У меня сегодня контрольная, я должен собраться с мыслями. Он сел на камень и зажал руками уши.

Песочный Человек, будто ожидая катастрофы, испуганно огляделся вокруг. Теперь, возвышаясь над Роби, он дрожал и плакал.

— У Земли могло быть любое из тысяч совсем других обличий. Мысль носилась по неупорядоченному космосу, при помощи названий наводя в нем порядок. А теперь уже никто не хочет подумать об окружающем по-новому, подумать так, чтобы оно стало совсем другим!

— Пошел прочь, — буркнул Роби.

— Сажая корабль возле тебя, я не подозревал об опасности. Мне было интересно узнать, что у вас за

планета. Внутри моего шарообразного космического корабля мысли не могут менять мой облик. Сотни лет путешествую я по разным мирам, но впервые попал в такую ловушку! — Из его глаз брызнули слезы. — И теперь, свидетели боги, ты дал мне название, поймал меня, запер меня в клетку своей мысли! Надо же до такого додуматься — Песочный Человек! Ужасно! И я не могу противиться, не могу вернуть себе прежний облик! А вернуть надо обязательно, иначе я не вмещусь в свой корабль, сейчас я для него слишком велик. Мне придется остаться здесь навсегда. Освободи меня!

Песочный Человек визжал, кричал, плакал. Роби не знал, как быть. Он теперь безмолвно спорил с самим собой. Чего он хочет больше всего на свете? Бежать с Острова. Но ведь это глупо: его обязательно поймают. Чего еще он хочет? Пожалуй, играть. В настоящие игры, и чтобы не было психонаблюдения. Да, вот это было бы здорово! Гонять консервную банку или бутылку крутить, а то и просто играть в мяч — бросай в стену сада и лови, ты один, и никого больше. Да. Ну-жен красный мяч.

Песочный Человек закричал:

— Не...

И — молчание.

По земле прыгал резиновый красный мяч.

Резиновый красный мяч прыгал вверх-вниз, вверх-вниз.

— Эй, где ты? — Роби не сразу осознал, что появился мяч. — А это откуда взялось? — Он бросил мяч в стену, поймал его. — Вот это да!

Он и не заметил, что незнакомца, который только что на него кричал, уже нет.

Песочный Человек исчез.

Где-то на другом конце дышащего зноем сада возник визкий гудящий звук: по вакуумной трубе мчалась

цилиндрическая кабина. С негромким шипением круглая дверь в толстой стене сада открылась. С тропинки послышались размеренные шаги. В пышной раме из тигровых лилий появился, потом вышел из нее мистер Грилл.

— Привет, Роби. О! — Мистер Грилл остановился как вкопанный, с таким видом, будто в его розовое толстошее лицо пнули ногой. — Что это там у тебя, мой милый? — закричал он.

Роби бросил мяч в стену.

— Это? Мяч.

— Мяч? — Голубые глазки Грилла заморгали, прищурились. Потом напряжение его покинуло. — А, ну конечно. Мне показалось, будто я вижу... э-э... м-м...

Роби снова бросил мяч в стену.

Грилл откашлялся.

— Пора обедать. Час Размышлений кончился. И я вовсе не уверен, что твои не утвержденные министром Локком игры его бы обрадовали.

Роби выругался про себя.

— Ну ладно. Играй. Я не скажу.

Мистер Грилл был настроен благодушно.

— Неохота что-то.

Надув губы, Роби принялся ковырять носком сандалии землю. Учителя вечно все портят. Затошнит тебе — так и тогда нужно будет разрешение.

Грилл попытался заинтересовать Роби:

— Если сейчас пойдешь обедать, я тебе разрешу видеовстречу с твоей матерью в Чикаго.

— Две минуты десять секунд, ни секундой больше, ни секундой меньше, — иронически сказал Роби.

— Насколько я понимаю, милый мальчик, тебе вообще все не нравится?

— Я убегу отсюда, вот увидите!

— Ну-ну, дружок, ведь мы все равно тебя поймем.

— А я, между прочим, к вам не просился.

Закусив губу, Роби пристально посмотрел на свой новый красный мяч: мяч вроде бы... как бы это сказать... шевельнулся, что ли? Чудно. Роби его поднял. Мяч задрожал, как будто ему было холодно.

Грилл похлопал мальчика по плечу:

— У твоей матери невроз. Ты жил в неблагоприятной среде. Тебе лучше быть у нас, на Острове. У тебя высокий коэффициент умственного развития, ты можешь гордиться, что оказался здесь, среди других маленьких гениев. Ты эмоционально неустойчив, подавлен, и мы пытаемся это исправить. В конце концов ты станешь полной противоположностью своей матери.

— Я люблю маму!

— Ты *душевно к ней расположен*, — негромко поправил его Грилл.

— Я душевно к ней расположен, — тоскливо повторил Роби.

Мяч дернулся у него в руках. Роби озадаченно на него посмотрел.

— Тебе станет только труднее, если ты будешь ее любить, — сказал Грилл.

— Один бог знает, до чего вы глупы, — отозвался Роби.

Грилл окаменел.

— Не ругайся. А потом, на самом деле ты, говоря это, вовсе не имел в виду «бога» и не имел в виду «знает». И того и другого в мире очень мало — смотри учебник семантики, часть седьмая, страница четыреста восемнадцатая, «Означающие и означаемые».

— Вспомнил! — крикнул вдруг Роби, оглядываясь по сторонам. — Только что здесь был Песочный Человек, и он сказал...

— Пошли, — прервал его мистер Грилл. — Пора обедать.

В Робот-Столовой пружинные руки роботов-подавальщиков протягивали обед. Роби молча взял овальную тарелку, на которой лежал молочно-белый шар. За паузой у него пульсировал и бился, как сердце, красный резиновый мяч. Удар гонга. Он быстро заглотал еду. Потом все бросились, толкаясь, к подземке. Словно перышки, их втянуло и унесло на другой конец Острова, в Класс социологии, а потом, под вечер, — снова назад, теперь к играм. Час проходил за часом.

Чтобы побыть одному, Роби ускользнул в сад. Ненависть к этому безумному, никогда и ничем не нарушаемому распорядку, к учителям и одноклассникам пронзила и обожгла его. Он сел на большой камень и стал думать о матери, которая так далеко. Вспоминал, как она выглядит, чем от нее пахнет, какой у нее голос и как она гладила его, прижимала к себе и целовала. Он опустил голову, закрыл лицо ладонями, и в них полились ручьем его детские слезы.

Красный резиновый мяч выпал у него из-за паузы.

Роби было все равно. Он думал сейчас только о матери.

По зарослям пробежала дрожь. Что-то изменилось, очень быстро.

В высокой траве бежала, удаляясь от него, женщина!

Она поскользнулась, вскрикнула и упала.

Что-то поблескивало в лучах заходящего солнца. Женщина бежала туда, к этому серебристому и поблескивающему предмету. Бежала к шару. К серебряному звездному кораблю! Откуда она здесь? И почему бежит к шару? Почему упала, когда он на нее посмотрел? Кажется, она не может встать! Он вскочил, бросился туда. Добежав, остановился над женщиной.

— Мама! — не своим голосом закричал он.

По ее лицу пробежала дрожь, и оно начало меняться, как тающий снег, потом отвердело, черты стали четкими и красивыми.

— Я не твоя мама, — сказала женщина.

Роби не слышал. Он слышал только, как из его трясущихся губ вырывается дыхание. От волнения он так ослабел, что едва держался на ногах. Он протянул к ней руки.

— Неужели не понимаешь? — От ее лица веяло холодным безразличием. — Я не твоя мать. Не называй меня никак! Почему у меня обязательно должно быть название? Дай мне вернуться в корабль! Если не дашь, я убью тебя!

Роби точно ударили.

— Мама, ты и вправду не узнаешь меня? Я Роби, твой сын! — Ему хотелось уткнуться в ее грудь и выплакаться, хотелось рассказать о долгих месяцах неволи. — Прошу тебя, вспомни!

Рыдая, он шагнул вперед и прижался к ней.

Ее пальцы сомкнулись на его горле.

Она начала его душить.

Он попытался закричать. Крик был пойман, загнан назад в его готовые лопнуть легкие. Он забил ногами.

Пальцы сжимались все сильнее, в глазах у него темнело, но тут в глубинах ее холодного, чужого, безжадного лица он нашел объяснение.

Он увидел там остаток Песочного Человека.

Песочный Человек. Звезда, падающая в летнем небе. Серебристый шар корабля, к которому бежала женщина. Исчезновение Песочного Человека, появление красного мяча, а теперь — появление матери. Все стало на свои места.

Матрицы. Формы. Привычные представления. Модели. Вещество. История человека, его тела, всего, что существует во вселенной.

Он задыхался.

Он не сможет думать, и тогда она обретет свободу.

Мысли путаются. Тьма. Невозможно шевельнуться. Нет больше сил, нет. Он думал, *это* его мать. Однако *это* его убивает. А что, если подумать не о матери, а о ком-нибудь другом? Попробовать хотя бы. Попробовать. Он опять стал брыкаться. Стал думать в обступающей тьме, думать изо всех сил.

«Мать» издала вопль и стала съеживаться.

Он сосредоточился.

Пальцы начали таять, оторвались от его горла. Лицо размылось. Тело съежилось и стало меньше.

Роби был свободен. Ловя ртом воздух, он с трудом поднялся на ноги.

Сквозь заросли он увидел сияющий на солнце серебристый шар. Пошатываясь, Роби к нему двинулся, и тут из уст мальчика вырвался ликующий крик — в такой восторг привел его родившийся внезапно замысел.

Он торжествующе засмеялся. Снова стал, не отрывая взгляда, смотреть на *это*. Остатки «женщины» менялись у него на глазах, как тающий воск. Он проворачивал *это* в нечто новое.

Стена сада завибрировала. По пневматической подземке, шипя, неслась цилиндрическая кабина. Наверняка мистер Грилл! Надо спешить, не то все сорвется.

Роби побежал к шару, заглянул внутрь. Управление простое. Он маленький, должен поместиться в кабине — если все удастся. Должно удался. Удастся обязательно.

От гула приближающегося цилиндра дрожал сад. Роби рассмеялся. К черту мистера Грилла! К черту этот Остров!

Он втиснулся в корабль. Предстоит узнать столько

нового, и он узнает все — со временем. Он еще только одной ногой стоит на самом краешке знания, но эти крохи знания уже спасли ему жизнь, а теперь сделают для него даже больше.

Сзади донесся голос. Знакомый голос. Такой знакомый, что его бросило в дрожь. Он услышал, как крушат кустарник детские ножки. Маленькие ноги маленького тела. А тонкий голосок умолял.

Роби взялся за рычаги управления. Бегство. Окончательное, и никто не догадается. Совсем простое. Удивительно красивое. Гриллу никогда не узнать.

Дверца шара захлопнулась. Теперь — в путь.

На летнем небе появилась звезда, и внутри ее был Роби.

Из круглой двери в стене вышел мистер Грилл. Он стал искать Роби. Мистер Грилл быстро шагал по тропинке, и жаркое солнце било ему в лицо.

Да вон же он! Вон он, Роби. На полянке, впереди. Маленький Роби Моррисон смотрел на небо, грозил кулаком, кричал, обращаясь непонятно к кому. Мистер Грилл, во всяком случае, больше никого не видел.

— Здорово, Роби! — окликнул Грилл.

Мальчик вздрогнул и заколыхался — точнее, колыхнулись его плотность, цвет и форма. Грилл поморгал и решил, что виновато солнце.

— Я не Роби! — закричал мальчик. — Роби убежал! Вместо себя он оставил меня, чтобы обмануть вас, чтобы вы за ним не погнались! Он и меня обманул! — вопил и рыдал ребенок. — Не надо, не смотрите на меня, не смотрите! Не думайте, что я Роби, от этого мне только хуже! Вы думали найти здесь его, а нашли меня и превратили в Роби! Сейчас вы окончательно придаете мне его форму, и теперь уже я никогда, *никогда* не стану другим! О боже!

— Ну что ты, Роби...

— Роби никогда больше не вернется. Но я буду им

всегда. Я был женщиной, резиновым мячом, Песочным Человеком. А ведь на самом деле я только скопление подвижных атомов, и ничего больше. Отпустите меня!

Грилл медленно пятился. Его улыбка стала неестественной.

— Я нечто необозначенное! Никаких названий для меня не может быть! — пронзительно кричал ребенок.

— Да-да, конечно. А теперь... теперь, Роби... Роби, ты только подожди здесь... здесь, а я... я... я свяжусь с Психопалатой.

И вот по саду уже бегут многочисленные помощники.

— Будьте вы прокляты! — завизжал, вырываясь, мальчик. — Черт бы вас побрал!

— Ну-ну, Роби, — негромко сказал Грилл, помогая втащить мальчика в цилиндрическую кабину подземки. — Ты употребил слово, которому в действительности ничто не соответствует!

Пневматическая труба всосала кабину.

В летнем небе сверкнула и исчезла звезда.

Космонавт*

Над темными волосами мамы, освещая ей путь, кружил рой электрических светлячков. Она стояла в дверях своей спальни, провожая меня взглядом. В холле царил тишина.

— Ты ведь сможешь мне удержать его дома на этот раз? — спросила она.

— Постараюсь, — ответил я.

— Прошу тебя. — По ее лицу бежали беспокойные блики. — На этот раз мы его не отпустим.

— Ладно, — ответил я, подумав. — Но только ни к чему это, ничего не выйдет.

Она повернулась; светлячки, чертя свои орбиты, летали над ней, подобно блуждающему созвездию, и светили ей во тьме. Я услышал, как она тихо говорит:

— Во всяком случае, попробуем.

Другие светлячки проводили меня в мою комнату. Я лег, в кровати замкнулась цепь, и тотчас светлячки погасли.

Полночь. Мы с матерью, разделенные невесомым мраком, ждем, каждый в своей комнате. Кровать, тихо напевая, стала меня укачивать. Я нажал выключатель; пение и качание прекратились. Я не хотел спать, я совсем не хотел спать.

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Фантастика Рэя Брэдбери: Космонавт. — М.: Знание, 1963. — Пер. изд.: Bradbury R. The Rocket Man: R is for Rocket. Doubleday, N. Y., 1962.

Эта ночь ничем не отличалась от множества других памятных для нас ночей. Сколько раз мы лежали, бодрствуя, и вдруг ощущали, как прохладный воздух становится жарким, как ветер несет огонь, или видели, как стены на миг озаряются ярким сполохом. И мы знали, что в эту секунду над домом проходит его ракета. Его ракета летела над домом, и дубы гнулись от воздушного вихря. Я лежал, широко раскрыв глаза и часто дыша, и слышал мамин голос в радиопhone:

— Ты почувствовал?

И я отвечал:

— Да, да, это он.

Пройдя над нашим городом, маленьким городком, где никогда не садились космические ракеты, корабль моего отца летел дальше, и мы лежали еще два часа, думая: «Сейчас отец садится в Спрингфилде, сейчас он сошел на гудронную дорожку, сейчас подписывает бумаги, сейчас он на вертолете пролетает над рекой, над холмами, сейчас сажает вертолет в нашем маленьком аэропорту Грин-Виллидж...» Вот уже половина ночи прошла, а мы с матерью, каждый в своей неуютной кровати, все слушаем, слушаем. «Сейчас идет по Белл-стрит. Он всегда идет пешком... не берет машину... сейчас проходит парк, угол Оукхерст, и сейчас...»

...Я подвигал голову с подушки. На улице, все ближе и ближе, легкие, торопливые, нетерпеливые шаги. Вот свернули к дому... вверх по ступенькам террасы... И мы оба, мама и я, улыбнулись в прохладном мраке, слыша, как внизу, узнав хозяина, отворяется наружная дверь, что-то негромко говорит, приветствуя, и снова за-творяется.

Три часа спустя я тихонько, затаив дыхание, повернул блестящую ручку их двери, прокрался в безбрежной, как космос между планетами, тьме и протянул руку за маленьким черным ящиком, что стоял у кровати родителей в ногах. Есть! И я бесшумно побежал

к себе, думая: «Он ведь все равно ничего не расскажет, не хочет, чтобы я знал».

И вот из открытого ящика струится черный костюм космонавта — будто черная туманность с редкими застегками далеких звезд. Я мыл в горячих руках темную ткань и вдыхал ароматы планет: Марса — запах железа, Венеры — благоухание зеленого плюща, Меркурия — огонь и сера; я обонял молочную Луну и жесткость звезд. Потом я положил костюм в центрифугу, которую собрал недавно в школьной мастерской, и пустил ее.

Вскоре в реторте осела тонкая пыль. Я поместил ее под окуляр микроскопа.

Родители безмятежно спали, весь дом спал, автоматические пекари, механические слуги и уборщики-роботы погрузились в свой электрический сон, а я смотрел, смотрел на сверкающие крупинки метеорной пыли, кометных хвостов и глины с далекого Юпитера. Они сами были словно далекие миры, и сквозь тубус микроскопа я уходил в полет — миллиарды миль в космосе, фантастические ускорения...

На рассвете, устав путешествовать и боясь, что пропажу обнаружат, я отнес ящичек на место, в спальню родителей. Потом я уснул, но тут же проснулся от гудка машины под окном. Это приехали из химчистки за костюмом. «Хорошо, что я не стал ждать», — подумал я. Ведь через час костюм вернется обезличенный, очищенный от всех следов путешествия.

И я опять уснул, а в кармашке пижамы, как раз над бьющимся сердцем, лежал пузырек с магической пылью.

Когда я спустился, отец сидел за столом — завтракал.

— Как спалось, Дуг? — приветствовал он меня,

будто все время был дома, будто и не уходил на три месяца в космос.

— Хорошо, — ответил я.

— Гренки?

Он нажал кнопку, и стол поджарил мне четыре ломтя хлеба — румяные, золотистые.

Помню, как отец в тот день работал в саду, все копал и копал, словно искал чего-то. Длинные смуглые руки стремительно двигались, сажая, уминая, привязывая, срезая, обрезая, смуглое лицо неизменно было обращено к земле. Глаза отца смотрели на то, чем были заняты руки; он ни разу не взглянул на небо или на меня, даже на маму. Лишь когда мы опускались на колени рядом с ним, чтобы ощутить сквозь ткань комбинезона сырость земли, погрузить пальцы в черный перегной и забыть о буйно-голубом небе, он оглядывался влево и вправо, на маму или на меня, и ласково подмигивал, после чего продолжал работать, глядя в землю, все время в землю, и небо видело только его согнутую спину.

Вечером мы сидели на механических качелях на террасе, они нас качали, и обдували ветром, и пели нам песни. Было лето, луна, был лимонад, мы держали в руках холодные стаканы, и отец читал стереогазету, вмонтированную в специальную шляпу, которая переворачивала микространицы за увеличительным стеклом, если моргнуть три раза. Отец курил сигареты и рассказывал мне, как он был мальчиком в 1997 году. Немного погодя он, как всегда, спросил.

— Ты почему не гуляешь, не гоняешь ногами банки, Дуг?

Я ничего не ответил, но мать сказала:

— Он гуляет, когда тебя нет дома.

Отец посмотрел на меня, потом, впервые за этот день, на небо. Мать всегда наблюдала за ним, когда он смотрел на звезды. Первый день и первый вечер

после возвращения он редко глядел на небо. Я видел его рьяно работающим в саду, лицо будто срослось с землей. На второй день он уже чаще посматривал на звезды. Днем мать не так боялась неба; зато как ей хотелось бы выключить вечерние звезды! Иной раз мне так и казалось, что она мысленно ищет выключатель. Напрасно...

На третий вечер, бывало, мы уже соберемся спать, а отец все еще мешкает на террасе, и я слышал, как мама его зовет — так она меня звала домой с улицы. И отец, вздохнув, включал фотоэлектрический замок. А на следующее утро, за завтраком, я, глянув вниз, обнаруживал у его ног черный ящичек; мама еще спала.

— Ну, Дуг, до свидания, — говорил он, пожимая мне руку.

— Через три месяца?

— Точно.

И он шел по улице, не садился ни в вертолет, ни на такси, ни на автобус, а просто шел пешком, неся летний костюм неприметно, в сумке под мышкой. Он не хотел, чтобы люди говорили, что он зазнался, став космонавтом.

Часом позже мама спускалась завтракать и съедала ровным счетом один ломтик поджаренного хлеба...

Но сегодня было сегодня, первый вечер, и он почти совсем не глядел на звезды.

— Пойдем на телевизионный карнавал, — предложил я.

— Отлично, — сказал отец.

Мама улыбнулась мне.

И мы поспешили на вертолете в город и повели отца мимо бесчисленных экранов, чтобы его голова, его лицо были с нами, чтобы он больше никуда не глядел. Мы смеялись смешному, серьезно смотрели серьезное, и я все думал: «Мой отец летает на Сатурн, на

Нептун, на Плутон, но никогда не приносит мне подарков. Другие мальчики, у которых отцы путешествуют в космосе, показывают товарищам кусочки руды с Каллисто, обломки черных метеоритов, голубой песок. А мне приходится выменивать у них образцы для своей коллекции — песок Меркурия, марсианские камни, которые наполняют мою комнату, но о которых отец никогда не хочет говорить».

Случалось, я помнил, он что-нибудь приносил маме. Раз посадил в нашем дворе подсолнечники с Марса, но через месяц после того, как он ушел в новый полет, когда цветы выросли, мама однажды выбежала во двор и все их срезала.

Мы стояли перед стереоскопическим экраном, и тут я брякнул, не думая, задал отцу вопрос, с которым всегда к нему обращался:

— Скажи, как там, в космосе?

Мама метнула на меня испуганный взгляд. Поздно. Полминуты отец стоял молча, подыскивая ответ.

— Там... это лучше всего самого лучшего в жизни. — Он осекся. — Да нет, ничего особенного. Рутинна. Тебе бы не понравилось. — Он испытующе посмотрел на меня.

— Но ты всякий раз летишь опять.

— Привычка.

— И куда же ты полетишь теперь?

— Еще не решил. Надо подумать.

Он всегда обдумывал. В те дни космонавтов было мало, он мог сам выбирать, как, куда и когда лететь. Вечером третьего дня после его возвращения мы могли видеть, как он выбирает звезду.

— Пошли, — сказала мама, — пора домой.

Было еще не поздно, и дома я попросил отца надеть форму космонавта. Мне не следовало просить, чтобы не огорчать маму, но я ничего не мог с собой поделать. Я продолжал упрашивать отца, хотя он

всегда мне отказывал. Я никогда не видел его в форме. Наконец он сказал:

— Ну ладно.

Мы ждали в гостиной, пока он поднялся наверх по воздушной шахте. Мама печально смотрела на меня, словно не веря, что ее собственный сын может так с ней поступать. Я отвел глаза.

— Прости меня, — сказал я.

— Ты мне ничуть не помогаешь, — произнесла она. — Ничуть.

Мгновение спустя в шахте послышался шорох.

— Вот и я, — тихо сказал отец.

Мы увидели его в форме.

Костюм был черный, с блестящим отливом. Серебряные пуговицы, серебряные лампасы до каблуков черных ботинок. Казалось, он весь — тело, руки, ноги — вырезан из черной туманности, сквозь которую просвечивают неяркие звездочки.

Костюм облегал тело, как перчатка облегает длинную гибкую руку, от него пахло прохладным воздухом, металлом, космосом. От него пахло огнем и временем.

Отец стоял посреди комнаты, смущенно улыбаясь.

— Повернись, — сказала мама.

Ее глаза, обращенные на него, смотрели куда-то далеко-далеко.

Когда отец бывал в космосе, она совершенно о нем не говорила. Вообще ни о чем не говорила, кроме погоды, моей шеи — дескать, не худо бы вымыть — или своей бессонницы. Однажды она пожаловалась, что ночь была слишком светлая.

— Но ведь эту неделю ночи безлунные.

— А звезды? — ответила она.

Я пошел в магазин и купил ей новые жалюзи, темнее, зеленее. Ночью, лежа в кровати, я слышал, как она их опускает, тщательно закрывая окна. Долгий шуршащий звук...

Как-то раз я собрался подстричь газон.

— Не надо. — Мама стояла в дверях. — Убери на место косилку.

Так и росла у нас трава по три месяца без стрижки. Отец подстригал ее, когда возвращался домой.

Она вообще не разрешала мне ничего делать — скажем, чинить машину, которая готовила завтрак, или механического чтеца. Она все копила, как копят к празднику. И потом я видел, как отец стучит и паяет, улыбаясь, а мать счастливо улыбается, глядя на него.

Да, без него она о нем совсем не говорила. В свою очередь отец никогда не пытался связаться с нами, перебросить мост через миллионы километров.

Однажды он сказал мне:

— Твоя мать обращается со мной так, словно меня нет, словно я невидимка.

Я сам это заметил. Она глядела мимо него, на его руки, щеки, только не в глаза. А если смотрела в глаза, то будто сквозь пленку, как зверь, который засыпает. Она говорила «да» там, где надо, улыбалась — все с опозданием на полсекунды.

— Слово я для нее не существую, — сказал отец.

А на следующий день она опять была с нами, и он для нее существовал, они брались за руки и шли гулять вокруг квартала или отправлялись на верховую прогулку, и мамины волосы развевались, как у девочки; она выключала все механизмы на кухне и сама пекла ему удивительные пирожные, торты и печенья, жадно смотрела ему в глаза, улыбалась своей настоящей улыбкой. А к концу такого дня, когда он для нее существовал, она непременно плакала. И отец стоял, растерянно глядя вокруг, точно в поисках ответа, но нигде его не находил.

...Отец медленно повернулся, показывая костюм.

— Повернись еще, — сказала мама.

На следующее утро отец примчался домой с целой кучей билетов. Розовые билеты на Калифорнийскую ракету, голубые на Мексиканскую авиалинию.

— Живей! — воскликнул он. — Купим дорожную одежду, потом ее сожжем. Вот — в полдень вылетаем в Лос-Анджелес, в два часа — вертолетом до Санта-Барбары, в девять — самолетом до Эйсенады и там заночуем!

И мы отправились в Калифорнию. Полтора дня путешествовали по Тихоокеанскому побережью, пока не осели на песчаном пляже Малибу. Отец все время прислушивался, или пел, или жадно рассматривал все вокруг, цепляясь за впечатления, словно мир был большой центрифугой, которая вращалась так быстро, что его в любой момент могло от нас оторвать.

В наш последний день в Малибу мама осталась в гостинице. Отец долго лежал рядом на песке, под жарким солнцем.

— Ух, — вздохнул он, — благодать...

Прикрыв глаза, он лежал на спине и пил солнце.

— Вот чего недостает, — сказал он.

Он, конечно, хотел сказать «на ракете». Но отец избегал упоминать свою ракету и не любил говорить обо всем том, чего на ракете нет. Откуда на ракете соленый ветер? Или голубое небо? Или ласковое солнце? Или мамин домашний обед? И разве на ракете поговоришь со своим четырнадцатилетним сыном?

— Что ж, потолкуем, — произнес он наконец.

И я знал, что теперь мы с ним будем говорить, говорить — три часа подряд, как это было у нас заведено. До самого вечера мы будем, нежась на солнце, вполголоса болтать о моем учении, как высоко я могу прыгнуть, быстро ли плаваю.

Отец кивал, слушая меня, улыбался, одобрительно трепал по щеке. Мы говорили. Не о ракете и не о космосе — мы говорили о Мексике, где однажды путе-

шествовали на старинном автомобиле, о бабочках во влажных лесах зеленой, теплой Мексики: дело было в полдень, сотни бабочек облепляли наш радиатор и тут же погибали, махая голубыми и розовыми крылышками, трепеща в судорогах — красивое и грустное зрелище. Мы говорили обо всем, только не о том, о чем бы мне хотелось. И отец слушал меня. Он слушал так, словно жаждал насытиться звуками, которые ловил его слух. Он слушал ветер, дыхание океана и мой голос чутко, сосредоточенно, с напряженным вниманием, которое как бы отсеивало физические тела и оставляло только звуки. Он закрывал глаза, чтобы лучше слышать. И я вспоминал, как он слушает стрекот машины, когда сам подстригает газон, вместо того чтобы включить программное управление, видел, как он вдыхает запах скошенной травы, когда она брызжет на него зеленым фонтаном.

— Дуг, — сказал он часов около пяти, мы только что подобрали полотенца и пошли вдоль прибоа к гостинице, — обещаю тебе одну вещь.

— Что?

— Никогда не будь космонавтом.

Я остановился.

— Я серьезно, — продолжал он. — Потому что там тебя всегда будет тянуть сюда, а здесь — туда. Так что лучше и не начинать. Чтобы тебя не захватило.

— Но...

— Ты не знаешь, что это такое. Всякий раз, когда я там, я говорю себе: «Если только вернусь на Землю — останусь насовсем, никогда больше не полечу!» И все-таки лечу опять, и, наверно, всегда будет так.

— Я давно хочу стать космонавтом, — сказал я.

Он не слышал моих слов.

— Я пытаюсь заставить себя остаться. Когда я в субботу пришел домой, то твердо решил: сделаю все, чтобы заставить себя остаться.

Я вспомнил, как он, обливаясь потом, трудился в саду, как мы летели и он постоянно был чем-то увлечен, к чему-то прислушивался. Ну конечно, все это делалось, чтобы убедить себя, что море, города, земля, родная семья — вот единственно реальное и стоящее в жизни. И я знал, что отец будет делать сегодня ночью: стоя на террасе, он будет смотреть на алмазную россыпь Ориона.

— Обещай, что не станешь таким, как я, — попросил он.

Я помедлил.

— Хорошо, — ответил я.

Он пожал мне руку.

— Умница, — сказал он.

Обед был чудесный. Мама, как только мы вернулись домой, отправилась на кухню и занялась готовкой, возилась с тестом и корицей, гремела кастрюлями и противнями. И вот на столе красуется огромная индейка с приправами — брусничный соус, горошек, пирог с тыквой.

— Разве сегодня праздник? — удивился отец.

— В День Благодарения тебя не будет дома.

— Вот как.

Он вдыхал аромат. Он поднимал крышки с блюд и наклонялся так, чтобы благоуханный пар гладил его загорелое лицо. И каждый раз говорил: «А-ах...» Потом он посмотрел на комнату, на свои руки. Обвел взглядом картины на стенах, стулья, стол, меня, маму. Наконец прокашлялся; я понял, что он решился.

— Лилли!

— Да? — мама смотрела на него через стол, который в ее руках превратился в чудесный серебряный кашкан, волшебный омут из подливки, в котором — она надеялась — ее муж, подобно доисторическому зве-

рю в асфальтовом пруду, прочно увязнет и останется навсегда, надежно огражденный птичьими косточками. В ее глазах играли искорки.

— Лилли, — сказал отец.

«Ну, ну, — нетерпеливо думал я, — говори же скорее, скажи, что ты на этот раз останешься дома навсегда и никогда больше не улетишь, скажи!»

В этот самый миг тишину разорвал пронзительный стрекот пролетающего вертолета, и стекло в окне отозвалось хрустальным звоном. Отец глянул в окно.

Вот они, голубые вечерние звезды, и красный Марс поднимается на востоке.

Целую минуту отец смотрел на Марс. Потом, не глядя, протянул руку в мою сторону.

— Можно мне горошка? — попросил он.

— Простите, — сказала мать, — я совсем забыла хлеб. — И она выбежала на кухню.

— Хлеб на столе! — крикнул я ей вслед.

Отец начал есть, стараясь не глядеть на меня.

В ту ночь я не мог уснуть. Вскоре после полуночи я спустился вниз. Лунный свет будто покрыл все крыши ледяной коркой, сверкающая роса превратила газон в снежное поле. В одной пижаме я стоял на пороге, овеваемый теплым ночным ветром. Вдруг я заметил, что отец здесь, на террасе. Он сидел на механических качелях и медленно качался. Я видел темный профиль, обращенный к небу: он следил за движением звезд. Его глаза были подобны дымчатым кристаллам, в каждом отражалось по луне.

Я вышел и сел рядом. Мы качались вместе.

Наконец я спросил:

— А в космосе есть смертельные опасности?

— Миллион.

— Назови какие-нибудь.

— Столкновение с метеором, из ракеты выходит весь воздух. Или тебя захватит кометой. Ушиб. Удушье. Взрыв. Центробежные силы. Чрезмерное ускорение. Недостаточное ускорение. Жара, холод. Солнце, Луна, звезды, планеты, астероиды, планетоиды, радиация...

— Погибших сжигают?

— Поди найди их.

— А куда же девается человек?

— Улетает за миллиарды миль. Такие ракеты называют блуждающими гробами. Ты становишься метеором или планетоидом, который вечно блуждает в космосе.

Я промолчал.

— Зато, — сказал он погоды, — в космосе смерть быстрая. Раз — и нету. Никаких страданий. Чаще всего человек вообще ничего не замечает.

Мы пошли спать.

Настало утро.

Стоя в дверях, отец слушал, как в золотой клетке поет желтая канарейка.

— Итак, решено, — сказал он. — Следующий раз, как вернусь, — уж навсегда, больше никуда не полечу.

— Отец! — воскликнул я.

— Скажи об этом маме, когда она встанет.

— Ты серьезно?

Он кивнул.

— До свидания, через три месяца.

И он зашагал по улице, неприметно неся черную форму под мышкой, насвистывая, поглядывая на высокие зеленые деревья. На ходу сорвал ягоды с куста боярышника и подкинул их высоко в воздух, уходя в прозрачные утренние тени...

Несколько часов спустя я завел разговор с мамой, мне хотелось кое-что выяснить.

— Отец говорит, ты иногда ведешь себя так, словно не видишь и не слышишь его, — сказал я.

Она все мне объяснила:

— Десять лет назад, когда он впервые улетел в космос, я сказала себе: «Он мертв. Или все равно что мертв. Думай о нем как о мертвом». И когда он три или четыре раза в год возвращается домой, то это и не он вовсе, а просто приятное воспоминание или сон. Если воспоминание или сон прекратятся, это совсем не так больно. Поэтому большую часть времени я думаю о нем как о мертвом...

— Но ведь бывает...

— Бывает, что я ничего не могу с собой поделать. Я пеку пироги и обращаюсь с ним, как с живым, и мне больно. Нет, лучше считать, что он ушел десять лет назад и я никогда его не увижу. Тогда не так больно.

— Он разве тебе не сказал, что в следующий раз останется навсегда?

Она медленно покачала головой.

— Нет, он умер. Я в этом уверена.

— Он вернется живой, — сказал я.

— Десять лет назад, — продолжала мать, — я думала: что, если он погибнет на Венере? Тогда мы больше не сможем смотреть на Венеру. А если на Марсе? Мы не сможем видеть Марс. Только он вспыхнет в небе красной звездой, как нам тотчас захочется уйти в дом и закрыть дверь. А если он погибнет на Юпитере, на Сатурне, Нептуне? В те ночи, когда выходят эти планеты, мы будем ненавидеть звездное небо.

— Еще бы, — сказал я.

Сообщение пришло на следующий день.

Посыльный вручил его мне, и я прочел его, стоя на террасе. Солнце садилось. Мать стояла в дверях и смотрела, как я складываю листок и прячу его в карман.

— Мам, — заговорил я.

— Не говори мне того, что я и без тебя знаю, — сказала она.

Она не плакала.

Нет, его убил не Марс и не Венера, не Юпитер и не Сатурн. Нам не надо было бояться, что мы будем вспоминать о нем всякий раз, когда в вечернем небе загорится Юпитер, или Сатурн, или Марс.

Дело обстояло иначе. Его корабль упал на Солнце.

Солнце — огромное, пламенное, беспощадное, которое каждый день светит с неба и от которого никуда не уйдешь.

После смерти отца мать долго спала днем и до вечера не выходила. Мы завтракали в полночь, ели ленч в три часа ночи, обедали в шесть утра, когда царил холодный сумрак. Мы уходили в театр на всю ночь и ложились спать на рассвете.

Потом мы еще долго выходили гулять только в дождливые дни, когда не было солнца.

Апрельское колдовство*

Высоко-высоко, выше гор, ниже звезд, над рекой, над прудом, над дорогой летела Сеси. Невидимая, как юные весенние ветры, свежая, как дыхание клевера на сумеречных лугах... Она парила в горlinkах, мягких, как белый горноста́й, отдыхала в деревьях и жила в цветах, улета́я с лепестками от самого легкого дуновения. Она сидела в прохладной, как мята, лимонно-зеленой лягушке рядом с блестящей лужей. Она бежала в косматом псе и громко лаяла, чтобы услышать, как между амбарами вдалеке мечется эхо. Она жила в нежной апрельской травке, в чистой, как слеза, влаге, которая испарялась из пахнущей мускусом почвы.

«Весна... — думала Сеси. — Сегодня ночью я бываю во всем, что живет на свете».

Она вселялась в франтоватых кузнечиков на пятнистом гудроне шоссе, купалась в капле росы на железной ограде. В этот неповторимый вечер ей исполнилось ровно семнадцать лет, и душа ее, поминутно преобразаясь, летела, незримая, на ветрах Иллинойса.

— Хочу влюбиться, — произнесла она.

Она еще за ужином сказала то же самое. Родители переглянулись и приняли чопорный вид.

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Апрельское колдовство: Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1971. — (Библиотечка сов. фантастики, т. 21). — Пер. изд.: Bradbury R. The April Witch: The Golden Apples of the Sun. Doubleday, N. Y., 1956.

— Терпение, — посоветовали они. — Не забудь, ты не как все. Наша семья вся особенная, необычная. Нам нельзя общаться с обыкновенными людьми, тем более вступать в брак. Не то мы лишимся своей магической силы. Ну скажи, разве ты захочешь утратить дар волшебных путешествий? То-то... Так что будь осторожна. Будь осторожна!

Но в своей спальне наверху Сеси чуть-чуть надушила шею и легла, трепещущая, взволнованная, на кровать с пологом, а над полями Иллинойса всплыла молочная луна, превращая реки в сметану, дороги — в платину.

— Да, — вздохнула она, — я из необычной семьи. День мы спим, ночью летаем по ветру, как черные бумажные змеи. Захотим — можем всю зиму проспать в кротах, в теплой земле. Я могу жить в чем угодно — в камушке, в крокусе, в богомоле. Могу оставить здесь свою невзрачную оболочку из плоти и послать душу далеко-далеко в полет, на поиски приключений. Лечу!

И ветер понес ее над полями, над лугами.

И коттеджи внизу лучились ласковым весенним светом, и тускло рдели окна ферм.

«Если я такое странное и невзрачное создание, что сама не могу надеяться на любовь, влюблюсь через кого-нибудь другого», — подумала она.

Возле фермы, в весеннем сумраке, темноволосая девушка лет девятнадцати, не больше, доставала воду из глубокого каменного колодца. Она пела.

Зеленым листком Сеси упала в колодец. Легла на нежный мох и посмотрела вверх, сквозь темную прохладу. Миг — и она в невидимой суетливой амебе, миг — и она в капле воды! И уже чувствует, как холодная кружка несет ее к горячим губам девушки. В ночном воздухе мягко отдались глотки.

Сеси поглядела вокруг глазами этой девушки.

Проникла в темноволосую голову и ее блестящими

глазами посмотрела на руки, которые тянули шершавую веревку. Розовыми раковинами ее ушей вслушалась в окружающий девушку мир. Ее тонкими ноздрями уловила запах незнакомой среды. Ощутила, как ровно, как сильно бьется юное сердце. Ощутила, как вздрагивает в песне чужая гортань.

«Знает ли она, что я здесь?» — подумала Сеси.

Девушка ахнула и уставилась на черный луг.

— Кто там?

Никакого ответа.

— Это всего-навсего ветер, — прошептала Сеси.

— Всего-навсего ветер. — Девушка тихо рассмеялась, но ей было жутко.

Какое чудесное тело было у этой девушки! Нежная плоть облекала, скрывая, остов из лучшей, тончайшей кости. Мозг был словно цветущая во мраке светлая чайная роза, рот благоухал, как легкое вино. Под упругими губами — белые-белые зубы, брови красиво изогнуты, волосы ласково, мягко гладят молочно-белую шею. Поры были маленькие, плотно закрытые. Нос задорно смотрел вверх, на луну, щеки пылали, будто два маленьких очага. Чутко пружиня, тело переходило от одного движения к другому и все время как будто что-то напевало про себя. Быть в этом теле, в этой голове — все равно что греться в пламени камня, поселиться в мурлыканье спящей кошки, плескаться в теплой воде ручья, стремящегося через ночь к морю.

«А мне здесь славно», — подумала Сеси.

— Что? — спросила девушка, словно услышала голос.

— Как тебя звать? — осторожно спросила Сеси.

— Энн Лири. — Девушка встрепелась. — Зачем я это вслух сказала?

— Энн, Энн, — прошептала Сеси. — Энн, ты влюбишься.

Как бы в ответ на ее слова с дороги донесся громкий топот копыт и хруст колес по щебию. Появилась повозка, на ней сидел рослый парень, его могучие ручки крепко держали натянутые вожжи, и его улыбка осветила весь двор.

— Эни!

— Это ты, Том?

— Кто же еще? — Он соскочил на землю и привязал вожжи к изгороди.

— Я с тобой не разговариваю! — Эни отвернулась так резко, что ведро плеснуло водой.

— Нет! — воскликнула Сеси.

Эни опешила. Она взглянула на холмы и на первые весенние звезды. Она взглянула на мужчину, которого звали Томом. Сеси заставила ее уронить ведро.

— Смотри, что ты натворил!

Том подбежал к ней.

— Смотри, это все из-за тебя!

Смеясь, он вытер ее туфли носовым платком.

— Отойди!

Она ногой оттолкнула его руки, но он только продолжал смеяться, и, глядя на него из своего далекого далека, Сеси видела его голову — крупную, лоб — высокий, нос — орлиный, глаза — блестящие, плечи — широкие и налитые силой руки, которые бережно гладили туфли платком. Глядя вниз из потаенного чердака красивой головки, Сеси потянула скрытую проволочку чревоушания, и милый ротик тотчас открылся:

— Спасибо!

— Вот как, ты умеешь быть вежливой?

Запах сбруи от его рук, запах конюшни, пропитавший его одежду, коснулся чутких ноздрей, и тело Сеси, лежащее в постели далеко-далеко за темными полями и цветущими лугами, беспокойно зашевелилось, словно она что-то увидела во сне.

— Только не с тобой! — ответила Энн.

— Т-с, говори ласково, — сказала Сеси, и пальцы Энн сами потянулись к голове Тома.

Энн отдернула руку.

— Я с ума сошла!

— Верно. — Он кивнул, улыбаясь, слегка озадаченный. — Ты хотела потрогать меня?

— Не знаю. Уходи, уходи! — Ее щеки пылали, словно розовые угли.

— Почему ты не убегаешь? Я тебя не держу. — Том выпрямился. — Ты передумала? Пойдешь сегодня со мной на танцы? Это очень важно. Я потом скажу почему.

— Нет, — ответила Энн.

— Да! — воскликнула Сеси. — Я еще никогда не танцевала. Хочу танцевать. Я еще никогда не носила длинного шуршащего платья. Хочу платье. Хочу танцевать всю ночь. Я еще никогда не была в танцующей женщине, папа и мама ни разу мне не позволяли. Собаки, кошки, кузнечики, листья — я во всем свете побывала в разное время, но никогда не была женщиной в весенний вечер, в такой вечер, как этот... О, прошу тебя, пойдем на танцы!

Мысль ее напряглась, словно расправились пальцы в новой перчатке.

— Хорошо, — сказала Энн Лири. — Я пойду с тобой на танцы, Том.

— А теперь — в дом, живо! — воскликнула Сеси. — Тебе еще надо умыться, сказать родителям, достать платье, утюг в руки, за дело!

— Мама, — сказала Энн, — я передумала.

Повозка мчалась по дороге, комнаты фермы вдруг ожили, кипела вода для купания, плита раскаляла утюг для платья, мать металась из угла в угол, и рот ее оцетинился шпильками.

— Что это на тебя вдруг нашло, Энн? Тебе ведь не нравится Том!

— Верно. — И Энн в разгар приготовлений вдруг застыла на месте.

«Но ведь весна!» — подумала Сеси.

— Сейчас весна, — сказала Энн.

«И такой чудесный вечер для танцев», — подумала Сеси.

— ...для танцев, — пробормотала Энн Лири.

И вот она уже сидит в корыте, и пузырчатое мыло пенится на ее белых покатых плечах, лепит под мышками гнездышки, теплая грудь скользит в ладонях, и Сеси заставляет губы шевелиться. Она терла тут, мыла там, а теперь — встать! Вытереться полотенцем! Духи! Пудра!

— Эй, ты! — Энн окликнула свое отражение в зеркале: белое и розовое, словно лилии и гвоздики. — Кто ты сегодня вечером?

— Семнадцатилетняя девушка. — Сеси выглянула из ее фиалковых глаз. — Ты меня не видишь. А ты знаешь, что я здесь?

Энн Лири покачала головой.

— Не иначе в меня вселилась апрельская ведьма.

— Горячо, горячо! — рассмеялась Сеси. — А теперь олевать.

Ах, как сладостно, когда красивая одежда облекает пышущее жизнью тело! И снаружи уже зовут...

— Энн, Том здесь!

— Скажите ему, пусть подождет. — Энн вдруг села. — Скажите, что я не пойду на танцы.

— Что такое? — сказала мать, стоя на пороге.

Сеси мигом заняла свое место. На какое-то роковое мгновение она отвлеклась, покинула тело Энн. Услышала далекий топот копыт, скрип колес на лупной дороге и вдруг подумала: «Полечу, пайду Тома, проникну в его голову, посмотрю, что чувствует в такую ночь

нарень двадцати двух лет». И она пустилась в полет над вересковым лугом, но тотчас вернулась, будто птица в родную клетку, и заметалась, забилась в голове Энн Лири.

— Энн!

— Пусть уходит!

— Энн! — Сеси устроилась поудобнее и напрягла свои мысли.

Но Энн закусила удила.

— Нет, нет, я его ненавижу!

Нельзя было ни на миг оставлять ее. Сеси подчинила себе руки девушки... сердце... голову... исподволь, осторожно: «Встань!» — подумала она,

Энн встала.

«Надень пальто!»

Энн надела пальто.

«Теперь иди!»

«Нет!» — подумала Энн Лири.

«Ступай!»

— Энн, — заговорила мать, — не заставляй больше Тома ждать. Сейчас же иди, и никаких фокусов. Что это на тебя нашло?

— Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно.

Энн и Сеси вместе выбежали в весенний вечер.

Комната, полная плавно танцующих голубей, которые мягко распускают оборки величавых, пышных перьев, комната, полная павлинов, полная радужных пятен и бликов. И посреди всего этого кружится, кружится, кружится в танце Энн Лири...

— Какой сегодня чудесный вечер! — сказала Сеси.

— Какой чудесный вечер! — произнесла Энн.

— Ты какая-то странная, — сказал Том.

Вихревая музыка окутала их мглой, закружила в струях песни; они плыли, качались, тонули и вновь

всплывали за глотком воздуха, цепляясь друг за друга, словно утопающие, и опять кружились, кружились в вихре, в шепоте, вдохах, под звуки «Прекрасного Огайо».

Сеси напевала. Губы Энн разомкнулись, и зазвучала мелодия.

— Да, я странная, — ответила Сеси.

— Ты на себя не похожа, — сказал Том.

— Сегодня да.

— Ты не та Энн Лири, которую я знал.

— Совсем, совсем не та, — прошептала Сеси за много-много миль оттуда.

— Совсем не та, — послушно повторили губы Энн.

— У меня какое-то нелепое чувство, — сказал Том.

— Насчет чего?

— Насчет тебя. — Он чуть отодвинулся и, кружа ее, пристально, пытливо посмотрел на разбуренившееся лицо. — Твои глаза, — произнес он, — не возьму в толк.

— Ты видишь меня? — спросила Сеси.

— Ты вроде бы здесь и вроде бы где-то далеко отсюда. — Том осторожно ее кружил, лицо у него было озабоченное.

— Да.

— Почему ты пошла со мной?

— Я не хотела, — ответила Энн.

— Так почему же?..

— Что-то меня заставило.

— Что?

— Не знаю, — в голосе Энн зазвенели слезы.

— Спокойно, тише... тише... — шепнула Сеси. — Вот так. Кружись, кружись.

Они шуршали и шелестели, взлетали и опускались в темной комнате, и музыка вела и кружила их.

— И все-таки ты пошла на танцы, — сказал Том.

— Пошла, — ответила Сеси.

— Хватит. — И он легко увлек ее в танце к двери, на волю, неприметно увел ее прочь от зала, от музыки и людей.

Они забрались в повозку и сели рядом.

— Энн, — сказал он и взял ее руки дрожащими руками, — Энн.

Но он произносил ее имя так, словно это было вовсе не ее имя. Он пристально смотрел на бледное лицо Энн, теперь ее глаза были открыты.

— Энн, было время, я любил тебя, ты это знаешь, — сказал он.

— Знаю.

— Но ты всегда была так переменчива, а мне не хотелось страдать понапрасну.

— Ничего страшного, мы еще так молоды, — ответила Энн.

— Нет, нет, я хотела сказать: прости меня, — сказала Сеси.

— За что простить? — Том отпустил ее руки и насторожился.

Ночь была теплая, и отовсюду их обдавало трепетное дыхание земли, и зазеленевшие деревья тихо дышали шуршащими, шелестящими листьями.

— Не знаю, — ответила Энн.

— Нет, знаю, — сказала Сеси. — Ты высокий, ты самый красивый парень на свете. Сегодня чудесный вечер, я на всю жизнь запомню, как я провела его с тобой.

И она протянула холодную чужую руку за его сопротивляющейся рукой, взяла ее, стиснула, согрела.

— Что с тобой сегодня, — сказал, недоумевая Том. — То одно говоришь, то другое. Сама на себя не похожа. Я тебя по старой памяти решил на танцы позвать. Поначалу спросил просто так. А когда мы стояли с тобой у колодца, вдруг почувствовал: ты как-то переменилась, сильно переменилась. Стала другая.

Появилось что-то новое... мягкость какая-то... — он подыскивал слова. — Не знаю, не умею сказать. И смотрела не так. И голос не тот. И я знаю: я опять в тебя влюблен.

«Не в нее, — сказала Сеси, — в меня!»

— А я боюсь тебя любить, — продолжал он. — Ты опять станешь меня мучить.

— Может быть, — ответила Энн.

«Нет, нет, я всем сердцем буду тебя любить! — подумала Сеси. — Энн, скажи ему это, скажи за меня. Скажи, что ты его всем сердцем полюбишь».

Энн ничего не сказала.

Том тихо придвинулся к ней, ласково взял ее за подбородок:

— Я уезжаю. Нанялся на работу, сто миль отсюда. Ты будешь обо мне скучать?

— Да, — сказали Энн и Сеси.

— Так можно поцеловать тебя на прощанье?

— Да, — сказала Сеси, прежде чем кто-либо другой успел ответить.

Он прижался губами к чужому рту. Дрожа, он поцеловал чужие губы.

Энн сидела будто белое изваяние.

— Энн! — воскликнула Сеси. — Подними руки, обними его!

Она сидела в лунном сиянии, будто деревянная кукла.

Он снова поцеловал ее в губы.

— Я люблю тебя, — шептала Сеси. — Я здесь, это меня ты увидел в ее глазах, меня, а я тебя люблю, хоть бы она тебя никогда не полюбила.

Он отодвинулся и сидел рядом с Энн такой измученный, будто перед тем пробежал невесть сколько.

— Не понимаю, что это делается?.. Только сейчас...

— Да? — спросила Сеси.

— Сейчас мне показалось... — Он протер руками глаза. — Неважно. Отвезти тебя домой?

— Пожалуйста, — сказала Эни Лири.

Он почмокал лошади, вяло дернул вожжи, и повозка тронулась. Шуршали колеса, шлепали ремни, катилась серебристая повозка, а кругом ранняя весенняя ночь — всего одиннадцать часов, — и мимо скользят мерцающие поля и луга, благоухающие клевером.

И Сеси, глядя на поля, на луга, думала: «Все можно отдать, ничего не жалко, чтобы быть с ним вместе, с этой почой и навсегда». И она услышала издали голоса своих родителей: «Будь осторожна. Неужели ты хочешь потерять свою магическую силу? А ты ее потеряешь, если выйдешь замуж за простого смертного. Берегись. Ведь ты этого не хочешь?»

«Да, хочу, — подумала Сеси. — Я даже этим готова поступиться хоть сейчас, если только я ему нужна. И не надо больше метаться по свету весенними вечерами, не надо вселяться в птиц, собак, кошек, лис — мне нужно одно: быть с ним. Только с ним. Только с ним».

Дорога под ними, шурша, бежала назад.

— Том, — заговорила наконец Эни.

— Да? — Он угрюмо смотрел на дорогу, на лошадь, на деревья, небо и звезды.

— Если ты когда-нибудь, в будущем, попадешь в Гринтаун в Иллинойсе — это несколько миль отсюда, — можешь ты сделать мне одолжение?

— Возможно.

— Можешь ты там зайти к моей подруге? — Эни Лири сказала это запинаясь, неуверенно.

— Зачем?

— Это моя хорошая подруга... Я рассказывала ей про тебя. Я тебе дам адрес. Минутку.

Повозка остановилась возле дома Эни, она достала из сумочки карандаш и бумагу и, положив листок на колено, стала писать при свете луны.

— Вот. Разберешь?

Он поглядел на листок и озадаченно кивнул.

«Сеси Элнот. Тополевая улица, 12, Гринтаун, Иллинойс», — прочел он.

— Зайдешь к ней как-нибудь? — спросила Энн.

— Как-нибудь, — ответил он.

— Обещаешь?

— Какое отношение это имеет к нам? — сердито крикнул он. — На что мне бумажки, имена?

Он скомкал листок и сунул бумажный шарик в карман.

— Пожалуйста, обещай! — взмолилась Сеси.

— ...обещай... — сказала Энн.

— Ладно, ладно, только не приставай! — крикнул он.

«Я устала, — подумала Сеси. — Не могу больше. Пора домой. Силы кончаются. У меня всего на несколько часов сил хватает, когда я ночью вот так странствую... Но на прощание...»

— ...на прощание, — сказала Энн.

Она поцеловала Тома в губы.

— Это я тебя целую, — сказала Сеси.

Том отодвинул от себя Энн Лири и поглядел на нее, заглянул ей в самую душу. Он ничего не сказал, но лицо его медленно, очень медленно разгладилось, морщины исчезли, каменные губы смягчились, и он еще раз пристально всмотрелся в озаренное луной лицо, белеющее перед ним.

Потом помог ей сойти с повозки и быстро, даже не сказав «спокойной ночи», покатыл прочь.

Сеси отпустила Энн.

Энн Лири вскрикнула, точно вырвалась из плена, побежала по светлой дорожке к дому и захлопнула за собой дверь.

Сеси чуть помешкала. Глазами сверчка она посмотрела на ночной весенний мир. Одну минуту, не

большие, глядя глазами лягушки, посидела в одиночестве возле пруда. Глазами ночной птицы глянула вниз с высокого, купающегося в лунном свете вяза и увидела, как гаснет свет в двух домиках — ближнем и другом, в миле оттуда. Она думала о себе, о всех своих, о своем редком даре, о том, что ни одна девушка в их роду не может выйти замуж за человека, живущего в этом большом мире за холмами.

«Том. — Ее душа, теряя силы, летела в ночной птице под деревьями, над темными полями дикой горчицы. — Том, ты сохранил листок? Зайдешь когда-нибудь, как-нибудь при случае навестить меня? Узнаешь меня? Вглядишься в мое лицо и вспомнишь, где меня видел, почувствуешь, что любишь меня, как я люблю тебя — всем сердцем и навсегда?»

Она остановилась, а кругом — прохладный ночной воздух, и миллионы миль до городов и людей, и далеко-далеко внизу фермы и поля, реки и холмы.

Тихонько: «Том?»

Том спал. Была уже глубокая ночь; его одежда аккуратно висела на стульях, на спинке кровати. А возле его головы на белой подушке ладонью кверху удобно покоилась рука, и на ладони лежал клочок бумаги с буквами. Медленно-медленно пальцы согнулись и крепко его сжали. И Том даже не шелохнулся, даже не заметил, когда черный дрозд на миг тихо и мягко прильнул к переливающемуся лунными бликами окну, бесшумно вспорхнул, замер — и полетел прочь, на восток, над спящей землей.

Земляне*

В дверь упорно продолжали стучать.

Миссис Ттт рывком открыла.

— Что вам?

— Вы говорите по-английски!

Человек, стоявший на пороге, не мог скрыть своего удивления.

— Говорю, как могу, — ответила женщина.

— Да ведь это настоящий английский!

Человек был в комбинезоне. За ним стояли еще трое, запыхавшиеся, грязные, улыбающиеся.

— Что вам нужно? — снова потребовала миссис Ттт.

— Вы — марсианка? — человек широко улыбался. — Хотя, что я, откуда вам знать это слово. Так говорят у нас, на Земле. — Он кивком указал на своих товарищей. — Мы с Земли. Позвольте представиться — капитан Уильямс. Час назад мы посадили ракету на Марсе. Мы — это Вторая экспедиция. Была еще Первая, но о ней ничего не известно. Что бы ни было, но мы здесь. А вы первая марсианка, которую мы встретили.

— Марсианка? — брови женщины удивленно взлетели вверх.

* Пер. изд.: Bradbury R. The Earthmen: The Martian Chronicles. Doubleday, N. Y., 1950.

© Перевод на русский язык, «Мир», 1983.

— Я хочу сказать, вы живете на четвертой от Солица планете. Ведь так?

— Без вас знаю, — огрызнулась она, окидывая их взглядом.

— А мы, — капитан прижал к груди короткопалую розовую руку, — мы с Земли. Верно, ребята?

— Верно, — хором откликнулись те.

— Это планета Тирр, — сказала женщина, — если уж вас интересует, как она на самом деле называется.

— Тирр, Тирр. — Капитан неуверенно засмеялся. — Отличное название. Но скажите, милая, где вы научились так хорошо говорить по-английски?

— Я не говорю, я думаю, — ответила женщина. — Телепатия. До свидания.

И она захлопнула дверь.

Не прошло и минуты, как этот ужасный тип снова колотил в нее.

Миссис Ттт открыла:

— Что еще?

Человек стоял на том же месте. Он все еще улыбался, но вид у него был явно обескураженный. Он протянул к ней руки.

— Мне кажется, вы не поняли...

— Чего не поняла? — раздраженно сказала женщина.

Он оторопел.

— Мы с Земли, понимаете?

— Мне не до вас. Дел по горло — надо стряпать, убирать, шить. Если вы к мистеру Ттт, он наверху, в своем кабинете.

— Хорошо, — неуверенно произнес человек с Земли. — Позвольте тогда поговорить с мистером Ттт.

— Он занят.

Женщина в сердцах хлопнула дверью.

На сей раз в дверь стучали непозволительно громко.

— Послушайте! — воскликнул землянин, и, как

только женщина снова открыла дверь, буквально перепрыгнул через порог, словно боялся дать ей опомниться. — Разве так принимают гостей?

— О, мой чистый пол! — взвизгнула женщина. — В грязных башмаках! Ступайте вон отсюда! Потрудились бы ноги вытереть.

Человек в растерянности посмотрел на свои грязные ботинки.

— Какие пустяки, — наконец промолвил он. — Разве сейчас до этого. Прежде всего нам надо отпраздновать...

Он посмотрел на женщину таким долгим взглядом, будто не сомневался, что теперь-то она все поймет.

— Если в духовке подгорят хрустальные булочки, я не знаю, что с вами сделаю. Огрею поленом, вот что! — И она метнулась в кухню, к раскаленной маленькой плите.

Когда она вернулась, лицо ее было красным и лоснилось от пота. Глаза у женщины были пронзительно желтые, кожа матово-смуглой, а сама она, тоненькая и юркая, напоминала насекомое. Голос резкий, металлически звонкий.

— Подождите здесь. Я посмотрю, сможет ли мистер Ттт уделить вам минутку. Какое, вы сказали, у вас к нему дело?

Человек чертыхнулся так, словно его ударили молотком по пальцу.

— Скажите ему, что мы прилетели с Земли! Что такого еще не бывало!..

— Чего не бывало? Хорошо, хорошо, — она успокаивающе подняла смуглую руку. — Я сейчас вернусь.

Звук ее быстрых, drobных шагов отозвался эхом в глубине каменного дома.

За окном безбрежно синело знойное марсианское небо, неподвижное, как глубокие воды тропического моря. Марсианская пустыня папоминала доисторичес-

кий грязевый вулкан, в котором что-то вспухало и булькало. Над пустыней дрожал и переливался раскаленный воздух. Невдалеке на пригорке лежала, опустив хвост, ракета, и цепочка четких следов вела от нее к дверям каменного дома.

Наверху слышался шум спорящих голосов. Стоявшие внизу переглянулись. Томясь ожиданием, они переминались с ноги на ногу, не знали, куда девать руки, и то и дело поправляли пояса комбинезонов. Наверху мужской голос что-то крикнул, ему ответил женский голос. Прошло пятнадцать минут. Космонавты то заходили в кухню, то снова возвращались в прихожую.

— Сигареты есть? — спросил один из них.

Кто-то достал пачку, и они закурили, медленно пуская в воздух струйки белесого дыма. Они снова одернули комбинезоны, поправили воротнички. Сверху по-прежнему доносились голоса: то глухой, бубнящий, то звонкий.

Командир посмотрел на часы:

— Двадцать пять минут. Интересно, о чем это они там?

Он подошел к окну и выглянул.

— Жара-то какая, — сказал кто-то из космонавтов.

— Угу, — лениво подтвердил другой разморенным от духоты голосом.

Беседа наверху перешла в однообразное бормотание, а затем наступила тишина. В доме словно вымерло. Космонавты слышали лишь собственное дыхание.

В полном безмолвии прошел час.

— Надеюсь, наш визит не причинил неприятностей, — сказал командир и заглянул в гостиную.

Миссис Ттт была там и поливала цветы, растущие в центре комнаты.

— Так и знала, что забуду, — воскликнула она, увидев капитана, и вернулась в кухню. — Все время

было такое чувство, будто что-то забыла. Извините. — Она протянула ему узкий клочок бумаги. — Мистер Ттт очень занят. — Она снова захлопотала у плиты. — Все равно вам нужен мистер Ааа, а совсем не мистер Ттт, поэтому отнесите эту записку на соседнюю ферму, ту, что у голубого канала, и мистер Ааа все вам объяснит.

— Нам ничего не надо объяснять, — запротестовал капитан и обиженно надул толстые губы. — Что объяснять, все ясно.

— Вы получили записку? Что еще вам нужно? — возмутилась миссис Ттт и не пожелала больше разговаривать.

— Ну что ж, — вздохнул капитан, все еще не веря, как мальчишка, который смотрит на рождественскую елку без игрушек. — Пошли, ребята.

Они вышли навстречу знойному безмолвию марсианского дня.

Спустя полчаса мистер Ааа, который сидел наверху в своей библиотеке и лениво потягивал сильнее пламя из металлической пилы, услышал голоса на дорожке перед домом. Высунувшись из окна, он увидел четырех мужчин в комбинезонах. Задрав головы и щурясь от солнца, они смотрели на него.

— Мистер Ааа?

— Он самый.

— Нас послал к вам мистер Ттт, — крикнул капитан.

— Зачем? Что это ему взбрело в голову?

— Он очень занят.

— Подумать только! — язвительно воскликнул мистер Ааа. — Он занят, а я, видите ли, нет. Он, должно быть, считает, что мне больше делать нечего, как развлекать тех, с кем он сам не пожелал возиться.

— Это не так уж важно, — крикнул капитан.

— Для кого не важно, а для меня важно. Я должен прочесть уйму книг, но мистер Ттт не привык считаться с другими. Это уже не впервые. Не размахивайте руками, сэр. И извольте выслушать, что вам говорят. Я привык, чтобы меня слушали. Так что будьте любезны выслушать, в противном случае я вообще не стану с вами разговаривать.

Четверо землян, раскрыв рты от удивления, неловко топтались на месте, а у капитана даже блеснули слезинки в глазах и на лбу вздулись жилы.

— Итак, — назидательным тоном продолжал мистер Ааа, — вы считаете, что мистер Ттт имеет полное право вести себя подобным образом?

Четверо безмолвно взирали на него, изнывая от жары.

— Мы с Земли! — крикнул капитан.

— Я же считаю это верхом невоспитанности, — бубнил свое мистер Ааа.

— Ракета. Мы на ней прилетели. Она там!

— Уже не в первый раз мистер Ттт позволяет себе такое, слышите!

— Мы прилетели издалека, с самой Земли!

— Ба, как это мне сразу не пришло в голову! Позвоню ему и выложу все, как есть.

— Нас всего четверо: я и три космонавта, весь экипаж.

— Да, да, позвоню. Прямо сейчас же, не откладывая.

— Земля. Ракета. Люди. Космический полет. Открытый космос...

— Позвоню и задам хорошенькую взбучку! — крикнул мистер Ааа и исчез — точь-в-точь марионетка в кукольном театре.

С минуту слышалась перебранка по какому-то аппарату. Капитан и его товарищи с тоской поглядыва-

ли на ракету, лежавшую на пригорке. Она казалась такой красивой, родной и желанной.

Наконец мистер Ааа снова появился в окне. Он сиял.

— Вот, вызвал его на дуэль, черт побери! На дуэль!

— Мистер Ааа... — начал было снова капитан тихим голосом.

— Я пристрелю его, и дело с концом, слышите!

— Мистер Ааа, мы покрыли расстояние в шестьдесят миллионов миль...

Мистер Ааа словно впервые увидел капитана.

— Позвольте, откуда вы?

Белоснежные зубы капитана блеснули в радостной улыбке.

— Ну вот, теперь пойдет настоящий разговор, ребята, — торопливо шепнул он своим товарищам. — Мы пролетели шестьдесят миллионов миль! Мы с Земли! — крикнул он мистеру Ааа.

Тот равнодушно зевнул.

— Положим, в это время года до нее не более пятидесяти миллионов миль. — Он взял в руки какое-то устрашающего вида оружие. — Мне пора. А вашу дурацкую записку, хотя не знаю, что хорошего из этого выйдет, отнесите в городок Иопр, вон за тем холмом, и спросите мистера Иии. Он именно тот, кто вам нужен. А вовсе не мистер Ттт, этот болван, каких мало. Уж я постараюсь разделаться с ним. А что до меня, то увольте, ничем не могу помочь. Не мой профиль.

— Какой профиль! — взмолился капитан. — Разве нужен какой-то профиль, чтобы по-хорошему встретить гостей с Земли?

— Не будьте идиотом. Это всякий может, — воскликнул мистер Ааа и спустился вниз. — Прощайте! —

крикнул он и поскакал по дорожке — ни дать ни взять взбесившийся кронциркуль.

Четверо землян остолбенело глядели ему вслед.

— Все же мы найдем того, кто захочет нас выслушать, — наконец промолвил капитан.

— Может, лучше уйти, а потом вернуться, — удрученным голосом произнес кто-то из космонавтов. — Может, стоит взлететь и снова сесть. Дать им время подготовиться к встрече.

— Может, и так. Мысль неплохая, — устало промолвил капитан.

Маленький городок казался необычайно оживленным. Его жители то и дело вбегали в дома и снова выбегали, на ходу приветствуя друг друга. Лица их скрывали маски — золотые, голубые, даже темно-красные для пущего разнообразия, маски с серебряным ртом и бронзовыми бровями, улыбающиеся и хмурые, что кому по нраву.

Космонавты, порядком уставшие и взмокшие от жары, остановили на улице девочку и спросили, где найти дом мистера Иии.

— Вон там, — кивком указала она.

Капитан, не в силах скрыть переполнявших его чувств, опустился на колено, привлек к себе девочку и, заглянув в ее безмятежное личико, вдруг сказал:

— Милое дитя, позволь мне поговорить с тобой.

Он посадил девочку на колено и взял ее смуглые маленькие руки в свои широкие ладони, словно приготовился рассказать ей сказку, какие рассказывают детям на ночь. Он, казалось, мысленно предвкушал, какой она будет интересной, во всех своих подробностях и мельчайших деталях.

— Послушай, как это было, малышка. Полгода назад на Марс прилетела ракета. На ней был человек,

звали его Йорк, а с ним его помощник. Что было дальше, никто не знает. Может, они разбились. Прилетели они на ракете, так же как мы. Видала бы ты нашу ракету! Она во какая большая! Так вот, мы — это Вторая экспедиция, а та была Первая. А прилетели мы с самой Земли...

Девочка высвободила руку и опустила на лицо маску. Маска выражала полное равнодушие. А затем, пока капитан продолжал свой рассказ, она вынула золотого игрушечного паука и бросила его на тротуар. Паук тут же послушно вообразился ей на колено, а девочка сквозь прорези в маске наблюдала за ним.

Капитан легонько тряхнул ее, чтобы не отвлекалась.

— Мы — земляне, — сказал он. — Ты веришь мне?

— Да. — Девочка искоса поглядывала, как шевелятся в пыли ее босые пальцы.

— Отлично. — Капитан легонько уцепился за руку — то ли в шутку, то ли от досады, потому что хотел, чтобы она не отвлекалась, а смотрела только на него. — Мы сами построили эту ракету. Ты мне веришь?

— Да. — Девочка засунула палец в нос.

— Понимаешь... Нет, так дело не пойдет. Вынь пальчик из носа, малышка. Я командир ракеты, и...

— ...до этого никто еще не отправлялся в космос на такой большой ракете... — зажмурив глаза, произнесла девочка.

— Прекрасно! Позволь, откуда ты это знаешь?

— Телепатия! — Девочка вытерла палец о коленку.

— Неужели тебе совсем не интересно?.. — воскликнул капитан. — Разве ты не рада?

— Идите лучше к мистеру Ини. — Девочка снова бросила на землю игрушку. — Он с удовольствием поговорит с вами.

И она убежала. За ней послушно последовал паук.

Капитан так и остался сидеть на корточках, открыв рот и протянув вслед девочке руки. На глаза навернулись слезы, и он беспомощно перевел взгляд на свои пустые руки. Его спутники молчали, уставившись на собственные тени. Затем в сердцах все трое сплюнули на каменные плиты тротуара...

Мистер Иии сам открыл дверь. Он торопится на лекцию, в его распоряжении всего одна минута, и если они ненадолго, то могут войти и изложить свою просьбу, только покороче.

— Всего лишь немного внимания, — начал усталый, с воспаленными глазами капитан. — Мы прилетели с Земли, на ракете, нас четверо — командир корабля и трое членов экипажа. Мы устали, голодны, нуждаемся в отдыхе. Если кто-нибудь вручит нам ключи от вашего города или что-нибудь в этом роде, символическое, пожмет руки, крикнет: «Ура! Поздравляем, ребята!» — этого будет вполне достаточно...

Мистер Иии был высокий, тощий, меланхолического вида человек. За толстыми синими линзами прятались желтые глаза. Он наклонился над письменным столом и стал перебирать бумаги, будто искал что-то, то и дело, пристально и изучающе, поглядывая на гостей.

— Вот досада, боюсь, у меня нет с собой бланков. — Он пошарил в ящиках. — Куда я их сунул? — Он на мгновение задумался. — Они должны быть где-то здесь, где-то здесь. А, вот они! Пожалуйста, — он быстрым движением протянул капитану какие-то листки. — Их следует подписать.

— Неужели нельзя без дурацких формальностей!

Мистер Иии вперил в капитана неподвижный, стеклянный взгляд:

— Вы утверждаете, что прибыли с Земли, не так ли? Тогда придется подписать.

Капитан поставил свою подпись.

— И они тоже? — спросил он, указывая на членов экипажа.

Мистер Иии бросил взгляд на капитана, потом на трех космонавтов и вдруг разразился издевательским смехом:

— *Они?* Вот потеха! Великолепно! *Они* тоже! — Слезы текли по его щекам, он даже хлопнул себя по колену от восторга. Корчась от смеха, толчками вылетавшего из его широко открытого рта, мистер Иии согнулся вдвое и ухватился за край стола. — *Они* тоже!

Космонавты в недоумении нахмурились.

— Что тут смешного?

— *Они* тоже? — еле перевел дух обессиленный от смеха мистер Иии. — Обязательно расскажу мистеру Ххх. Чертовски смешно! — И все еще смеясь, он принялся изучать подписанные капитаном бумаги. — Как будто все в порядке. — Он удовлетворенно кивнул головой. — Даже согласие на эвтаназию, если понадобится. — И, довольный, хихикнул.

— На что?

— А, пустяки. У меня есть для вас приятный сюрприз. Вот вам ключ.

Капитан даже покраснел от удовольствия.

— Это такая честь...

— Не от города, болван! — вдруг сердито оборвал его мистер Иии. — Всего лишь от Дома. Пройдете по коридору, прямо, до большой двери. Откроете ее этим ключом, и не забудьте хорошенько захлопнуть за собой. Там и переночуете. А утром я пришлю к вам мистера Ххх.

Капитан нерешительно взял ключ, но так и остался стоять, опустив голову и уставившись в пол. Его ребята стояли молча, чувствуя, как силы покидают их,

энтузиазм улетучился и не осталось ничего, кроме чувства опустошенности.

— Это что еще такое? В чем дело? — возмутился мистер Иии. Он подбежал к капитану и, изогнувшись, попытался заглянуть ему в лицо. — Чего еще вам нужно? Ну?

— Было бы неплохо... — пробормотал капитан. — Я хочу сказать, если бы вы вот... — он совсем растерялся и умолк. — Мы чертовски много работали, проделали такой путь, было бы неплохо хотя бы пожать нам руки, сказать: «Отлично, ребята!» Как вы думаете, а?... — голос его прервался.

Мистер Иии деревянно выбросил вперед руку:

— Поздравляю! — На губах была ледяная усмешка. — Поздравляю! — вновь повторил он, а затем повернулся к ним спиной. — Мне пора. Не забудьте ключ.

И словно их не было, словно они растаяли в воздухе или провалились сквозь пол, мистер Иии забежал по комнате, засовывая в портативный чемоданчик какие-то бумаги. Прошло не менее пяти минут, по он ни разу не взглянул на угрюмо поникшую четверку принельцев с Земли. Они стояли понуриив головы, чувствуя, как подкашиваются от усталости ноги, а свет меркнет в глазах. Наконец, сосредоточенно разглядывая ногти, мистер Иии выбежал из дома...

Спотыкаясь, они поплелись вразброд по тускло освещенному коридору. День угасал. Они остановились перед широкой дверью из черного серебра и открыли ее серебряным ключом. Войдя, они плотно прикрыли за собой дверь.

Они очутились в просторном, залитом солнцем зале, где группками стояли или сидели у столов мужчины и женщины и о чем-то беседовали.

Звук захлопнувшейся двери заставил их обернуться и посмотреть на вошедших.

Один из марсиан вышел вперед и поклонился.

— Я мистер Ууу, — промолвил он.

— Капитан Джонатан Уильямс из Нью-Йорка, Земля, — сдержанно представился капитан.

Боже, что тут началось!

Своды зала загудели от криков и приветственных возгласов. Возбужденная толпа, что-то выкрикивая и размахивая руками, опрокидывая и сдвигая столы и тесня друг друга, устремилась навстречу космонавтам, окружила их и подняла на руки. Шесть раз их пронесли по залу с песнями, танцами, бурными изъявлениями восторга, совершив шесть чудесных кругов почета.

Гости с Земли были столь ошеломлены таким приемом, что лишь после второго круга пришли в себя и поняли, что происходит. Они засмеялись и тоже начали кричать, обращаясь друг к другу.

— Вот это здорово! Давно бы так.

— Вот так прием, ребята! Ура, ура! Здорово-то как!

Они озорно перемигивались, радостно взмахивали руками.

— Гип-гип!

— Ура! — подхватила толпа.

Наконец их посадили на стол. Шум понемногу утих.

Капитан чуть не плакал от счастья.

— Благодарю вас! Это было здорово! Еще как здорово!

— Расскажите нам о себе, — попросил мистер Ууу.

Капитан откашлялся и начал.

Толпа охала и ахала, слушая его рассказ. Наконец он представил им экипаж ракеты, и каждый из космонавтов произнес маленькую речь, теряясь и краснея от грома аплодисментов.

Мистер Ууу хлопнул капитана по плечу.

— Не представляете, как я вам рад. Я ведь тоже с Земли.

— Как же так!..

— У нас здесь многие с Земли.

— У вас? С Земли? — капитан оторопел. — Разве это возможно? Вы тоже прилетели на ракете? Разве и раньше были межпланетные полеты? — капитан не мог скрыть своего разочарования. — Откуда вы... Я хочу сказать, из какой страны?

— Туизерол. Я телепортировался сюда много лет назад.

— Туизерол, — капитан с трудом выговорил странное слово. — Я не знаю такой страны. А что значит телепортироваться?

— Миссис Ррр тоже с Земли. Не так ли, миссис Ррр?

Миссис Ррр утвердительно кивнула и засмеялась странным смехом.

— И мистер Ввв, и мистер Ккк, и мистер Ююю.

— А я с Юпитера, — заявил какой-то марсианин, кокетливо оправляя одежду.

— Я с Сатурна, — хитро блеснув глазами, сказал другой.

— Юпитер, Сатурн, — растерянно повторял капитан.

В зале снова воцарилась тишина. Снова все разбрелись, стояли группками и беседовали или же сидели за странно пустыми банкетными столами. Желтые глаза горели, на лица легли тени. Капитан только сейчас заметил, что в зале нет окон, и яркий свет, казалось, излучают сами стены. И всего лишь одна дверь. Лицо капитана дрогнуло.

— Странно. Где на Земле такая страна — Туизерол? Далеко ли от Америки?

— Что такое Америка?

— Как, вы не слышали об Америке? Ведь вы сказали, что с Земли? И ничего не знаете об Америке?

Мистер Ууу с достоинством выпрямился.

— Земля — это безбрежные моря. Одни моря и ничего больше. Суши нет. Я с Земли, я знаю.

— Погодите, — капитан отпрянул от него. — Вы похожи на марсианина! Желтые глаза, смуглая кожа...

— Земля — сплошные джунгли, — гордо изрекла миссис Ррр. — Я из страны Орри на Земле, страны серебряной культуры!

Капитан перевел взгляд с миссис Ррр на мистера Ууу, потом на мистера Ввв и мистера Ззз, на мистеров Ннн, Ггг и других. Он видел, как вспыхивают и гаснут их желтые глаза, как расширяются и сужаются арочки. Его проняла дрожь. Наконец он повернулся и мрачно посмотрел на своих спутников.

— Знаете, что все это значит?

— Что, капитан?

— Это не торжественная встреча и не банкет в нашу честь, — устало произнес капитан. — А они не представители властей города. Это отнюдь не веселая пирушка с приятным сюрпризом. Обратите внимание на их глаза, вслушайтесь в их речи!

Дыхание замерло в груди. В замкнутом пространстве комнаты, в наступившей тишине, казалось, был слышен шорох напряженных взглядов.

— Теперь я понимаю... — донесся откуда-то издалека голос капитана, — ...зачем нам совали эти бумажки, почему каждый спешил отделаться и спровадить нас другому, пока наконец мы не попали к мистеру Иии. А он дал нам ключ и послал сюда... открыть дверь и хорошенько захлопнуть за собой. Вот мы и здесь...

— Где, капитан?

— В сумасшедшем доме, — прервавшимся голосом произнес капитан.

Наступила ночь. В большом зале, едва освещенном невидимыми светильниками, было тихо. Четверо землян сидели за столом, понуро сдвинув головы, и шепотом беседовали. На полу вповалку спали мужчины и женщины. В темных углах кто-то беспокойно ворочался, размахивал во сне руками. Каждый полчаса кто-нибудь из космонавтов подходил к двери и дергал за ручку.

— Заперта, сэр. И, как видно, пакрепко.

— Выходит, они приняли нас за сумасшедших?

— Выходит так. Поэтому они не торопились с торжественной встречей, а только слушали, что мы говорим, и считали, что все это бред, рецидивы психопатического синдрома. — Капитан указал на темные фигуры на полу. — Параноики, все до одного. Но как встречали! Мне было показалось... — глаза его вспыхнули и снова погасли, — показалось, что все это настоящее. Все эти приветствия, песни, речи. Неплохо было, пока было, а?

— Долго они продержат нас здесь, сэр?

— Пока не удостоверятся, что мы не психи.

— Это совсем нетрудно, сэр.

— Будем надеяться.

— Похоже, вы не очень уверены, сэр?

— Да. Посмотрите-ка вон в тот угол.

В углу на короточках сидел мужчина. Уста его изрыгали синеватое пламя, которое постепенно принимало округлые формы и превратилось в миниатюрную фигурку обнаженной женщины. Увеличиваясь, она поплыла в воздухе в ореоле синего тумана, что-то шепча и горестно вздыхая.

Капитан молча указал на противоположный угол. Там стояла женщина, с которой на их глазах начали происходить неожиданные и странные вещи. Вдруг она очутилась внутри прозрачной стеклянной колонны, затем колонна исчезла, и женщина обратилась в зо-

лотую статую, потом в деревянный, гладко отполированный посох и наконец снова стала сама собой.

В полночь в зале вспыхивали фиолетовые огни, блуждали, причудливо меняли форму. Ибо полночь — это самое время для чертовщины и всяких превращений.

— Колдуны, бесовская сила, — прошептал кто-то из землян.

— Нет, бред помешанных, галлюцинации. Они передают нам свои бредовые видения, и мы видим то же, что и они. Телепатическая связь. Самовнушение.

— Это вас тревожит, сэр?

— Да. Если галлюцинации здесь всем кажутся реальностью, если они поражают воображение настолько, что начинаешь им верить, тогда немудрено, что они приняли нас за сумасшедших. Если этот тип запросто лепит женщин из огня, а эта леди может превратиться в стеклянный столб, тогда нормальному марсианину может показаться, что ракета — это тоже плод нашего с вами больного воображения.

— О!.. — возглас отчаяния вырвался из груди космонавтов.

Вокруг них вспыхивали, разгорались и гасли синие огни. Из уст спящих мужчин выскакивали красные чертенята, женщины превращались в скользких, маслянисто поблескивающих змей. Пахло хищными зверями и ползучими гадами.

А когда наступило утро, их снова окружали бодрые, веселые, вполне нормальные люди. Словно и не было болотных огней и всякой чертовщины. Командир и его экипаж стояли у двери и ждали, когда ее откроют.

Мистер Ххх заставил себя ждать. Он появился часа через четыре. У них закралась нехорошая мысль: прежде чем войти, он по меньшей мере часа три торчал под дверью и через потайной глазок наблюдал за ними. Он пригласил их в свой кабинет.

Это был общительный, улыбающийся человек, если верить его маске, ибо на ней была не одна, а целых три улыбки. Но голос, долетавший из-под маски, исключал всякую мысль об улыбках. Это был голос врача-психиатра.

— На что жалуетесь?

— Вы приняли нас за сумасшедших, но, поверьте, это ошибка, — сказал капитан.

— Наоборот, я не считаю *всех* сумасшедшими. — Он ткнул в капитана тоненькой палочкой, напоминавшей дирижерскую. — Отнюдь нет. Только вас, сэр. Все остальные — это вторичная галлюцинация.

Капитан хлопнул себя по колену.

— Ах, вон оно что! Вот почему мистер Иии так развеселился, когда я спросил, нужно ли всем подписывать бумаги!

— О да, мистер Иии мне рассказывал. — Из улыбающегося рта маски вылетел хохоток. — Неплохая шутка. Так на чем я остановился? Да, вторичная галлюцинация. Ко мне приходят дамы, утверждающие, что у них из ушей лезут змеи. После курса лечения все проходит.

— Мы готовы подвергнуться лечению. Приступайте! Мистер Ххх был удивлен.

— Невероятно. Не так уж многие дают согласие. Лечение тяжелое. Радикальные меры, понимаете.

— Я вам сказал: начинайте! И вы убедитесь, что мы здоровы.

— Позвольте ваши бумаги, проверить, все ли по форме. — Он просмотрел бумаги. — Так, прекрасно. Вам известно, что в вашем случае требуется специальное «лечение». Все, кого вы здесь видели, — это обычные случаи. Но когда болезнь принимает формы первичных, вторичных, слуховых, вкусовых и обонятельных галлюцинаций, которые к тому же сопровож-

даются осязательно-зрительными, тут без эвтаназии не обойтись.

Капитан не выдержал.

— Послушайте! — завопил он. — До каких пор это будет продолжаться! Хватит! Начинайте ваш осмотр, стучите по коленке, слушайте сердце, заставляйте нас прыгать и вертеться, задавайте ваши дурацкие вопросы!

— Говорите сами все, что хотите. Это ваше право.

Взбешенный капитан проговорил не менее часа. Психиатр слушал, не перебивая.

— Невероятно, — то и дело бормотал он себе под нос. — Чертовски детализированное описание бредовых видений. Впервые в моей практике.

— Черт побери, мы в конце концов можем показать вам нашу ракету! — уже кричал капитан.

— Не возражаю взглянуть на нее. Вы можете сделать это прямо здесь?

— Конечно. Она в вашей картотеке на букву «Р».

Мистер Ххх с самым серьезным видом полез в картотеку, затем разочарованно произнес «тэк-с» и медленно задвинул ящик.

— Вам вздумалось пошутить? Там нет никакой ракеты.

— Разумеется, нет, идиот вы эдакий! Я действительно пошутил. Скажите, у сумасшедших есть чувство юмора?

— Да, встречаются довольно странные случаи его проявления. А теперь ведите меня к вашей ракете. Я хочу на нее поглядеть.

Был полдень. Пока они дошли до ракеты, жара стала нестерпимой.

— Это и есть ракета?

Психиатр обошел ее, постучал по корпусу. Ракета издала приглушенный звук.

— Можно войти? — хитро спросил он.

— Входите.

Мистер Ххх исчез в ракете и долго не появлялся.

— Никогда еще не попадал в такой дурацкий переплет. — Капитан сжевал целую сигару, пока ждал. — Только бы мне добраться обратно до Земли. Я бы сказал им, что Марс не стоит того, чтобы с ним возиться. Одни тупые псевезды, да еще подозрительны до идиотизма.

— Я так понимаю, что добрая половина населения Марса просто психи. Наверное, поэтому они ничему не верят.

— Все же чертовски досадно.

Психиатр наконец вылез из ракеты, пробыв в ней добрых полчаса. Он все облазил, обстучал, выслушал, понюхал, даже попробовал на язык.

— Ну так как, теперь верите? — воскликнул капитан так громко, словно обращался к глухому.

Психиатр закрыл глаза и почесал кончик носа.

— Небывалый в моей практике случай осязательных галлюцинаций и гипнотического внушения. Я исследовал вашу, как вы ее называете, «ракету». — Он снова постучал по обшивке ракеты. — Я слышу звук. Слуховые галлюцинации. — Он глубоко втянул в себя воздух. — Чувствую запах. Галлюцинации обоняния как результат телепатии. — Он прикоснулся губами к обшивке ракеты. — Я ощущаю ее на вкус. Вкусовая галлюцинация!

Он крепко пожал руку капитана.

— Поздравляю! Вы психопатический гений! Вы почти добились совершенства. Внушение собственных бредовых видений другому, их проецирование на чужое сознание с помощью телепатии и способность сохранять постоянную силу воздействия — все это, до сих

пор по крайней мере, считалось невозможным. Наши пациенты обычно концентрируются на визуальных, в лучшем случае визуально-слуховых иллюзиях. Вам же доступен самый широкий спектр бредовых фантазий. Ваше помешательство носит удивительно законченный характер!

— Помешательство! — Капитан побледнел.

— Да, да, какой удивительный случай психопатического совершенства! Металл, резина, гравитационные системы, запасы продовольствия, одежды, топлива, оружия... болты, гайки, ложки... Я насчитал десять тысяч различных предметов и деталей на вашем корабле. Никогда не встречался с подобным совершенством воображения. Даже тени под койками, тени от каждого предмета! Подумать только, так сконцентрировать волю! И каждая вещь, какой бы она ни была, имеет запах, форму, вкус, издает звук, если по ней постучать. Позвольте обнять вас!

Наконец он отпустил капитана и отступил на несколько шагов.

— Если я об этом напишу, это будет моя лучшая работа. Обязательно выступлю с докладом на предстоящем симпозиуме Марсианской академии! Взгляните на себя! Вам даже удалось изменить цвет глаз, вместо желтых они стали голубыми, кожа посветлела. А эти комбинезоны! И на руках у вас пять пальцев вместо шести! Биологическая трансформация в результате психической патологии. А ваши друзья...

Он вынул пистолет.

— Безнадежный случай, совершенно ясно. Прекрасный вы мой бедняга! Смерть избавит вас от страданий. Я готов выслушать ваше последнее слово.

— Остановитесь! Не стреляйте!

— Несчастный. Я избавлю вас от терзающего вас бреда, породившего и эту ракету, и ваших двойников. Чрезвычайно интересно увидеть, как ракета и ваши

друзья исчезнут, как только я выстрелю в вас. Можно написать прекрасную статейку о разрушении невротических иллюзий. Материалом послужит сегодняшний случай.

— Я с Земли! Меня зовут Джонатан Уильямс, а они...

— Знаю, знаю, — успокаивающе произнес мистер Ххх и выстрелил.

Пуля пронзила сердце. Капитан рухнул как подкошенный.

Из груди космонавтов вырвался крик ужаса.

Мистер Ххх смотрел и не верил своим глазам:

— Вы не исчезли! Великолепно! Галлюцинации вне субъекта еще какое-то время существуют во времени и пространстве! — Он направил дуло на космонавтов. — Я заставлю вас исчезнуть.

— Нет! — закричали космонавты.

— Проецирование слуховых галлюцинаций пациента даже после его смерти, — пояснил сам себе мистер Ххх и трижды выстрелил.

Они лежали на песке, ничуть не меняясь и не думая исчезать.

Он пнул их ногой, подошел и снова постучал по корпусу ракеты.

— Не исчезла! И они не исчезают! — Он снова выстрелил в неподвижные тела, потом в ужасе отпрянул. Маска свалилась и упала.

С маленьким личиком психиатра начало твориться что-то неладное. Челюсть отвисла, глаза остекленели, и ослабевшие пальцы выронили пистолет. Он поднял вверх руки и затоптался на месте, словно слепой, спотыкаясь о тела убитых. Рот его наполнился слюной.

— Галлюцинации, — бормотал он в ужасе. — Вкусовые, зрительные, обонятельные, слуховые, осязательные... — Он беспорядочно размахивал руками, глаза вылезли из орбит, на губах выступила пена. — Прочь! —

кричал он мертвецам. — Сгинь! — вопил он, обращаясь к ракете.

Он увидал, как дрожат его руки.

— Я заражен, — обезумев от ужаса, бормотал он. — Все передалось мне. Телепатия. Гипноз. Теперь я болен, я сумасшедший. Я заразился!.. Все виды галлюцинаций... — Остановившись, он начал шарить вокруг онемевшими руками, пытаясь найти выроненный пистолет. — Есть лишь один выход. Всего один. Тогда они исчезнут...

Раздался выстрел. Мистер Ххх упал.

Четыре трупа лежали рядом под слепящим солнцем. Поодаль, там, где он упал, лежал мистер Ххх.

Ракета, как была, так и осталась на пригорке.

Когда под вечер жители городка набрели на нее, они долго гадали, что бы это могло быть, но так ничего и не придумали. Поэтому продали ее перекупщику всякого хлама, и он увез ее, чтобы разобрать на части.

Всю ночь шел дождь, а утро снова выдалось теплое и ясное.

Калейдоскоп*

Ракету трянуло, и она разверзлась, точно бок ей вспорол гигантский консервный нож. Люди, выброшенные наружу, бились в пустоте десятком серебристых рыбешек. Их разметало в море тьмы, а корабль, разбитый вдребезги, продолжал свой путь — миллион осколков, стая метеоритов, устремившаяся на поиски безвозвратно потерянного Солнца.

— Баркли, где ты, Баркли?

Голоса перекликались, как дети, что заблудились в холодную зимнюю ночь.

— Вуд! Вуд!

— Капитан!

— Холлис, Холлис, это я, Стоун!

— Стоун, это я, Холлис! Где ты?

— Не знаю. Откуда мне знать? Где верх, где низ? Я падаю. Боже милостивый, я падаю!

Они падали. Падали, словно камешки в колодец. Словно их разметало одним мощным броском. Они были уже не люди, только голоса — очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности.

— Мы разлетаемся в разные стороны.

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Калейдоскоп: Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1965. — (Библия совр. фантастики, т. 3). — Пер. изд.: Bradbury R. Kaleidoscope: The Illustrated Man. Doubleday, N. Y., 1952.

Да, правда. Холлис, летя кувыркoм в пустоте, понял — это правда. Понял и как-то отупело смирился. Они расстаются, у каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметических скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными шлемами, но никто не успел нацепить энергоприбора. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой спасательной шлюпкой, тогда можно бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга; они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеориты, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе.

Прошло, должно быть, минут десять, пока утих первый приступ ужаса и всех сковало оцепенелое спокойствие. Пустота — огромный мрачный ткацкий станок — принялась ткать странные нити, голоса сходились, расходились, перекрещивались, определялся четкий узор.

— Холлис, я — Стоун. Сколько времени мы сможем переговариваться по радио?

— Смотри с какой скоростью ты летишь в свою сторону, а я — в свою.

— Думаю, еще с час.

— Да, пожалуй, — бесстрастно, отрешенно отозвался Холлис.

— А что произошло? — спросил он минуту спустя.

— Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает.

— Ты в какую сторону летишь?

— Похоже, врежусь в Луну.

— А я в Землю. Возвращаюсь к матушке-Земле со скоростью десять тысяч миль в час. Сгорю, как спичка. — Холлис подумал об этом с поразительной отрешенностью. Будто отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает, падает в пустоте, смотрел рав-

нодушно, со стороны, как когда-то, в незапамятные времена, зпмой, — на первые падающие снежинки.

Остальные молчали и думали о том, что с ними случилось, и падали, падали, и ничего не могли изменить. Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся.

— Ох, как далеко падать! Как далеко падать, далеко, далеко, — раздался чей-то голос. — Я не хочу умирать, не хочу умирать, как далеко падать...

— Кто это?

— Не знаю.

— Наверно, Стимсон. Стимсон, ты?

— Далеко, далеко, не хочу я так. Ох, господи, не хочу я так!

— Стимсон, это я, Холлис. Стимсон, ты меня слышишь?

Молчанье, они падают поодиночке, кто куда.

— Стимсон!

— Да? — наконец-то отозвался.

— Не расстраивайся, Стимсон. Все мы одинаково влипли.

— Не нравится мне тут. Я хочу отсюда выбраться.

— Может, нас еще найдут.

— Пускай меня найдут, пускай найдут, — сказал Стимсон. — Неправда, не верю, не могло такое случиться.

— Ну да, это просто дурной сон, — вставил кто-то.

— Заткнись! — сказал Холлис.

— Поди сюда и заткни мне глотку, — предложил тот же голос. Это был Эллгейт. Он засмеялся — даже весело, как ни в чем не бывало: — Поди-ка заткни мне глотку!

И Холлис впервые ощутил, как невообразимо он бессилен. Слепая ярость переполняла его, больше всего на свете хотелось добраться до Эллгейта. Многие годы

мечтал до него добраться, и вот слишком поздно. Теперь Эплгейт — лишь голос в шлемофоне.

Падаешь, падаешь, падаешь...

И вдруг, словно только теперь им открылся весь ужас случившегося, двое из уносящихся в пространство разразились отчаянным воплем. Как в кошмаре, Холлис увидел: один проплывает совсем рядом и вопит, вопит...

— Перестань!

Казалось, до кричащего можно дотянуться рукой, он исходил безумным, нечеловеческим криком. Никогда он не перестанет. Этот вопль будет доноситься за миллионы миль, сколько достигают радиоволны, и всем вымотает душу, и они не смогут переговариваться между собой.

Холлис протянул руки. Так будет лучше. Еще одно усилие — и он коснулся кричащего. Ухватил за щиколотку, подтянулся, вот они уже лицом к лицу. Тот вопит, цепляется за него бессмысленно и дико, точно утопающий. Безумный вопль заполняет вселенную.

«Так ли, эдак ли, — думает Холлис. — Все равно его убьет Луна, либо Земля, либо метеориты, так почему бы не сейчас?»

Он обрушил железный кулак на прозрачный шлем безумного. Вопль оборвался. Холлис отталкивается от труппа — и тот, кружась, улетает прочь и падает.

И Холлис падает, падает в пустоту, и остальные тоже уносятся в долгом вихре нескончаемого, безмолвного падения.

— Холлис, ты еще жив?

Холлис не откликается, но лицо ему обдаёт жаром.

— Это опять я, Эплгейт.

— Слышу.

— Давай поговорим. Все равно делать нечего.

Его перебивает капитан:

— Довольно болтать. Надо подумать, как быть дальше.

— А может, вы заткнетесь, капитан? — спрашивает Эплгейт.

— Что-о?

— Вы отлично меня слышали, капитан. Не страшайте меня своим чином и званием, вы теперь от меня за десять тысяч миль, и нечего комедию ломать. Как выражается Стимсон, нам далеко падать.

— Послушайте, Эплгейт!

— Отвяжись ты. Я поднимаю бунт. Мне терять нечего, черт возьми. Корабль у тебя был никудышный, а капитан ты был никудышный, и желаю тебе врезаться в Луну и сломать себе шею.

— Приказываю вам замолчать!

— Валяй приказывай. — За десять тысяч миль Эплгейт усмехнулся. Капитан молчал. — О чем, бишь, мы толковали, Холлис? — продолжал Эплгейт. — А, да, вспомнил. Тебя я тоже ненавижу. Да ты и сам это знаешь. Давным-давно знаешь.

Холлис беспомощно сжал кулаки.

— Сейчас я тебе кое-что расскажу. Можешь радоваться. Это я тебя провалил, когда ты пять лет назад добивался места в Ракетной компании.

Рядом сверкнул метеорит. Холлис опустил глаза — кисть левой руки срезало, как ножом. Хлещет кровь. Из скафандра мигом улетучился воздух. Но, задержав дыхание, он правой рукой затянул застежку у локтя левой, перехватил рукав и восстановил герметичность. Все случилось мгновенно — он и удивиться не успел. Его уже ничто не могло удивить. Течь остановлена, скафандр тотчас опять наполнился воздухом. Холлис перетянул рукав еще туже, как жгутом, и кровь, только что хлеставшая, точно из шланга, остановилась.

За эти страшные секунды с губ его не сорвалось

пи звука. А остальные все время переговаривались. Один — Леспир — болтал без умолку: у него, мол, на Марсе жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена, и денег куры не клюют, и здорово он на своем веку повеселился — пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Падал навстречу смерти и предавался воспоминаниям о прошлых счастливых днях.

Так странно все. Пустота, тысячи миль пустоты, а в самой сердцевине ее трепещут голоса. Никого не видно, ни души, только радиоволны дрожат, колеблются, пытаются взволновать и людей.

— Злишься, Холлис?

— Нет.

И правда, он не злился. Им опять овладело равнодушие, он был точно бесчувственный камень, нескончаемо падающий в ничто.

— Ты всю жизнь старался выдвинуться, Холлис. И не понимал, почему тебе вечно не везет. А это я внес тебя в черный список, перед тем как меня самого вышвырнули за дверь.

— Это все равно, — сказал Холлис.

Ему и правда было все равно. Все это позади. Когда жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране, — все предрассудки, все страсти вспыхнули на миг перед глазами, и не успеешь крикнуть — вот был счастливый день, а вот несчастный, вот милое лицо, а вот ненавистное, — как пленка уже сгорела дотла и экран погас.

Жизнь осталась позади, и, оглядываясь назад, он жалел только об одном — ему еще хотелось жить и жить. Неужто перед смертью со всеми так — умираешь, а кажется, будто и не жил? Неужто жизнь так коротка — вздохнуть не успел, а уже все кончено? Не-

ужто всем она кажется такой немыслимо краткой — или только ему здесь, в пустоте, когда считанные часы остались на то, чтобы все продумать и осмыслить?

А Леспир знай болтал свое:

— Что ж, я пожил на славу: на Марсе жена, и на Венере жена, и на Юпитере. И у всех у них были деньги, и все уж так меня ублажали. Пил я сколько хотел, а одип раз проиграл в карты двадцать тысяч долларов.

«А сейчас ты влип, — думал Холлис. — Вот у меня ничего этого не было. Пока я был жив, я тебе завидовал, Леспир. Пока у меня было что-то впереди, я завидовал твоим любовным похождениям и твоему веселому житью. Женщины меня пугали, и я сбежал в космос, по все время думал о женщинах и завидовал, что у тебя их много, и денег много, и живешь ты бесшабашно и весело. А сейчас все кончено, и мы падаем, и я больше не завидую, ведь и для тебя сейчас все кончено, будто ничего и не было».

Холлис вытянул шею и закричал в микрофон:

— Все кончено, Леспир!

Молчание.

— Будто ничего и не было, Леспир!

— Кто это? — дрогнувшим голосом спросил Леспир.

— Это я, Холлис.

Он поступал подло. Он чувствовал, что это подло, бессмысленно и подло — умирать. Эплгейт сделал ему больно, теперь он хотел сделать больно другому. Эплгейт и пустота — оба жестоко ранили его.

— Ты влип, как все мы, Леспир. Все кончено. Как будто никакой жизни и не было, верно?

— Неправда.

— Когда все кончено, это все равно, как если б ничего и не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас, сию минуту — вот что важно. А сейчас тебе разве лучше, чем мне? Лучше, а?

— Да, лучше.

— Чем это?

— А вот тем! Мне есть что вспомнить! — сердито крикнул издалека Леспир, обеими руками цепляясь за милые сердцу воспоминания.

И он был прав. Холлиса точно ледяной водой окатило, и он понял: Леспир прав. Воспоминания и мечты — совсем не одно и то же. Он всегда только мечтал, только хотел всего, чего Леспир добился и о чем теперь вспоминает. Да, так. Мысль эта терзала Холлиса неторопливо, безжалостно, резала по самому больному месту.

— Ну а сейчас, сейчас что тебе от этого за радость? — крикнул он Леспиру. — Если что прошло и кончено, какая от этого радость? Тебе сейчас не лучше, чем мне.

— Я помираю спокойно, — отозвался Леспир. — Был я на моей улице праздник. Я не стал перед смертью подлецом, как ты.

— Подлецом? — повторил Холлис, будто пробуя это слово на вкус.

Сколько он себя помнил, никогда в жизни ему не случилось сделать подлость. Он просто не смел. Должно быть, все, что было в нем подлого и низкого, копилось впрок для такого вот часа. «Подлец» — он загнал это слово в самый дальний угол сознания. Слезы навернулись на глаза, покатались по щекам. Наверно, кто-то услышал, как у него захватило дух.

— Не расстраивайся, Холлис.

Конечно, это просто смешно. Всего лишь несколько минут назад он давал советы другим, Стимсону; он казался себе самым настоящим храбрецом, а выходит, никакое это не мужество, просто он оцепенел, так бывает от сильного потрясения, от шока. А вот теперь он пытается в короткие оставшиеся минуты втиснуть волнение, которое подавлял в себе всю жизнь.

— Я понимаю, каково тебе, Холлис, — слабо донесся голос Леспира, — теперь их разделяло уже двадцать тысяч миль. — Я на тебя не в обиде.

«Но разве мы с Леспиром не равны? — спрашивал себя Холлис. — Здесь, сейчас — разве у нас не одна судьба? Что прошло, то кончено раз и навсегда — и какая от него радость? Так и так помирать». Но он и сам понимал, что рассуждения эти пустопорожние, будто стараешься определить, в чем разница между живым человеком и покойником. В одном есть какая-то искра, что-то таинственное, неуловимое, а в другом — нет.

Вот и Леспир не такой, как он: Леспир жил полной жизнью — и сейчас он совсем другой, а сам он, Холлис, уже долгие годы все равно что мертвый. Они шли к смерти разными дорогами — и если смерть не для всех одинакова, то, надо думать, его смерть и смерть Леспира будут совсем разные, точно день и ночь. Видно, умирать, как и жить, можно на тысячу ладов, и если ты однажды уже умер, что хорошего можно ждать от последней и окончательной смерти?

А через секунду ему срезало правую ступню. Он чуть не расхохотался. Из скафандра опять вышел весь воздух. Холлис быстро наклонился — хлестала кровь: метеорит оторвал ногу и костюм по щиколотку. Да, забавная это штука — смерть в межпланетном пространстве. Она рубит тебя в куски, точно невидимый злобный мясник. Холлис туго завернул клапан у колена, от боли кружилась голова, он силился не потерять сознание; наконец-то клапан завернут до отказа, кровь остановилась, воздух опять наполнил скафандр; и он выпрямился и снова падает, падает, ему только это и остается — падать.

— Эй, Холлис!

Холлис сонно кивнул, он уже устал ждать.

— Это опять я, Эплгейт, — сказал тот же голос.

— Ну?

— Я тут поразмыслил. Послушал, что ты говоришь. Нехорошо все это. Мы становимся скверные. Скверно так помирать. Срываешь зло на других. Ты меня слушаешь, Холлис?

— Да.

— Я соврал тебе раньше. Соврал. Ничего я тебя не проваливал. Сам не знаю, почему я это ляпнул. Наверно, чтоб тебе досадить. Что-то в тебе есть такое, всегда хотелось тебе досадить. Мы ведь всегда не ладили. Наверно, это я так быстро старею, вот и спешу показаться. Слушал я, как подло ты говорил с Леспиром, и стыдно мне, что ли, стало. В общем, неважно, только ты знай, я тоже валял дурака. Все, что я раньше наболтал, сплошное вранье. И катись к чертям.

Холлис почувствовал, что сердце его снова забилося. Кажется, долгих пять минут оно не билось вовсе, а сейчас опять кровь побежала по жилам. Первое потрясение миновало, а теперь откатывались и волны гнева, ужаса, одиночества. Будто вышел поутру из-под холодного душа, готовый позавтракать и начать новый день.

— Спасибо, Эплгейт.

— Не стоит благодарности. Не вешай носа, сукины сын!

— Эй! — голос Стоуна.

— Это ты?! — на всю вселенную заорал Холлис.

Стоун — один из всех — настоящий друг!

— Меня занесло в метеоритный рой, тут куча мелких астероидов.

— Что за метеориты?

— Думаю, группа Мярмидонян; они проходят мимо Марса к Земле раз в пять лет. Я угодил в самую серединку. Похоже на большущий калейдоскоп. Металлические осколки всех цветов, самой разной формы и величины. Ох, и красота же!

Молчание. Потом опять голос Стоуна:

— Лечу с ними. Они меня утащили. Ах, черт меня подери!

Он засмеялся.

Холлис напрягал зрение, но так ничего и не увидел. Только огромные алмазы, и сапфиры, и изумрудные туманы, и чернильный бархат пустоты, и среди хрустальных искр слышится голос бога. Как странно, поразительно представить себе: вот Стоун летит с метеоритным роем прочь, за орбиту Марса, летит годами, и каждые пять лет возвращается к Земле, мелькнет на земном небосклоне и вновь исчезнет, и так сотни и миллионы лет. Без конца, во веки веков Стоун и рой Мирмидонян будут лететь, образуя все новые и новые узоры, точно пестрые стеклышки в калейдоскопе, которыми любовался мальчонкой, глядя на солнце, опять и опять встряхивая картонную трубку.

— До скорого, Холлис, — чуть слышно донесся голос Стоуна. — До скорого!

— Счастливо! — за тридцать тысяч миль крикнул Холлис.

— Не смейся, — сказал Стоун и исчез.

Звезды сомкнулись вокруг.

Теперь все голоса угасали, каждый уносился все дальше по своей кривой — одни к Марсу, другие за пределы солнечной системы. А он, Холлис... Он поглядел себе под ноги. Из всех только он один возвращался на Землю.

— До скорого!

— Не расстраивайся!

— До скорого, Холлис, — голос Эдлгейта.

Еще и еще прощанья. Короткие, без лишних слов. И вот огромный мозг, не замкнутый больше в единстве, распадается на части. Все они так слаженно, с таким блеском работали, пока их объединяла черепная коробка пронизывающей пространство ракеты, а теперь один

за другим они умирают; разрушается смысл их общего бытия. И, как живое существо погибает, едва выйдет из строя мозг, так теперь погибал самый дух корабля, и долгие дни, прожитые бок о бок, и все, что люди значили друг для друга. Эплгейт теперь всего лишь оторванный от тела палец, уже незачем его презирать, сопротивляться ему. Мозг взорвался — и бессмысленные, бесполезные обломки разлетелись во все стороны. Голоса замерли, и вот пустота нема. Холлис один, он падает.

Каждый остался один. Голоса их сгнули, как будто бог оброшил песком несколько слов, и недолгое эхо дрогнуло и затерялось в звездной бездне. Вот капитан уносится к Луне; вот Стоун среди роя метеоритов; а там Стимсон; а там Эплгейт улетает к Плутону; и Смит, Тёрнер, Андервуд, и все остальные — стеклышки калейдоскопа, они так долго складывались в переменчивый мыслящий узор, а теперь их раскидало всех врозь, поодиночке.

«А я? — думал Холлис. — Что мне делать? Как, чем теперь искупить ужасную, пустую жизнь? Хоть одним добрым делом искупить бы свою подлость; она столько лет во мне копилась, а я и не подозревал! Но теперь никого нет рядом, я один — что можно сделать хорошего, когда ты совсем один? Ничего не сделаешь. А завтра вечером я врежусь в земную атмосферу. И сгорю, и развеюсь прахом над всеми материками. Вот и польза от меня. Самая малость, а все-таки прах есть прах, и он соединится с Землей».

Он падал стремительно, точно пуля, точно камешек, точно гирька, спокойный теперь, совсем спокойный, не ощущая ни печали, ни радости — ничего; только одного ему хотелось: сделать бы что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, сделать бы хоть что-то хорошее и знать, я это сделал...

«Когда я врежусь в воздух, я вспыхну, как метеор».

— Хотел бы я знать, — сказал он вслух, — увидит меня кто-нибудь?

Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:

— Мама, смотри, смотри! Падучая звезда!

Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Иллинойсом.

— Загадай желание, — сказала мать. — Загадай скорей желание!

И все-таки наш...

Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику; муж обнял ее и поцеловал.

— Через шесть часов ты уже будешь дома, детка, — сказал он. — Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили, а так они сделают за тебя все, что надо.

Она вспомнила старую-престарую песенку «Нет, уж этого вам у меня не отнять» и тихонько напела ее, и, когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись.

Врач, по имени Уолкот, был исполнен спокойствия и уверенности. Полли-Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную — здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя

* Печатается по изд.: Брэдбери Р. Рассказы: А ребенок завтра. — М.: Молодая гвардия, 1975. — Пер. изд.: Bradbury R. Tomorrow's Child: I Sing the Body Electric. Doubleday, N. Y., 1969.

© Перевод на русский язык, «Молодая гвардия», 1975.

недурно. Это их первый ребенок, но волноваться нечего. Полли-Эни в хороших руках.

Через час в приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стилнул стакан и прошептал:

— Она умерла.

— Нет, — негромко сказал Уолкот. — Нет-нет, она жива и здорова. Но вот ребенок...

— Значит, ребенок мертвый.

— И ребенок жив, но... допивайте коктейль и пойдите. Кое-что произошло.

Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высыпали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн шел за доктором, ему стало совсем худо; там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, таращили друг на друга глаза и шептались:

— Нет, вы видали? Ребенок Питера Хорна! Невероятно!

Врач привел его в очень чистую небольшую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало.

Голубая пирамидка.

— Зачем вы привели меня сюда? — спросил Хорн.

Голубая пирамидка шевельнулась. И заплакала.

Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задышался.

— Неужели... это и есть?..

Доктор Уолкот кивнул.

У голубой пирамидки было шесть гибких голубых отростков и на выдвинутых вперед стерженьках моргали три глаза.

Хорн оцепенел.

— Оно весит семь фунтов и восемь унций, — сказал кто-то.

«Меня разыгрывают, — подумал Хорн. — Это такая шутка. И все это затеял, конечно, Чарли Расколл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет: „С первым апреля!“ — и все засмеются. Не может быть, что это мой ребенок. Какой ужас! Нет, меня разыгрывают».

Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.

— Уведите меня отсюда.

Он отвернулся; сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали.

Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил:

— Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн.

— Нет. Нет, невозможно. — Такое не умещалось у него в голове. — Это какое-то чудище. Его надо уничтожить.

— Мы не убийцы, нельзя уничтожить человека.

— Человека? — Хорн смिгнул слезы. — Это не человек! Это святотатство!

— Мы осмотрели этого... ребенка и установили, что он не мутант, не результат разрушения генов или их перестановки, — быстро заговорил доктор. — Ребенок и не уродец. И он совершенно здоров. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.

Широко раскрытыми измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало. Доктор продолжал сдержанно, уверенно:

— На ребенка своеобразно подействовало давление во время родов. Что-то разладилось сразу в обеих новых машинах — родильной и гипнотической, произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря, — неловко закончил доктор, — ваш ребенок родился в... в другое измерение.

Хорн даже не кивнул. Он стоял и ждал.

— Ваш ребенок жив, здоров и отлично себя чувствует, — со всей силой убеждения сказал доктор Уол-

кот. — Вот он лежит на столе. Но он не похож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную форму и щупальца, это и есть ваш ребенок.

Хорн сжал губы и зажмурился.

— Можно мне чего-нибудь выпить?

— Конечно.

Ему сунули в руки стакан.

— Дайте я сяду, посижу минутку.

Он устало опустился в кресло. Постепенно все начало проясняться. Все медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок. Хорн содрогнулся. Пусть с виду страшилище, но это его первенец.

Наконец он поднял голову; хоть бы лицо доктора не расплывалось перед глазами...

— А что мы скажем Полли? — спросил он еле слышно.

— Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь с силами.

— А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его... в прежний вид?

— Мы постараемся. Конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступить с ним как пожелаете.

— С ним? — Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза. — А откуда вы знаете, что это «он»?

Его засасывала тьма. В ушах шумело.

Доктор Уолкот явно смутился.

— Видите ли... то есть... ну конечно, мы не можем сказать наверняка...

Хорн еще отхлебнул из стакана.

— А если вам не удастся вернуть его обратно?

— Я понимаю, какой это удар для вас, мистер

Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте.

Хорн подумал.

— Спасибо. Но, какой он ни есть, он наш — мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как растил бы любого ребенка. У него будет дом, семья. Я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду как положено.

Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.

— Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей, ему не с кем будет играть — ведь его в два счета задразнят до смерти. Вы же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить, никто никогда не должен его видеть. Это вы понимаете?

— Да. Это я понимаю. Доктор... доктор, а умственно он в порядке?

— Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный здоровый младенец.

— Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно — Полли.

Доктор нахмурился.

— Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжело женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это... сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное, и на человека-то непохожее. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться гибельным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь.

Хорн отставил стакан.

— Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка, я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли.

— Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться. Считаю, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно, надо попытаться.

Хори безмерно устал. Все внутри дрожало.

— Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда, молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пускай хоть дальше будет все по справедливости. Когда мы скажем Полли?

— Завтра днем, когда она проснется.

Хори встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый, мягкий свет. Протянул руку — и голубая пирамидка приподнялась.

— Привет, малыш, — сказал Хори.

Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна.

Он вздрогнул.

— Привет, малыш!

Доктор поднес поближе бутылочку-соску.

— Вот и молоко. А ну-ка попробуем!

Малыш поднял глаза, туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смысленный, на диво смысленный. Он воспринимал окружающий мир.

Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости. Один совсем белый. И у него тоже три глаза. Что-то в этом Белом кубе нравилось малышу. Что-то привлекало. И пахло от этого Белого куба чем-то родным.

Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие, высокие звуки. Наверно, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо.

Теперь свистели два только что подошедших куба — Белый и Серый. Потом Белый куб вытянул один из своих шестигульных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно щупальце. Малышу нравился Белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался. Белый куб ему нравится. Может, Белый куб его накормит...

Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо. Хорошо. Малыш с жадностью принялся за еду.

Хорошо, вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный Белый куб, он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал.

Назавтра они сказали Полли. Не все. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немого неладно. Говорили медленно, кругами, которые все тесней смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкот прочел длинную лекцию о родильных машинах — как они облегчают женщине родовые муки, но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж коротко и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно: первое, второе, третье и четвертое! Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один — о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса.

Наконец Полли села на кровати и сказала:

— К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему вы все так много говорите?

И доктор Уолкот сказал ей правду.

— Конечно, через недельку вы можете его увидеть, — прибавил он. — Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института.

— Мне надо знать только одно, — сказала Полли. Доктор Уолкот вопросительно поднял брови.

— Это я виновата, что он такой?

— Никакой вашей вины тут нет.

— Он не выродок, не чудовище? — допытывалась Полли.

— Он только выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец.

Полли уже не стискивала зубы, складки в углах губ разгладились. Она сказала просто:

— Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть. Пожалуйста. Прямо сейчас.

Ей принесли «ребенка».

Назавтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.

Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. И вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь.

— Ты просто чудо, — сказал Питер.

— Вот как? — отозвалась она, закуривая сигарету.

— Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.

— Знаешь, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе, — сказала Полли. — Я... я даже могу взять его на руки. Он теплый и плачет, и ему надо менять пеленки, хоть они и треугольные. — Она засмеялась. Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую болезненную нотку. — Нет, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава богу, он не родился мертвый. Он... не знаю, как тебе объяснить... он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он

еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?

— Да, да. Ты права. — Питер взял ее за руку. — Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина.

— Я смогу держаться, — сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов. — Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя.

— Полли!

Она взглянула на мужа так, будто увидела впервые.

— Прости меня, Пит. Но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится настоящим, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не выдержать, рассудка только и хватит — приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз.

— Все уладится, — сказал Питер, сжимая руками штурвал. — Непременно уладится.

Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

Прошло три недели. Каждый день они летали в институт навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хори голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкот не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя как все младенцы: столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности как всякий младенец, и так же ест, и так же пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчалось, глаза теплели.

В конце третьей недели доктор Уолкот сказал:

— Может быть, вы уже в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично, у вас есть внутренний дворик, малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина избитая, но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились: там, где его кормит новая специальная машина, для него нашлись и ласковый голос, и теплые руки, и прочее. — Доктор Уолкот говорил сухо, отрывисто. — Но, мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?

— Да, я готова.

— Отлично. Привозите его каждые три дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из четвертого измерения, как фокусник — кролика из шляпы.

К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала.

Питер Хорн вел вертолет домой над волистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую на руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала, пирамидка отвечала примерно тем же.

— Хотела бы я знать... — начала Полли.

— Что?

— Какими он видит нас?

— Я спрашивал Уолкота. Он говорит, наверно, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы — в другом.

— Ты думаешь, он не видит нас людьми?

— Если глядеть на это нашими глазами — нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом обличе такие как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид, какими мы ему там представляемся из его измерения. У него не было другого опыта, ему не с чем сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает потому, что мы сравниваем его с привычными для нас формами и размерами.

— Да, понимаю. Понимаю.

Малыш ощущал движение. Один Белый куб держал его в теплых отростках. Другой Белый куб сидел поодаль; все они были в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался по воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидами, шестигранниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами.

Один Белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот Белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на Белые кубы, на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря.

И ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к Белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел.

— Он уснул, — сказала Полли Хорн.

Настало лето, у Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда, но если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила, а однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке без чувств, и рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малы-

шу. Плакал малыш как-то странно, то ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут.

Питер сделал в детской звуконепроницаемые стены.

— Это чтоб ваша жена не слыжала, как плачет маленький? — спросил рабочий, который ему помогал.

— Да, чтоб она не слыжала, — ответил Питер Хорн.

Они почти никого у себя не принимали. Боялись — вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую, любимую пирамидку.

— Что это? — спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался. — Какая-то пичужка голос подает? Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер.

— Да, да, — ответил Питер, закрывая дверь в детскую. — Выпейте еще. Давайте все выпьем.

Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Пая, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел, но словно бы с осторожностью, а порой окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки — и лицо у нее станет испуганное, потерянное, как будто она давно и тщетно кого-то ждет.

В сентябре Полли с гордостью сказала мужу:

— Он умеет говорить «папа». Да-да, умеет. Ну-ка, Пай, скажи: «Папа».

И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.

— Фьюн-и! — просвистела теплая голубая пирамидка.

— Еще разок! — сказала Полли.

— Фьюн-и! — просвистела пирамидка.

— Ради бога, перестань! — сказал Питер Хорн. Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяла по-своему:

«Папа, папа, папа». Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась.

— Правда, потрясающе? — сказала она. — Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он научится говорить! Мы дадим ему выучить монолог Гамлета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить.

— Ты уже пила, хватит.

— Ну спасибо, я себе и сама налью, — ответила Полли.

Так она и сделала.

Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал Хорнов.

— Если малыш весь ярко-голубой, значит, здоров, — сказал он однажды. — Если же голубизна тускнеет, выцветает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это.

— Да, да, я запомню, — сказала Полли. — Яркий, как яйцо дрозда, — здоров, тусклый, как кобальт, — болен.

— Знаете что, моя милая, — сказал Уолкот, — примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседуем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык! Гм... Вы что, пьете? И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра.

— Вы не очень-то мне помогаете, — возразила Полли. — Прошел уже почти целый год.

— Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок. —

Доктор потрепал Пая по «подбородку»: — Отличный здоровый младенец, право слово! И весит никак не меньше двадцати фунтов.

Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных Белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб, Серый, тот появляется не каждый день. Но главные в его жизни — два Белых куба, они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял глаза на Белый куб, тот, что с округленными гранями, потеллей и помягче, — и, очень довольный, тихонько защебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо.

Настал новый, 1989 год.

В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завывая вихрями теплый воздух Калифорнии.

Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего «ребенка». Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой, просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан. Барьер был непробиваем. Хорн потихоньку снова начал пить.

Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет — и ахнул: на лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные.

Во дворе гуляла Полли с «ребенком».

Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальце голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней.

Один из соседей обернулся.

— Какая у вас славная зверюшка, мистер Хорн. Где вы ее откопали?

Еще кто-то крикнул:

— Видно, вы порядком постраниствовали, Хорн! Это откуда же, из Южной Африки?

Полли подхватила пирамидку на руки.

— Скажи «папа»! — закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.

— Фьюи! — засвистела пирамидка.

— Полли! — позвал Питер.

— Он ласковый, как щенок или котенок, — говорила Полли, ведя пирамидку по двору. — Нет-нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Пакистана.

Соседи начали расходиться.

— Куда же вы? — Полли замахала им рукой. — Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?

Питер ударил ее по лицу.

— Мой малютка... — повторяла Полли срывающимся голосом.

Питер опять и опять бил ее по щекам, и наконец она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел, увел Пая, сел и позвонил в институт.

— Доктор Уолкот, говорит Хорн. Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда.

Короткая заминка. Потом Уолкот сказал со вздохом:

— Ладно. Привозите жену и ребенка. Попробуем управиться.

Оба дали отбой.

Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку.

— Все соседи от него в восторге, — сказала Полли.

Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали...

В вестибюле института их обдало безупречной, стерильной чистотой. Доктор Уолкот шагал по коридору, за ним Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым висел большой черный колпак.

Позади столов выстроились незнакомые аппараты, счету не было циферблатам и рукояткам. Слышалось еле уловимое гуденье. Питер Хорн поглядел на жену.

Уолкот подал ей стакан с какой-то жидкостью.

— Выпейте, — сказал он.

Полли повиновалась.

— Вот так. Садитесь.

Хорны сели. Доктор сценил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на обоих.

— Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы, — сказал он. — Я пытался вытащить малыща из того измерения, куда он попал, — четвертого, пятого или шестого, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена, но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы пока не можем.

Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора — что-то он еще скажет? Уолкот наклонился к ним.

— Я не могу извлечь оттуда Пая, но я могу переправить вас обоих туда. Вот так-то.

И он развел руками.

Хорн посмотрел на машину в углу.

— То есть вы можете послать нас в измерение Пая?

— Если вы непременно этого хотите.

Полли не отозвалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз.

Доктор Уолкот стал объяснять:

— Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий. Но вернуть ребенка в наше измерение — это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое звергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили ее, у нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда — таких данных у нас нет. Приходится действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше.

— Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? — просто и серьезно спросила Полли.

Уолкот кивнул.

— Тогда я хочу туда, — сказала Полли.

— Подожди, — вмешался Питер. — Мы пробыли здесь только пять минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь.

— Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку.

— Доктор Уолкот, а как будет там, по ту сторону?

— Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде, — тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите.

— А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?

— Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?

— Нет.

— Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете. И ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв «туда», вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете — и геометрической фигурой, и человеком. Наверно, на этом вы заделаетесь заправским философом. Но тут есть еще одно...

— Что же?

— Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш — треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником. Сами вы — массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас.

— Мы окажемся вырожденками.

— Да. Но не почувствуете себя вырожденками. Только придется жить замкнуто и уединенно.

— До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих?

— Вот именно. Может пройти и десять лет, и двадцать. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, она разовьется. Но, понятно, решайте сами.

Питер Хорн посмотрел на жену, она ответила прямым, серьезным взглядом.

— Мы идем, — сказал Питер.

— В измерение Пая? — переспросил Уолкот.

— В измерение Пая.

Они поднялись.

— Мы не утратим никаких способностей, доктор,

вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно.

— Пай говорит так потому, что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение. И он повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний.

— А что будет с Паем? Когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в людей? Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это?

— Он еще совсем кроха. Его представления о мире не вполне сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежние, хорошо знакомые, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга.

Хорн медленно почесал в затылке.

— Да, не самый простой и короткий путь к цели... — Он вздохнул. — Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть...

— Но ведь речь именно о нем. Смеем думать, вашей жене нужен только этот малыш и никакой другой, правда, Полли?

— Этот, только этот, — сказала Полли.

Уолкот многозначительно посмотрел на Хорна. И Питер понял. Этот ребенок — не то Полли потеряна. Этот ребенок — не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в четырех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами.

Все вместе они направились к машине.

— Что ж, если она это выдержит, так выдержу и я, — сказал Хорн и взял жену за руку. — Столько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть, прием для разнообразия абстрактную форму.

— По совести, я вам завидую, — сказал Уолкот, нажимая какие-то кнопки на большой непонятной машине. — И еще вам скажу: вот поживете там — и, пожалуй, напишете такой философский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие померли бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости.

— Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?

— Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно.

Комната наполнилась гуденьем. Это звучали мощь, энергия и тепло.

Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых вплотную столах, взявшись за руки. Их накрыло двойным черным колпаком. И они очутились в темноте. Откуда-то донесся бой часов — далеко в глубине здания металлический голосок прозвенел: «Тик-ки, так-ки, ровно семь, пусть известно будем всем...» — и постепенно замер.

Низкое гуденье звучало все громче. Машина дышала затаенной, пружинно сжатой нарастающей мощью.

— Это опасно? — крикнул Питер Хорн.

— Нисколько!

Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря. И борются — чья возьмет. Хорн раскрыл рот — закричать бы... Все его существо сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал — тело раздрает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комнату. Черный колпак над ним растягивался, все плоскости и линии дико, непостижимо исказились. Пот струился по лицу — нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений.

Казалось, ноги и руки что-то выворачивает, раскидывает, колет, и вот зажало. И весь он тает, плавится, как воск.

Негромко щелкнуло.

Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. «Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это будет?»

И вдруг он понял, как оно будет, и разом ощутил благоговейный трепет и безоглядное доверие, и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные. И доктор Уолкот будет их навещать — поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях его встретит стройный Белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке.

А в кресле в глубине комнаты солидный Белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет бегать Пай. И завяжется беседа, придут еще друзья, Белый цилиндр и Белый четырехгранник будут смеяться и шутить и угощать всех крохотными сэндвичами и вином, и вечер пройдет славно, весело и непринужденно.

Вот как это будет.

Щелк!

Гуденье прекратилось.

С Хорна сняли колпак.

Все кончилось.

Они уже в другом измерении.

Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился, озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки...

Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий,

голубоглазый мальчуган лежач в объятиях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем.

Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья.

Весь дрожа, но слясь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним — обнять наконец и Полли, и малыша разом и зашлать вместе с ними.

— Ну вот, — стоя поодаль, промолвил Уолкот. Он долго стоял не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты — на Белый цилиндр и стройный Белый четырехгранник с Голубой пирамидкой в объятиях. Дверь отворилась, вошел ассистент.

— Шш-ш! — Уолкот приложил палец к губам. — Им надо побыть одним. Пойдемте.

Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а Белый четырехгранник и Белый цилиндр даже не оглянулись.

*Зеленое утро**

Когда солнце ушло за горизонт, он сделал привал у края тропинки и приготовил нехитрый ужин, а затем неторопливо ел, слушая, как потрескивает костер, и думал о своем. В сущности, этот день ничем не отличался от остальных тридцати. Он так же встал на рассвете, чтобы успеть как можно больше сделать лунок, бросить в них семена и полить водой из прозрачных каналов. Теперь, когда усталость придавила к земле его тщедушное тело, он лежал и смотрел на небо, где темные краски сменяли одна другую.

Ему было тридцать один, звали его Бенджамин Дрисколл. Он мечтал увидеть Марс зеленым от высоких деревьев с густой кроной, в изобилии дающих кислород, деревьев, которые с каждым годом будут все выше, принесут прохладу городам в знойное лето, защитят от ветров зимой. Разве сочтешь все, что дает дерево. Оно красит землю, дарит ей благодатную тень и богатство своих плодов. Дерево — это волшебный мир нашего детства, по могучим стволам можно взобраться в поднебесье или вволю покачаться на ветвях. Чудесное творение природы, дающее людям пищу, приносящее радость, — вот что такое дерево. Но прежде всего оно очищает воздух, ласкает слух тихим шелестом

* Пер. изд.: Bradbury R. The Green Morning: The Martian Chronicles. Doubleday, N. Y., 1950.

© Перевод на русский язык, «Мир», 1983.

листвы, и под его убаюкивающий шепот так сладко спится по ночам.

Он лежал и слушал, как ночная земля набирает силу в ожидании дождей, которых все нет. Он приложил ухо к земле, и ему почудились далекие шаги того времени, которое непременно придет, и он видел, как семена, брошенные сегодня в землю, дают зеленые ростки. Вот уже могучие стволы тянутся к небу, выбрасывая одну ветвь за другой, и Марс становится рощей, пронизанной солнцем, цветущим садом.

Завтра на рассвете, едва крохотное марсианское солнце коснется бледным лучом складок гор, он уже будет на ногах, быстро съест пропахший дымком завтрак, погасит костер и, закинув за спину мешок с семенами и саженцами, отправится в путь — пробовать грунт, делать лунки, бросать семена, сажать саженцы, заботливо приминая землю вокруг, поливать и идти дальше, тихонько насвистывая и поглядывая на светлеющий край неба, — завтра снова будет жаркий день.

— Тебе тоже нужен кислород, — сказал он, обращаясь к костру, озорному румянолицему другу, который, хоть и не прочь укусьить за палец, делит с тобой ночлег, и в темноте прохладной ночи его сонный розовый глазок излучает благодатное тепло. — Нам всем нужен кислород, а его так мало на Марсе. От этого быстро устаешь. Здесь как в высоких Андах, в Южной Америке. Хочешь вдохнуть полной грудью, а воздуха нет! Так и остаешься ни с чем.

Он ощущал себя руками — его грудная клетка заметно расширилась за эти тридцать дней на Марсе. Здесь необходимо тренировать легкие, чтобы они набирали побольше воздуха. Или же сажать деревья — как можно больше деревьев!

— Теперь тебе понятно, зачем я здесь, — сказал он. Костер стрельнул в ответ. — В школе нам рассказывали о парне по прозвищу Джонни Яблочное Се-

мечко. Он прошел всю Америку и везде сажал яблоневые деревья. Мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы, клены — все деревья, какие есть, — осину, гималайский кедр, каштан. Вместо плодов, чтобы утолить голод, люди получают свежий воздух, чтобы дышать. Когда эти деревья вырастут, представляешь, сколько они дадут кислорода!

Он вспомнил день, когда прибыл на Марс. Вместе с тысячами других он смотрел на тихое марсианское утро и думал: «Приживусь ли я здесь? Что ждет меня? Найду ли дело по душе?»

А потом он потерял сознание.

Кто-то сунул ему под нос флакончик с нашатырным спиртом, и, закашлявшись, он пришел в себя.

— Ничего страшного, — успокоил его врач.

— Что со мной?

— Слишком разреженный воздух. Многие не выдерживают. Думаю, вам лучше вернуться на Землю.

— Нет! — Он сел, но тут же снова потемнело в глазах, и Марс дважды обернулся вокруг своей оси. Ноздри жадно раздулись, когда он попытался втянуть в легкие воздух, которого не было. — Ничего, обойдется. Я должен остаться здесь.

Его больше не трогали. Он лежал, судорожно открывая рот, как рыба, выброшенная на берег, и думал: «Воздух, воздух, воздух! Меня отправят обратно, потому что здесь нет кислорода».

Повернув голову, он посмотрел на марсианские равнины и холмы. Дурнота прошла, и теперь, когда он мог все хорошенько разглядеть, его поразило, что вокруг ни клочка зелени, куда ни глянь — пусто. Казалось, земля сама себя прокляла — черная, плодородная земля, но на ней даже трава не растет. «Воздух», — думал он, со свистом втягивая пустоту. На вершинах холмов или у их подножий, где ложатся тени, даже у ручья — ни деревца, ни травинки. Ну ко-

печно же! Он понимал, что ответ подсказал ему не разум, а боль в груди и пересохшем горле. Был он неожиданным, как глоток кислорода, способный снова поставить его на ноги. Здесь нужны деревья, нужна трава! Он посмотрел на свои руки, повертел ими — ладони вверх, ладони вниз. Надо посадить здесь деревья, посеять траву! Это и будет его делом. Он бросит вызов всему, что может помешать остаться здесь. Пойдет на то, что объявит Марсу войну, и это будет зеленая война. Вот она, древняя марсианская почва. На ней когда-то росли леса, такие древние, что в конце концов выродились и исчезли. А что, если снова посадить здесь деревья, например те, что растут на Земле? Роскошные мимозы, плакучие ивы, магнолии и красавцы эвкалипты? Что будет тогда? Кто знает, какие богатства таит в себе эта земля, какие силы остались в ней нетронутыми, потому что древние папоротники, цветы, кустарники и деревья, отжив свой век, погибли.

— Помогите мне встать! — крикнул он. — Я должен видеть Координатора.

Они с Координатором проговорили все утро — и все о том, что должно расти здесь, зеленеть, цвести. Проходят месяцы, а то и годы, прежде чем на Марсе начнутся массовые посадки деревьев. Продукты питания доставляются с Земли в замороженном виде в ракетах-рефрижераторах, похожих на ледяные сосульки. Правда, кое-где в поселках уже выращивают овощи в гидропонных теплицах.

— А пока возьмитесь-ка за это дело вы, — заключил Координатор. — Дадим вам семян, кое-какой инвентарь. На ракетах не хватает места, чтобы доставить все необходимое. Первые поселки строились все больше возле шахт да рудников, так что, боюсь, ваше начинание мало кто поймет или поддержит... На это не рассчитывайте.

— Значит, вы мне разрешаете?

Он получил разрешение, а также мотоцикл, прицеп которого был доверху наполнен отборными семенами и саженцами, и отправился в путь. В пустынной долине он оставил мотоцикл и дальше пошел пешком.

Прошло уже тридцать дней, и за это время он ни разу не оглянулся назад. Оглянуться — означало бы потерять веру. Суть стояла невиданная, семена едва ли дали ростки. Может, все, что он затеял, ради чего целый месяц трудился, не разгибая спины, напрасно. Он смотрел только вперед, когда шагал под жарким солнцем по дну широкой долины, все дальше от Первого Города, и надеялся на дождь.

Над голыми, иссушенными солнцем вершинами клубились облака, и он натянул на себя одеяло. Марс непредсказуем, как само время. Он чувствовал, как раскаленные вершины отдают тепло холодному воздуху ночи, и думал о тучной, черной, как чернила, марсианской почве, такой черной и блестящей, что, казалось, она оживет и зашевелится, если зажать ее в ладони. Она так плодородна, что, если посадить на ней бобы, стебли будут гигантского роста, а из лопнувших стручков на землю, как ядра, будут падать зерна невиданной величины, сотрясая все вокруг.

Костер, затухая, спрятался в золу. Воздух дрогнул от грохота далекой колесницы. Гром. Неожиданно потянуло речной прохладой. «Сегодня ночью», — подумал он и высвободил руку из-под одеяла, чтобы проверить, не пошел ли дождь. — Сегодня ночью.»

Что-то легонько ударило по лбу, и он проснулся. Струйка влаги сбежала по носу и смочила губы. Еще одна капля попала прямо в глаз и на миг ослепила, другая ударила по подбородку.
Дождь.

Прохладный, ласковый, неторопливый, он падал с неба, как живительный эликсир, пахнувший колдовством и звездами, свежим воздухом и пряным ароматом прибитой дождем пыли, легкий на вкус, как доброе вино.

Дождь.

Он сел. Одежда сползла с плеч, и синяя холщовая рубашка мигом потемнела на спине. А дождь набирал силу, капли становились все тяжелее. По костру будто кто-то залясал, да так лихо, что вскоре от него осталась лишь сердито шипящая струйка дыма. Шел дождь. Огромный купол небосвода треснул и раскололся на шесть темно-голубых осколков, посыпавшихся вниз, будто разбили прекрасную, покрытую глазурью вазу. При вспышке молнии он увидел мириады дождевых капель, кристаллами застывших в воздухе, словно ждущих, что их запечатлеет невидимый фотограф. А потом темнота и шум дожда.

Он промок до нитки, но продолжал сидеть, подставив лицо дождю, и смеялся, наслаждаясь тем, как капли бьют по его сомкнутым векам. Наконец, довольный, он хлопнул в ладоши, вскочил и обошел свой маленький лагерь. Был час ночи.

Дождь шел без малого два часа, а потом прекратился. Высыпали звезды, чистые, умытые и такие яркие, каких еще не бывало.

Переодевшись во все сухое, Бенджамин Дрисколл снова улегся и, счастливый, уснул.

Солнце поднялось над холмами, неторопливо послало свои лучи на землю и разбудило Дрисколла.

Он встал не сразу, а чуть помедлив. Весь долгий жаркий месяц он без отдыха трудился и ждал. Теперь он мог наконец оглянуться назад и посмотреть туда, откуда начал свой путь.

Это было зеленое утро.

Куда ни глянь, к небу поднялись деревья. Не одно, не два и не десяток, а тысячи деревьев, выросших из семян, что он посеял, из саженцев, что посадил. И не молодые неокрепшие деревца, не слабые побеги, а огромные, могучие деревья, такие высокие, что и десять человек, встав друг другу на плечи, не достанут до их верхушек; зеленые деревья с пышной, круглой, как шар, кроной, с блестящей, переливающейся, что-то шепчущей листвой. Они сбегали по склонам холмов — лимонные деревья, липы, секвойи и мимозы, дубы, вязы и осины, вишневые деревья и яблони, ясени и клены, апельсиновые деревья и эвкалипты, рожденные щедрым дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. Они росли прямо на глазах, и на новых ветвях лопались все новые почки.

— Не может быть! — воскликнул Бенджамин Дрисколл.

Но долина и утро были зеленые.

А воздух! Он струился отовсюду, словно прохладные горные реки, щедро напоенный кислородом, который отдавали ему зеленые деревья. Хрустальные волны мерцали и переливались. Кислород, свежий, чистый, морозно-холодный зеленый кислород превратил высохшую долину в дельту реки. Вот сейчас в домах распахнутся двери, люди выбегут навстречу дивному диву, будут вдыхать воздух полной грудью, до отказа наполнят им легкие; щеки порозовеют, покраснеют носы, прихваченные морозным холодком, расправится грудь, радостно встрепенется сердце, и, забыв об усталости, люди пустятся в пляс.

Бенджамин Дрисколл жадно глотнул зеленого нектара — и потерял сознание.

Когда он очнулся, еще пять тысяч новых деревьев выбросили зеленые ветви навстречу золотому шару солнца.

Содержание

<i>С. Гансовский. Друг рядом</i>	5
<i>Холодный ветер, теплый ветер. Пер. В. Бабенко</i>	20
<i>Превращение. Пер. Н. Галь</i>	44
<i>Чертово колесо. Пер. Р. Рыбкина</i>	74
<i>Час Привидений. Пер. Р. Рыбкина</i>	86
<i>Ветер Геттисберга. Пер. Т. Шинкарь</i>	90
<i>Бетономешалка. Пер. Н. Галь</i>	111
<i>Наказание без преступления. Пер. Я. Берлина</i>	138
<i>Земляничное окошко. Пер. Н. Галь</i>	151
<i>Синяя Бутылка. Пер. Р. Рыбкина</i>	163
<i>Убийца. Пер. Н. Галь</i>	177
<i>Кошки-мышки. Пер. Н. Галь</i>	188
<i>Электрическое тело пою! Пер. Т. Шинкарь</i>	210
<i>Запах сарсапарели. Пер. Н. Галь</i>	259
<i>Чепушинка. Пер. Р. Рыбкина</i>	269
<hr/>	
<i>Песочный Человек. Пер. Р. Рыбкина</i>	303
<i>Космонавт. Пер. Л. Жданова</i>	316
<i>Апрельское колдовство. Пер. Л. Жданова</i>	331
<i>Земляне. Пер. Т. Шинкарь</i>	344
<i>Калейдоскоп. Пер. Н. Галь</i>	367
<i>И все-таки наш... Пер. Н. Галь</i>	380
<i>Зеленое утро. Пер. Т. Шинкарь</i>	402

Рэй Брэдбери

ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР, ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР

Ст. научн. редактор И. Я. Хидекель.
 Мл. научн. редактор М. В. Суrowова. Художник К. А. Сошинская.
 Художественный редактор Л. Е. Безрученков.
 Технические редакторы Т. А. Максимова, Е. С. Потапенкова. Корректор
 В. И. Постнова

ИБ № 3729

Сдано в набор 14.01.83. Подписано к печати 11.04.83. Формат 70×100^{1/2}.
 Бумага кн-журнальная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.
 Объем 6,38 бум. л. Усл. печ. л. 16,58. Усл. кр.-отт. — 33,61. Уч.-изд. л.
 17,93. Изд. № 12/2428. Тираж 100000 экз. Зак. 51. Цена 1 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР», 129820, Москва, И-110, ГСП, 1-й Рижский пер., 2.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Зарубежная



фантастика

1 р. 90 к



ИЗДАТЕЛЬСТВО • МИР • МОСКВА